9 17 ¥53 1882 T.10

## ЗАПИСКИ

## историко-филологического факультета

императорскаго

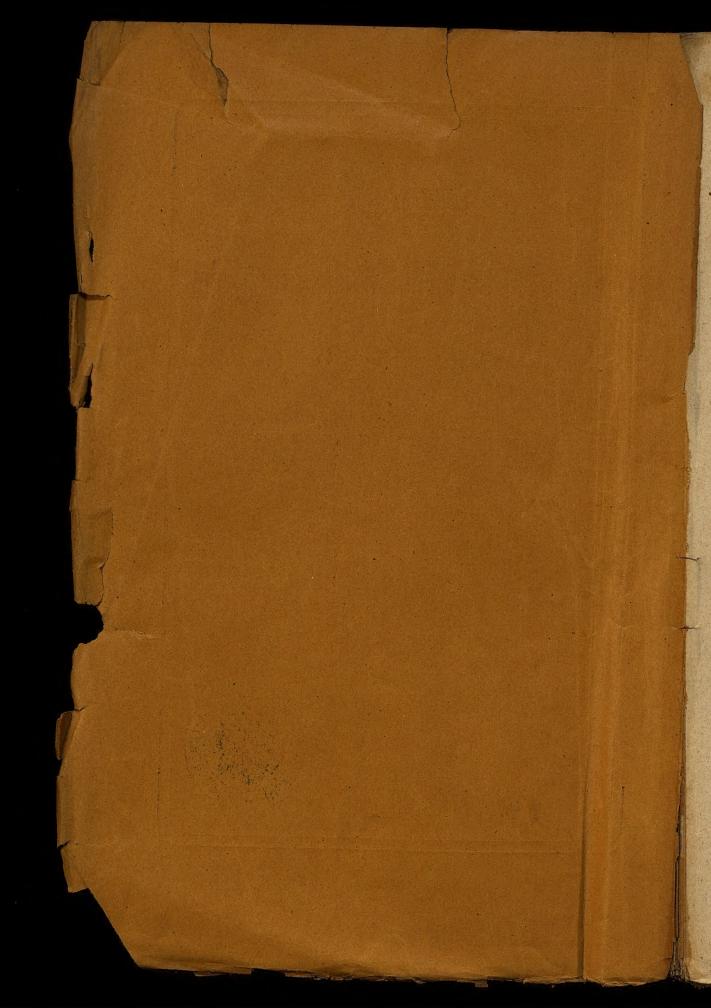
C.-HETEPBYPTCRATO YHMBEPCHTETA.

томъ десятый.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

4669





## ЗАПИСКИ

# историко-филологического факультета

императорскаго

C.-HETEPBYPTCRATO YHUBEPCHTETA.

томъ десятый.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1882.





157536

Cepetro 2000

HADRIME

ANTARAM CHARRENGE CAROLA

OTANOPARAGRAM

ATTHURTHING TO AN AND STREET, A



diarrema aggres

## АЛЕКСАНДРЪ СЕРГЪЕВИЧЬ

# ПУШКИНЪ

ВЪ ЕГО ПОЭЗІИ

нервый и второй періоды жизни и дъятельности

(1799 - 1826)

СОЧИНЕНІЕ

А. НЕЗЕЛЕНОВА



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
типографія а. с. суворина, эртелевъ пер., д. 11—2
1882

Печатается по опредѣленію Историко-Филологическаго Факультета ИМПЕ-РАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета. 20-го Февраля 1882 г. Деканъ В. Бауеръ.

## оглавленіе.

트렌이는 경기 가는 가는 사람들은 가장 가장 하면 가게 되었다. 나는 사람들이 되어 가지 않는데 되었다.	CTP.
ІРЕДИСЛОВІЕ	I— V VI—VIII
Іервый періодъ жизни и дѣятельности Пушкина	1—173
ГЛАВА І.—Отдовскій домъ.—Лицей.—Петербургъ. (1799—1820 гг.)	3- 61
Отцовскій домъ (3—6).—Лицей.—Писатели, вліявшіе	
на Пушкина (6—15).—Вольтеръ (15—18). В. Майковъ	
(18). Богдановичь (19-20). Жуковскій (20-26).	
Батюшковъ (26-27)Лицейскія стихотворенія	
(27-36).—Жизнь въ Петербургъ по выходъ изъ Лицея.	
Стихотворенія этой эпохи. Литературныя знаком-	
ства и вліянія. "Арзамасъ" и "Бесъда" (36—48).—	
"Русланъ и Людмила" (48—58). Высылка изъ Петер-	
бурга (58—61).	
ГЛАВА И.—Югъ.—Байронизмъ (1820—1824 гг.)	62-173
1. Кавказъ и Крымъ; любовъ. Начало вліянія Бай-	
рона (62-69). — Тэнъ и Апол. Григорьевъ о Байрон в	
(69-76).	
2. "Кавказскій плённикъ" и "Чайльдъ-Гарольдъ"	
Байрона (76-83). — Кишиневъ. Темныя стороны байро-	
низма (84—100). — "Братья-разбойники". "Корсаръ"	
и "Шильонскій узникъ" (100—105). — Чистан любовь	
поэта (105—110).—Свётлыя черты въ кишиневской жизни	
Пушкина. Самообразование. Стихотворения объ Ови-	
дін. Ода "Наполеонъ". Баллада "Пёснь о вёщемъ	
Олегв" (110—121). — Греческое возстаніе. "Истори-	
ческія замічанія". "Вадими". "Кинжали". Про-	
эктъ комедін изъ крѣпостническаго міра (121-	
133). — "Бахчисарайскій фонтанъ". "Гяуръ" Бай-	
рона (133—144).	
3. Одесса. Отношенія къ Ризничь и чистая любовь	
Пушкина (144—152). — Научныя занятія поэта. Крити-	
ческія его мивнія (152—155).—Скептицизмъ. Стих. "Де-	
монъ" и друг. Разладъ съ гр. Воронцовымъ (155-162)	
Поэма "Цыганы"; конець байронизма; стремленія къ	
народнымь началамь (163—171).—Общія заключенія	
о первомъ період'в жизни и творчества Пушкина. Стих,	
"Къ морю" (171-173),	

Второй періодъ жизни и дъятельности Пушкина.

ГЛАВА III. — Михайловское. — Народная жизнь. — Шекспиръ (1824—1826 гг.)

175-248

- 1. Душевное отдохновеніе поэта въ Михайловскомъ. Дружескія отношенія съ семействомъ Осиповыхъ—Вульфъ. Свиданіе съ друзьями дѣтства (175—188). Сближеніе съ народомъ. Няня. Собираніе пѣсенъ (188—196).—Чтенія, научныя занятія Пушкина. Критическія замѣтки его (196—205).
- 2. "Бориев Годуновъ". Отношенія Пушкина къ Карамзину; мивнія его о Шевспирь, Байронь и Мольерь. Чтеніе русскихъ историческ. памятниковъ (206—211).— Разборъ "Бориса Годунова". Отношенія драмы къ "Исторіи Государства Россійскаго" и къ трагедіямъ Шекспира: "Ричардъ ІІІ" и "Макбетъ" (211—229).—"Графъ Нулинъ" (229—231).—"Сцена изъ Фауста". "Фаустъ" Гёте (231—233).
- 3. Отношенія Пушкина къ А. П. Кернъ (233—240).—Художественность Пушкина. "Египетскія ночи". "Подражанія Корану" и друг. (241—242).— Мечты о быствы изъ Михайловскаго. Элегія "Подъ небомъ голубымъ..." Возрожденіе чистаго чувства. Религіозное настроеніе. Стихотвореніе "Пророкъ". Конецъ юности (242—248).

R. Migraego to Dipatrys: Andone. Harmon existing France. (82—69).—Alego d'Andre Tpurousebr o Califford

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Проникнуть во внутреннюю жизнь какой-бы то ни было человъческой души, прослъдить развитіе ся силь и проявленіе во внъшней дъятельности ся сокровенныхъ стремленій — задача высокой важности и глубокаго интереса. Тъмъ важнъе подмътить разцвътъ и рость души богато-одаренной, геніальной, души человъка, выразившаго въ себъ свойства и жизнь своего народа.

Пушкинъ былъ такимъ человъкомъ.

Поэтъ—"эхо", по его собственному опредёленію, онъ въ своей творческой д'аятельности отозвался на всё явленія русскаго міра; онъ быль, по выраженію современнаго намъ писателя.—

теній, все любившій, Все въ самомъ себѣ вмѣстившій.

Другой поэтъ нашего времени ставить его еще выше, привътствуя въ немъ

предтечу Тёхъ чудесь, что, можетъ быть, Намъ въ разцвётё нашемъ полномъ Суждено еще явить.

Гоголь сказаль про Пушкина, что это было "чрезвычайное явленіе русскаго духа". "Прибавлю оть себя: и пророческое", выразился Достоевскій въ своей річи на торжестві открытія ему памятника.

Интересъ анализа внутренней жизни и творческой дѣятельности Пушкина усиливается еще однимъ обстоятельствомъ: отсутствіемъ установившагося, опредѣленнаго взгляда на его поэзію и на его личность. Смѣнялись направленія нашей критики—мѣнялись и наши отношенія къ нему. Безотчетный восторгъ отъ его дивныхъ стиховъ уступалъ мѣсто скептическому взгляду на внутреннюю ихъ цѣнность, признаніе за нимъ широты воззрѣній боролось съ отрицаніемъ всякихъ серьезныхъ убѣжденій въ его творчествѣ.

Мысль объ устроеніи ему памятника возникла въ 1860 году, въ неблагопріятное для поэта время, когда, по выраженію И. С. Тургенева, "міросозерцаніе Пушкина показалось узкимъ", "его классическое чувство мѣры и гармоніи — холоднымъ анахронизмомъ".— Въ-теченіи 20 лѣтъ, съ тѣхъ поръ прошедшихъ, произошла перемѣна. Мы были свидѣтелями того восторга, который охватилъ всѣхъ, безъ различія направленій и убѣжденій, на торжествѣ открытія памятника великому поэту. Это торжество—важное событіе внутренней исторіи русскаго общества: на минуту соединившее во-едино всѣхъ служащихъ мысли и слову, оно было выраженіемъ поворота въ нашей умственной и нравственной жизни, возвращеніемъ нашего сознанія къ поэзіи.

Красы, добра и правды идеалы Блеснули вновь, какъ утра чистый свъть!

Тогда и вопросъ о значении Пушкина показался ръшеннымъ.. Олнако, это еще не совсвиъ такъ. Общій восторгъ быль искреннимъ и истиннымъ; но онъ былъ, несомнънно, инстинктивнымъ, и вотъ почему вследъ за первыми минутами благороднаго энтузіазма наступили другія минуты, когда то тамъ, то здёсь стали опять раздаваться скептическіе, иногда даже какъ будто раздраженные, недовольные голоса, порицавшіе то самый праздникъ поэта, то тѣ или другія мысли, высказанныя на немъ.—Впрочемъ, этотъ новый скептицизмъ по отношенію къ Пушкину идетъ не глубоко. Восторгъ нашъ былъ инстинктивнымъ... но изъ этого еще не слъдуеть, что онъ быль мимолетнымъ. Теперь "становится замътнымъ (говоря словами Тургенева) возвращение къ его (Пушкина) поэзіи", "молодежь возвращается къ чтенію, къ изученію Пушкина". "Единодушіе", проникавшее на его праздникъ "насъ всъхъ, безъ различія званія, занятій и л'єть", свид'єтельствуеть несомн'єнно, что намь захотѣлось

Забытымъ кладомъ вновь обогатиться, Его красъ нетлънной поклониться, Какъ свъту возвратившейся весны.

Быстро летить время въ русской земль: для Пушкина уже наступила исторія; борьба противорьчивыхъ мньній о немъ успокоена

ходомъ времени, и памятникъ ему открытъ какъ разъ въ пору, когда можно сказать о немъ безпристрастное слово.

И это слово сказать не только можно, но и должно: во многихь рѣчахъ и стихотвореніяхъ пушкинскаго праздника сдѣлано не мало вѣрныхъ замѣчаній и объ отдѣльныхъ явленіяхъ творчества великаго поэта, и о цѣлой его дѣятельности; но всѣ эти замѣчанія остаются какъ-бы минутными вдохновенными прозрѣніями. Обратитесь къ существующимъ у насъ большимъ сочиненіямъ о немъ, — и противорѣчія ихъ окажутся непримиренными; доли истины, находящіяся во многихъ изъ нихъ, не сведены къ единству цѣлой истины, не провѣрены и не очищены отъ временной и случайной примѣси.—Нѣтъ у насъ и біографіи Пушкина, достойной его великаго имени, хотя въ настоящее время обнародовано уже много матерьяловъ для его жизнеописанія, напечатанъ цѣлый рядъ его писемъ, появились въ свѣтъ отрывки изъ его записокъ воспоминанія о немъ разныхъ знавшихъ его лицъ, и т. д.

Въ настоящемъ сочиненіи читатель не найдетъ полной біографіи Пушкина (для которой, быть можетъ, и не настало еще время) Но авторъ поставиль себѣ задачей (трудность ея онъ вполнѣ сознаетъ)—прослѣдить внутреннюю жизнь великаго поэта и развитіе его характера по его произведеніямъ, освѣщая ихъ событіями его внѣшняго бытія. У такихъ писателей, какъ Пушкинъ, духовная ихъ жизнь и поэтическое творчество тождественны, и анализъ личности поэта необходимо сливается съ критическимъ разборомъ его произведеній. Въ своемъ разборѣ твореній Пушкина авторъ старался избѣгнуть односторонности, не становясь на точку зрѣнія какого-либо одного изъ направленій нашей критики, а полагая, что должна быть принята къ свѣдѣнію и оцѣнена по достоинству всякая умная мысль.

Жизнь и поэтическая діятельность Пушкина ясно разділяется на три опреділенные періода.

Первый изъ нихъ обнимаетъ время съ дътства поэта до 1824 года, до переъзда его съ юга на съверъ, въ село Михайловское. Это время можетъ быть названо эпохою западно-европейскихъ вліяній. Вліянія идутъ и непосредственно, прямо съ Запада (Пушкинъ съ раннихъ лътъ знакомился съ иностранными авторами)

и чрезъ посредство русскихъ писателей, предшественниковъ будущаго великаго художника. Въ дътствъ и ранней юности Пушкина мы видимъ даже въ немъ подражателя всъхъ тъхъ поэтовъ, которыхь онъ читаль и которыми увлекался; самобытность лишь пробивается въ его сочиненіяхъ: отрицательно-въ отсутствіи односторонности увлеченія, положительно-вь живой прелести и энергін небывалаго до тахъ поръ стиха, да еще въ небольшомъ рядъ произведеній, проникнутыхъ народнымъ духомъ, тёмъ духомъ, съ которымъ сроднялся онъ, слушая сказки и пъсни своей нани.-Высланный затёмъ изъ Истербурга, гдё увлеченія пустой жизни грозили гибелью его таланту, Пушкинъ на югъ увлекается Байрономъ, попадаетъ подъ вліяніе его разочарованной поэзіи... и вмѣств съ этимъ перестаетъ быть подражателемъ. Подчиняясь могущественному действію на его душу англійскаго генія, Пушкинъ въсущности не подражаетъ ему, а борется съ нимъ, "борется съ байронизмомъ", по справедливому замъчанию Апол. Григорьева. — Въ долгой школь иностранных писателей онъ усвоиваеть себь вполнъ блестящіе и могучіе западно-европейскіе идеалы, но, сроднившись съ ними, къ концу періода начинаеть сознавать, что они его вполнъ удовлетворить не могутъ, что они недостаточны для его живой души. Его начинаеть все сильнъе и сильнъе тянуть къ родной почев, къ своимъ народнымъ началамъ.

Два года жизни въ Михайловскомъ (съ 1824 по 1826 г.) представляютъ эпоху сближенія, сліянія великаго поэта съ народомъ. Это — второй періодъ его жизни и творческой дѣятельности. Краткость его сравнительно съ періодомъ первымъ объясняется тѣмъ, что онъ не представляетъ чего-либо новаго въ душѣ Пушкина, а есть лишь полное развитіе зачатковъ, лежавшихъ въ ней уже съ дѣтства. Все русское, родное и непосредственное становится въ это время безконечно милымъ Пушкину, и онъ самъ близокъ къ тому, чтобы сдѣлаться исключительно-народнымъ поэтомъ.—Но это настроеніе, какъ и односторонность предшествовавшаго періода, не можетъ удовлетворить богато-одаренной души его, и онъ не успокаивается на непосредственныхъ народныхъ идеалахъ.

Тогда наступаетъ высшая эпоха его развитія, періодъ соединенія въ его душь и дъятельности тревожныхъ, энергическихъ и страстныхъ западно-европейскихъ началь съ простыми, смиренными и добрыми началами русской народной жизни.

Органическое сліяніе этихъ элементовъ вызываеть изъ его души высшіе образы его творчества, глубочайшія и чистьйшія вдохновенія чувства.

Вмёстё съ этимъ усиливается и выясняется всегда безсознательно жившее въ его душё религіозное настроеніе. Пушкинъ переростаеть идею народности и начинаеть "постепенно возноситься въ высшую область общечеловёческаго религіознаго міросозерцанія".—Но въ то-же время становится замѣтнымъ въ его жизни и творчествё чувство безотрадной тоски. Эта тоска объясняется не только недовольствомъ поэта окружающей дёйствительностью, но и его собственными ошибками и односторонними увлеченіями, отъ которыхъ ему не удалось вполнё избавиться... Могъ ли бы Пушкинъ всецёло подняться въ религіозную область и освоиться въ ней—мы не знаемъ, потому что какъ разъ въ это время стремленій его къ безусловному идеалу насильственно и трагически прерывается его богатая духомъ, многострадальная жизнь.

Предлагаемое сочиненіе заключаеть въ себѣ очеркъ двухъ первыхъ періодовъ дѣятельности великаго поэта. Это—эпоха формированія, развитія его богатыхъ душевныхъ силъ, время ученья, усвоенія имъ себѣ разнообразныхъ началъ и идей дѣйствительности. Самъ Пушкинъ считалъ эту пору своей жизни—юношествомъ: прощаясь съ нею въ 1826 году въ 6-й главѣ "Онѣгина", онъ сказалъ:

#### простимся дружно, О, юность легкая моя!

Вслѣдъ за настоящимъ сочиненіемъ авторъ представитъ другое его продолженіе — очеркъ послѣдняго, главнѣйшаго, вполнѣ самобытнаго періода жизни и творчества Пушкина.

#### А. Незеленовъ.

Примъчаніе. Ссылки въ моемъ сочиненіи сдёланы вездё на предпослёднее изданіе Сочиненій Пушкина (Спб. 1880—1881 гг.); когла вышло въ свёть изданіе послёднее (М. 1882 г.), книга моя была уже отпечатана.

Авт.

# Главные сочиненія и сборники, служащіе матерьялами и пособіями для изученія Пушкина:

А. С. Пушкинъ. Матерьяды для его біографія и оценен произведеній.— П. В. Анненкова.—Спб. 1873 г.

А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху (1799—1826 гг.). Его-же. Спб. 1874 года.

А. С. Пушкинъ. Его любовь, дружба и ненависть.—Русская Старина, съ апр. 1879 г. по іюль 1880 г. (Біографическій очеркъ и новые матерылы).

Пушкинъ въ южной Россін. Матерьялы для его біографін. 1820—1823 гг.— Соч. **П. Бартенева.** (Въ Рус. Архивъ 1866 г.).

Изъ дневника и воспоминаній **И. П. Липранди.** Зам'єтки на предъпдущую статью. (Въ Рус. Арх. 1866 г.).

"Г-жа Ризничъ и Пушкинъ". Ст. **К. Зеленецкаго.** (Въ Рус. Вѣстникѣ 1856 г., кн. 11).

"Изъ воспоминаній Вельтмана о времени пребыванія Пушкина въ Кишиневѣ". (Въ Вѣстн. Евр. 1881 г., № 3).

"Прогулка въ Тригорское". Соч. **М. И. Семевскаго.** (Въ Сиб. Вѣдомостяхъ 1866 г., №№ 139, 146, 157, 163 и 168).

Последніе дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со словъ бывшаго его лицейскаго товарища и секунданта **Конст. Карл. Данзаса.** Спб. 1863 г.

А. С. Пушкинъ, по документамъ остафьевскаго архива и личнымъ восноминаніямъ ки. Пав. Петр. Вяземскаго. 1816—1837 гг.—Спб. 1880 г.— 2 книжки.

А. С. Пушкинъ. Новонайденныя его сочиненія. Его черновыя письма. Письма къ нему разныхъ лицъ. Замътки на его сочиненія. І. М. 1881 г. (Изд. г. Бартенева).

Письма Пушкина къ невѣстѣ и женѣ, напеч. И. С. Тургеневымъ въ Вѣстн. Европы 1878 г. №№ 1—3.

Изъ неизданныхъ записокъ Пушкина. Русская Мысль 1880 г. (Перепечатано въ Собраніи сочиненій Пушкина, изд. 1880 г.).

Общественные идеалы Пушкина. (Изъ последнихъ лётъ жизни поэта). Сообщ. **П. В. Аниенковымъ.** (Первонач. въ Вестн. Евр. 1880 г. Потомъ—въ "Воспоминаніяхъ и критическ. очеркахъ" П. В. Аниенкова. Отд. ПІ. Сиб. 1881 г.).

Программа драмы и романа Пушкина. Сообщ. **П. В. Анценковымъ.** (Въстн. Евр. 1881 г., № 7).

**Каталогъ Пушкинской выставки,** устроенной Комитетомъ Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ. Спб. 1880 г.

### Главныя критическія статьи о Пушкинь:

Гоголь. "Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями", статья: "Въ

чемъ-же наконецъ существо русской поэзін и въ чемъ ея особенность".

Бълинскій. Сочиненія, т. І: а) "Литературныя мечтанія", б) "Повъсти, изданныя Алекс. Пушкинымъ. Сиб. 1834 г.".—Соч. т. ИІ: а) "Стихотворенія Ал. Пушкина, ч. 4-я. Сиб. 1835 г.", б) "Литературная хроника 1838 г.".—Соч. т. ИІ: "Герой нашего времени" (сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ).—Соч. т. VII: а) "Русская литература въ 1841 г.", б) "Нъсколько словъ о ноэмъ Гоголя: Похожденія Чичикова или Мертвыя душч".—Соч. т. VIII: "Сочиненія Ал. Пушкина" (11 статей, 1843—1846 гг.).—См. еще въ книгъ А. Н. Пышина "Вълинскій, его жизнь и переписка", Сиб. 1876 г. т. І—два письма критика: отъ 19 апр. 1839 г. къ Станкевичу, и отъ 19 авг. того же года къ Панаеву.

Варигагенъ-фонъ-Энзе. Въ Берлинск. журн. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (October, 1838), "Werke von A. Puschkin. Band I—III. St.-P.

1838".—Переводъ г. Каткова въ "Отеч. Зап.", 1839 г., т. III.

**Аноллонъ Григорьевъ.** Сочиненія, т. І, Сиб. 1876 г..—а) "Взглядъ на русскую дитературу со смерти Пушкина", б) "Развитіе идеи народности въ нашей литературъ со смерти Пушкина", глава ІІ-я. в) "О правдъ и искренности въ искусствъ".

**Критикъ "Современника".** См. "Современникъ" 1855 г., № 2, 3, 7 и 8. (Здъсь есть указанія на статьи предшествовавшихъ критиковъ Пушкина: Сенковскаго, Полеваго, Шевырева, кн. Вяземскаго, Надеждина, Бълинскаго).

Добролюбовъ. Сочиненія, т. І: а) "Сочиненія Пушкина, т. 7-й", б) "О степени участія народности въ развитіи русской литературы. Очеркъ исторіи русской поэзіи А. Милюкова".

Писаревъ. Сочиненія, т. III: "Пушкинъ и Бѣлинскій".

И. А. Гончаровъ. Четыре очерка. Спб. 1881 г.—Статья о Грибовдовъ: "Милліонъ терзаній"; въ ней говорится, отчасти, и о Пушкинъ.

М. Н. Катковъ. Русскій Въстникъ 1856 г., янв. и мартъ. "Пушкинъ

(Соч. Пушкина. Изд. П. В. Анненкова. 6 т.)".

**Н. Н. Стражовъ.** Бъдность нашей литературы. Критическій и историческій очеркъ. Спб. 1868 г. Глава VI. (Здъсь приведено и мижніе о Пушкинъ Варигагена-фонъ-Энзе).

В. Я. Стоюнинъ. Историческія сочиненія. Ч. ІІ. Пушкинь. Спб. 1881 г. Рѣчи на торжествъ открытія памятника Пушкину собраны въ книгъ: "Вѣнокъ на намятникъ Пушкину". Спб. 1880 г.—Сюда не вошли рѣчи: И. С. Тургенева, А. Н. Островскаго (объ въ Вѣсти. Евр. 1880 г.), И. С. Аксакова (Руск. Арх. 1880 г., кн. ІІ), Проф. Кочубинскаго (отдъл. брош. "Правда жизни и правда творчества") и друг.—Рѣчь Ф. М. Достоевскаго (съ добавленіями), напеч. въ "Дневникъ писателя" 1880 г., единств. выпускъ.

О. О. Миллеръ. "Пушкинскій вопросъ". См. Руская Мысль 1880 г. № 12.

Изданія Сочипеній Пушкина:

Посмертное изданіе, въ 11 томахъ (1838—1841 г.).

**П. В. Анненкова,** въ 6 томахъ, 7-й дополнит. Спб. 1855—1857 г. Два изданія **Исакова** подъ редакц. **Геннади:** а) Спб. 1859—1860 гг. б) Спб. 1869—1870 гг.—По 7 томовъ.

Третье изданіе Исакова, подъ ред. П. А. Ефремова, въ 6 томахъ.

Спб. 1880—1881 г. (Ц. 10 р.).

Изданіе **О. И. Анскаго**, подъ ред. **П. А. Ефремова**. (Названо 8-мъ изданіемъ). Москва. 1882 г.—7 томовъ (въ 7-мъ—письма Пушкина). Ц. 10 р.

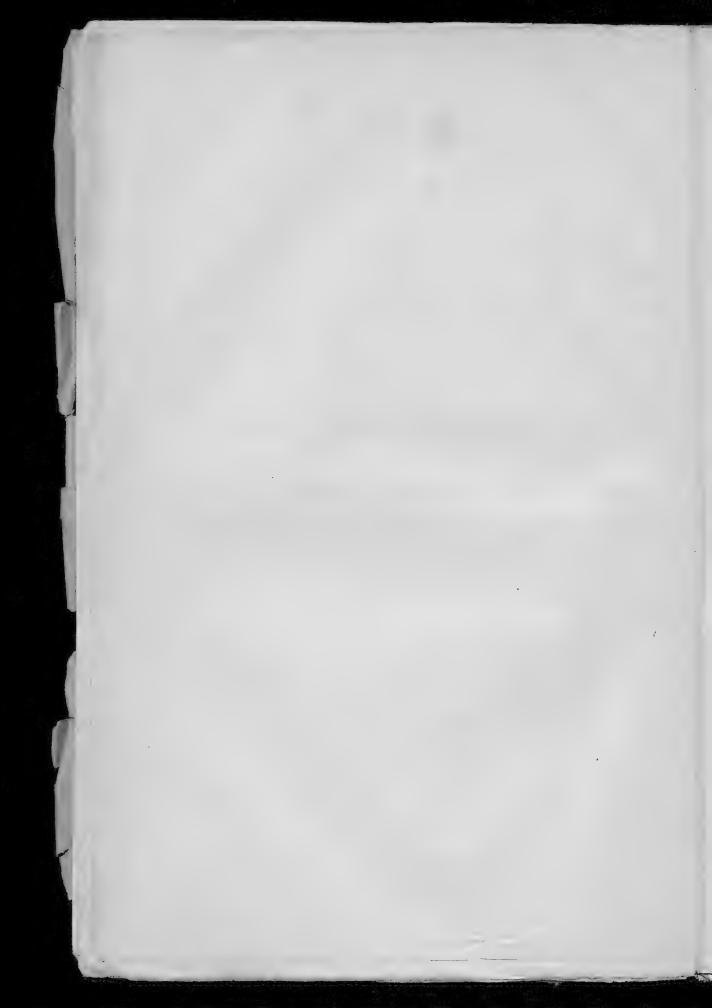
Кром'в того существують **отд'яльныя изданія п'якоторыхъ** главн'я произведеній Пушкина. Инмя изъ нихъ пазначены для

учащихся.

Въ 1882 г. въ Москвѣ вышли: **Сочиненія А. С. Пункина.** Особое изданіе для школъ подъ ред. препод. Моск. Уч. Инст. К. А. Козьмина. въ 3 томахъ, раздѣл. по классамъ, съ рисунк. акад. В. Е. Маковскаго и приложеніями. (Ц. І т.—60 к., И—1 р., III—2 р.).

## ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ

жизни и дѣятельности Пушкина.



#### ГЛАВА І.

### Отцовскій домъ. — Лицей. — Петербургъ.

(1799—1820° rr.)

Александръ Сергъевичь Пушкипъ родился въ Москвъ въ 1799 г., въ день Вознесенія Христова, 26-го мая. Происхожденіе его не чисто русское. Со стороны отца онъ принадлежалъ къ древнему боярскому роду. (Одного изъ своихъ предковъ, Пушкиныхъ, онъ вывелъ дѣйствующимъ лицомъ въ драмъ "Борисъ Годуновъ"). Со стороны матери онъ былъ происхожденія африканскаго; это отразилось и въ типъ его головы: у него были выющіеся, впрочемъ бёлокурые, волосы, толстыя губы и смуглый цвъть лица. Извъстный арапъ Петра Великаго Абрамъ Петровичь Ганнибаль быль его предкомь; при жизни поэта у него были еще черные родственники. — Весьма замъчательно, что многіе изъ нашихъ писателей смѣшаннаго происхожденія: предки Фонвизина вышли изъ Германіи, Державинъ — потомокъ татарскаго мурзы, Жуковскій-сынъ турчанки. Это явленіе совершенно параллельно съ происхожденіемъ нашей новой цивилизаціи, начатой Петромъ Великимъ: она представляетъ собою соединение началъ древне-русскихъ съ чужими, западно-европейскими.

Условія жизни будущаго поэта въ родной семь не были благопріятны ни для развитія его таланта, ни для образованія его характера. Отецъ его, Сергъй Львовичь (служившій сперва въ Измайловскомъ полку, а нотомъ по Коммиссаріату), былъ человъкъ пустой и
легкомысленный; любя свътъ и его шумъ, отличаясь моднымъ остроуміемъ, умъніемъ декламировать стихи и говорить каламбуры, знаніемъ
французскаго языка, онъ не любилъ заниматься серьезными дълами и
даже на службъ читалъ французскіе романы. На старости лътъ, уже
лишившись знаменитаго сына, онъ влюбился въ молодую дъвушку,
Ек. Ерм. Кернъ 1), писалъ ей сантиментальныя посланія и былъ отвергнутъ; эта жалкая страсть прекрасно его характеризуетъ. Жена его,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1489—1491 (Зап. Липранди).

Належда Осиновна, отличавшаяся, вследствие своего южнаго темперамента, вспыльчивымъ характеромъ съ разкими переходами отъ гнава къ равнодушію, тоже любила, подобно своему мужу (и его брату, Василію Львовичу, изв'єстному стихотворцу), св'єть, внішній блескъ и сусту. Въ ломашнемъ бытъ Пушкиныхъ господствовалъ безпорядокъ. Дътей воснитывали кое-какъ, по-модному, на французскій ладъ. Александръ Сергъевичь быль (какъ говорять, вследствіе тайныхъ семейныхъ обстоятельствъ) менње любимъ въ семьъ, чъмъ сестра его Ольга и брать Левъ. Это ожесточало ребенка, озлобляло его характеръ; проницательные родители, встръчая въ немъ упрямство, неповиновение, часто выводили отсюда заключеніе, что природа его извращена. Вудущій поэть (впослідствін такой живой и подвижный) до 8 леть отличался неповоротливостью, толстотой, молчаливостью, льнью; ариометика была для него причиною многихъ слезъ; но языками занимался онъ успъшнъе, по крайней мірь французскій языкь зналь хорошо. Обладая прекрасной памятью, онъ быль въ то-же время остроумень и находчивъ.

Дъти—Пушкины, окруженные гувернантками и гувернерами иностранцами, учились всему (кромѣ Закона Божія и русскаго языка) на языкѣ французскомъ, и весь строй ихъ воспитанія былъ французскій, съ модными jeux d'esprit, съ танцовальными вечерами.

Вліяніе полу-французскихъ нравовъ русскаго общества начала XIX въсовершенно гармонировало съ тёми впечатлёніями, которыя выпосилъ маленькій Александръ Сергъевичь изъ библіотеки отца, куда любиль онъ забираться и гдв по цвлымъ часамъ увлекался чтеніемъ. Библіотека эта состояла изъ французскихъ классиковъ XVII в., философовъ и эротическихъ поэтовъ XVIII в. Левъ Сергвичь Пушкинъ говорилъ вноследствии, что брать его на 11-мъ году жизни зналъ всю французскую литературу. Понятно, что знакомство со многими изъ писателей XVIII въка дъйствовало развращающимъ образомъ на геніальнаго мальчика. Французское. вліяніе было такъ сильно, что первые, дътскіе стихи Пушкина были подражаніями французскимъ авторамъ и написаны на французскомъязыкъ. Такъ, увлекшись Мольеромъ 1), онъ сочинилъ комедію "L'Escamoteur", освистанную сестрою, что послужило молодому поэту поводомъ написать на себя французскую-же эпиграмму. Подражая "Генріадъ" Вольтера, Пушкинъ сочинилъ героическую поэму "La Tolyade"; слѣдуя Лафонтену онъ писаль басни.—Впрочемь въ отцовской библіотек В Пушкинъ знакомился не только съ французскими сочиненіями: онъ прочиталъ тамъ и Плутарха, и Одиссею и Иліаду въ перевод'в Битобе.

<sup>4)</sup> По свидътельству илемянника поэта, Павлищева, Серг. Льв. читалъ вногда (мастерски) въ семействъ по вечерамъ Мольера. Такъ что, значитъ, и его безпутное существованіе принесло хоть какую-внобудь пользу развитію его сына. ("А. С. Пушкинъ по док. Остаф. архива", Спб. 1880, I).

Къ счастію будущаго поэта, къ счастію русской литературы и жизни, молодое поколеніе Пушкиныхъ возростила на своихъ рукахъ простая и добрая русская женщина, няня Арина Родіоновна. На торжеств'в открытія Пушкину памятника Арина Родіоновна многими была помянута добрымъ словомъ; какъ-бы по какому-то безмолвному внутреннему соглашенію всь признали благотворность ея вліянія на ея знаменитаго восинтанника. Но сила этого вліянія подвергалась однако прежде, будеть, въроятно, подвергаться и вновь, сомнънію: многимъ кажется страннымъ признать, что безграмотная крестьянка могла имъть такое значение для литературы. Но думающіе такъ забывають, что эта крестьянка была замъчательно яркимъ выражениемъ народной поэзіи, народной мудрости и слъдовательно образованности. Черезъ няню свою, которая была великая мастерица сказывать сказки, пъть пъсни, ръчь которой была испещрена поговорками и пословицами, Пушкинъ сроднялся съ духомъ русской жизни, знакомился съ народнымъ языкомъ; черезъ няню свою Пушкинъ инстинктивно полюбилъ родную землю. Въ нянѣ нашелъ онъ и любящее его существо — и привязался къ ней всёмъ сердцемъ. Извёстно, какъ любилъ ее поэтъ всю свою жизнь и какія задушевныя стихотворенія посвятиль онь ей. Такъ, на одно ея простодушное и задушевнотеплое письмо, написанное около 1826 года, онъ отейтилъ чудными, къ сожальнію неоконченными, стихами, выражающими всю силу его любви къ своей воспитательницѣ:

Подруга дней монхь суровыхь, Голубка дряхлая моя! Одна въ глуши лъсовъ сосновыхъ Давно, давно ты ждешь меня. Ты подъ окномъ своей свътлицы Горюешь будто на часахъ И медлятъ поминутно спицы Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ. Глядишь въ забытыя ворота, на черный отдаленный путь: Тоска, предчувствія, заботы Тъснятъ твою всечасно грудь, То чудится тебъ.....

Вопреки взглядамъ нѣкоторыхъ изъ своихъ просвѣщенныхъ цѣнителей, самъ Пушкинъ признавалъ въ своей старушкѣ-нянѣ такую здравую мысль и такое эстетическое чувство, что повергалъ на ея судъ свои произведения въ эпоху жизни въ Михайловскомъ въ 1824—1826 годахъ:

Но я плоды монхъ мечтаній И гармоническихъ затѣй Читаю только старой няпѣ, Подругѣ юности моей..... (Гл. 4, XXXV)

сказалъ онъ въ "Евгеніи Онѣгинѣ".

Должно упомянуть еще о бабушкъ поэта, Марьъ Алексвевнъ Ганнибалъ, его первой наставницѣ въ русскомъ языкѣ. Съ ней только, съ няней, да съ Александромъ Ивановичемъ Бъликовымъ (своимъ законоучителемъ, впоследствии священникомъ) Пушкинъ говорилъ по-русски. Впоследствии онъ и Дельвигъ восхищались простотою, ясностью и м'яткостью рѣчи Марьи Алексфевны. Старушка знала, между прочимъ, много семейныхъ преданій; такъ, она разсказывала внуку объ арап'в Петра Великаго. Марыя Алексвевна купила подъ Москвою село Захарово; сюда на лъто прівзжаль изъ Москвы будущій поэть; здёсь впервые, ребенкомъ, знакомился онъ съ деревней, видёлъ иляски и хороводы, переживаль впечатленія народной жизни. Изъ Захарова по праздникамъ Пушкины взжали въ сосвднее село Вязёмо, гдв находилась старая церковная колокольня и прудъ, относившіеся, по преданію, ко временамъ Годунова; въроятно, Пушкинъ слышалъ тутъ преданія о Годуновъ. Весьма возможно, что историческія впечатлівнія дітства поэта были зародышами позднѣйшихъ его созданій—"Бориса Годунова" и "Арапа Петра Великаго".

Въ числѣ впечатлѣній дѣтства Пушкина слѣдуетъ назвать и впечатлѣнія новой русской литературы. Любитель общества, Сергѣй Львовичь знакомился, черезъ своего брата Василія, съ современными литературными знаменитостями,—домъ его (въ Петербургѣ) посѣщали Батюшковъ, Дмитріевъ, Жуковскій, князь Вяземскій и друг. Рапо пристрастивнійся къ чтенію книгъ, молодой Пушкинъ прислушивался къ разговорамъ этихъ писателей, зачитывался ихъ произведеніями.

Нельно начатое воспитание Александра Сергьевича родители хотьли и закончить такъ-же, или еще и болье нельно, отдавь его, на 11-мъ году, въ модную тогда среди аристократическаго общества іезуитскую коллегію въ Петербургь. Киязь П. А. Вяземскій въ своихъ автобіографическихъ запискахъ съ сочувствіемъ отзывается объ этой коллегіи, гдь онъ самъ нолучилъ воспитаніе; но мы, конечно, можемъ этихъ сочувствій не раздылять: честные отцы Іисусова общества, конечно, не безъ задней мысли открыли въ Петербургь свое училище; воспитаніе въ ихъ коллегіи основывалось на системъ шпіонства; обученіе шло на французскомъ языкъ... Отъ новой напасти спасъ Пушкина Александръ Иванов. Тургеневъ, уговорившій родителей его отдать сына въ только что открывавшійся тогда въ Царскомъ Сель Александровскій лицей.

Въ русскомъ обществъ и литературъ долго держалось убъжденіе, что первоначальный Лицей былъ образцовымъ заведеніемъ <sup>1</sup>). Г. Анценковъ въ своемъ сочиненіи "А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху" раз-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Подробное описаніе Лицея см. въст. г. Гаевскаго ("Современникъ" 1853 г., № 2) и въ "Памятной внижкѣ Александровскаго лицея на 1856—1857 гг.".

очаровываеть насъ въ такомъ мивніи. При основаніи Лицея имвлось въ-виду высоко поставить въ немъ образование: преподавателями были приглашены лучшіе ученики Педагогическаго Института, которыхъ на казенный счеть даже отправляли заграницу; такъ, латинскую и русскую словесность преподаваль Кошанскій (котораго потомь заміниль Галичь), математику-Карцевъ, исторію-Кайдановъ, исихологію и философію права Куницынъ. Но дело не пошло на ладъ: Куницыпъ, читавшій сначала очень живо и образно, на второмъ курст сталъ требовать только буквальной выучки записокъ. Карцевъ довольно скоро остылъ къ занитіямъ и разсказываль въ классъ анекдоты. Слабохарактерный Галичъ въ своей комнать (назначенной ему для прівздовь изъ Петербурга) позволяль лицеистамъ устранвать пирушки, на которыхъ и самъ участвовалъ. Иной разъ случалось, что передъ экзаменами учителя и ученики сговаривались, что и какъ отвъчать. Неудивительно, что Пушкинъ впослъдстви въ запискахъ своихъ, говоря про А. Н. Вульфа, выразился: "Въ концъ 1826 года и часто видёлся съ однимъ дерптскимъ студентомъ. Онъ много зналъ, чему научаются въ университетахъ, между тъмъ какъ мы... выучились танцовать" 1). Ту-же идею выразиль поэть въ своемъ романѣ, въ стихахъ:

Мы всѣ учились понемногу, Чему-нибудь и какъ-нибудь.

Воспитаніе въ Лицей шло не лучше ученья: лицеисты были распущены въ нравственномъ отношеніи; довольно быстро смѣнявшіе одинъ другаго директора не могли обуздать ихъ грубыхъ шалостей и разгула. Воспитанники кутили и пили съ гусарами, волочились за актрисами театра графа Толстаго, за горничными и няньками царскосельскихъ обывателей. Свидѣтельства объ этой жизни мы имѣемъ въ "Лицейскихъ стихотвореніяхъ" Пушкина. Кутежи свои и своихъ товарищей поэтъотрокъ воспѣлъ въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ Галичу: "Посланіе къ Галичу" (1815 г.), "Пирующіе студенты" (1814 г.) и друг.

Пінни шампанское въ стеклю!

Друзья, почто же съ Кантомъ
Сенека, Тацитъ на столю,
Фольянтъ надъ фоліантомъ?
Подъ столъ холодныхъ мудрецовъ!
Мы полемь овладъемъ!
Подъ столъ ученыхъ дураковъ!
Безъ нихъ мы пить умъемъ!
Ужели трезваго пайдемъ
За скатертью студента?
На всякій случай изберемъ
Скоръе президента.

<sup>1)</sup> Пушкинъ въ Александр. эпоху, г. Анненкова, стр. 283, выноска.

Въ награду пьянымъ онъ нальетъ
И пуншъ, и грогъ душистый,
А вамъ, спартанцы, поднесетъ
Воды въ стаканъ чистой.
Защитникъ иъги и прохладъ,
Мой добрый Галичъ, vale!
Ты Эникуровъ младшій братъ,
Душа твоя въ бокалъ.
Главу вънками убери—
Будь нашимъ президентомъ.

Въ стихотвореніи 1815 г. "Къ Галичу" молодой поэть, обращаясь къ своему наставнику со словами:

Въ тебъ трудиться нътъ охоты: Садись на тройку злыхъ коней, Оставь Петрополь и заботы, Лети въ счастивый городокъ, и т. д.,

между прочимь заявляеть о своемь желаніи надёть военный мундирь:

Простите, дівственныя музы! Прости, пріють младыхь отрадь! Надіну узкіл рейтузы, Завью вы колечки гордый усъ, Заблещеть пара эполетовь, И л, питомець важныхь Музь, Въ числь воюющихь кориетовь!

Дружба съ гусарами влекла Пушкина самого поступить въ гусары. Ухаживание за крѣпостными актрисами театра графа Толстаго вызвало у Пушкина нѣсколько стихотвореній: "Къ Натальѣ" (1814 г.), "Къ молодой актрисѣ" (1814 г.) и т. п.

Миловидной жрицы Тальи, Видёлъ прелести Натальи, И ужь въ сердце Купидонъ!

читаемъ мы въ первомъ изъ названныхъ произведеній; а во второмъ находимъ такую характеристику бездарной, по красивой артистки и отношеній къ ней учащейся въ Лицев публики:

Жестокой суждено судьбой Тебѣ актрисой быть дурной; Но, Хлоя, ты мила собой!

Когда Милона молодаго, Ленеча что-то не для насъ, Въ любви безъ чувства увѣряешь, Или безъ памяти, въ слезахъ, Холодный испуская: ахъ! Спокойно въ кресло упадаешь, Краспъя и чуть-чуть дыша,— Всъ шепчуть: ахъ, какъ короша! Увы! другую-бъ освистали! Велико дъю красота! О, Хлоя, мудрые солгали: Не все на свътъ суета!

Понятно, какимъ развращающимъ образомъ должны были дѣйствовать на внечатлительную душу, на пылкую натуру Пушкина всѣ эти грубыя увлеченія. По свидѣтельству товарища его графа Корфа, онъ сильно увлекался пирушками на-раснашку 1). Впрочемъ, его сдерживали нѣсколько, какъ справедливо замѣчаетъ кн. П. П. Вяземскій, знакомства съ Чаадаевымъ (который тоже былъ гусарскимъ офицеромъ, но вовсе не кутилой) и съ семействомъ Карамзина, въ которомъ онъ часто бывалъ, благоговѣя и передъ знаменитымъ историкомъ, и передъ его женою Екатериной Андреевной, въ которую былъ влюбленъ.

Гр. Корфъ говорить въ своей Запискѣ: "въ Лицеѣ Пушкинъ рѣшительно инчему не учился". Можетъ быть этотъ приговоръ слишкомъ рѣзокъ; но онъ не такъ далекъ отъ истины. Ни прилежаніемъ, ин вниманіемъ Пушкинъ-лицеистъ не отличался; онъ и вышелъ изъ заведенія по второму разряду, и аттестатъ его свидѣтельствуетъ о посредственныхъ успѣхахъ. Въ сохранившихся "вѣдомостяхъ о дарованіяхъ, прилежаніи и успѣхахъ" воспитанниковъ лицея <sup>2</sup>) Кайдановъ аттестовалъ Пушкина (за географію и исторію): "при маломъ прилежаніи, оказываетъ очень хорошіе успѣхи и сіе должно приписать однимъ только прекраснымъ его дарованіямъ". Профессоръ логики и нравственныхъ наукъ Куницынъ отозвался о поэтѣ: "весьма понятенъ, замысловатъ и остроуменъ, но крайне не-прилеженъ. Онъ способенъ только къ такимъ предметамъ, которые требуютъ малаго напряженія, а потому успѣхи его очень невелики, особенно по части логики".

О нравственной сторонѣ его личности въ Лицеѣ существуютъ противорѣчивыя показанія его товарищей: И. И. Пущинъ говоритъ: "Пушкинъ былъ доброе, даже нѣжное и по-преимуществу любящее существо, но требовавшее, чтобы качества его души были отыскиваемы посторонними" 3). Гр. Корфъ 4) показываетъ другое: "Вспыльчивый до бѣшенства, вѣчно разсѣянный, вѣчно погруженный въ поэтическія свои

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) "А. С. Иушкинь, по документамъ Остафьевскаго архива". Кн. П. П. Вяземскаго. Спб. 1880 г., I, 46—47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. у г. Анпенкова, въ "Матеріалахъ для біогр. Пушкина". Стр. 15.

 <sup>&</sup>quot;Матеріали" г. Анненкова. Стр. 42. Записки И. И. Пущина въ Атенев 1859, № 8.

<sup>4) &</sup>quot;А. С. Пушкинъ по докум. Остаф. архива. Кн. Вяземскаго. Спб. 1880, I, 48—50.

мечтанія, съ необузданными африканскими страстями... Пушкинъ ни на школьной скамьт, ни послт, въ свътт, не имълъ ничего любезнаго и привлекательнаго въ своемъ обращении... Въ лицев онъ превосходилъ всёхъ въ чувственности, а послъ въ свётъ предался распутствамъ всёхъ родовъ... Пушкинъ не былъ созданъ ни для свъта, ни для общественныхъ обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только дей стихін: удовлетвореніе плотскимъ страстямъ и поэзія, и въ обоихъ онъ ушелъ далеко. Въ немъ не было ни внѣшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ, и онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ отъявленномъ цинизм'в по этой части". Съ мивніемъ гр. Корфа совершенно сходится еще болве суровый отзывъ о Пушкинв-ученикв директора лицел Энгельгардта, сказавшаго, что умъ Пушкина, не имъл ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французскій умъ. "Это еще самое лучшее (писаль Энгельгардть), что можно сказать о Пушкинъ. Его сердце холодно и пусто, въ немъ нѣтъ ни любви, ни религіи; можеть быть оно такъ пусто, какъ никогда еще не бывало юношеское сердце. Нъжныя и юношескія чувства унижены въ немъ воображеніемъ, оскверненнымъ всеми эротическими произведеніями французской литературы, которыя онъ при поступлении въ лицей зналъ почти наизусть, какъ достойное пріобрътеніе первоначальнаго воспитанія" 1).

ІІ Энгельгардть и графъ Корфъ смотрять на поэта, очевидно, очень близоруко и даже наивно; но въ то-же время признать ихъ показанія лживыми никакъ нельзя. Оба они не враги Пушкина: Корфъ въ своей запискъ признаетъ его талантъ и, говоря о его женитьбъ, понимаетъ всю тяжесть брачной жизни поэта. Энгельгардть въ 1820 г. ходатайствоваль за Пушкина передъ императоромъ. Слова Энгельгардта насчетъ оскверненія воображенія Пушкина-ребенка эротическими произведеніями французской литературы—совершенно вірны. Свидітельство графа Корфа, что поэтъ въ лицев страстно предавался разгулу, вполнв подтверждается вышеприведенными лицейскими стихотвореніями самого поэта. Но несомивнно, что нельзя отвергнуть и показаній Пущина. Должно признать, следовательно, что въ душе, въ нраве Пушкина въ лицев была двойственность, жили противорвчія. И двиствительно, мы видимъ то-же самое и въ его поведении, въ образъ его жизни, въ занятіяхъ: по словамъ товарищей, то онъ весь погружался въ думы и чтеніе, то только и дёлаль, что бёгаль, прыгаль черезь стулья, играль въ мячикъ. Ту-же двойственность можно замътить въ его отношенияхъ къ товарищамъ: по словамъ графа Корфа, онъ былъ друженъ только съ стихотворцами. По другому показанію, весь образь дѣйствій его, отно-

¹) См. "Матеріали" г. Анпенкова. Также "Современникъ" 1863 г. № 8, стр. 376.

сительно товарищей, быль заносчивый, рёзкій, напрашивающійся на вражду и оскорбленія. Но этотъ-же свидѣтель говоритъ, что Пушкинъ поступаль такъ наперекоръ своему воспріимчивому и впечатлительному отъ природы сердцу; что онъ по почамъ плакаль въ своемъ нумерѣ (у каждаго лиценста была своя комната), жаловался на себя и на другихъ, раскаявался и обсуждалъ планы, какъ поправить свое положеніе между товарищами.

Эту странную на первый взглядъ двойственность въ характеръ можно, однако, объяснить. Замкнутость, скрытность Пушкина, какое-то желаніе выставлять свои дурныя стороны и танть свътлые порывы сердца произошли, должно быть, отъ того озлобленія, которое онъ вынесъ изъ родительскаго дома и которое усилилось отношеніями къ товарищамъ. Впрочемъ, это вообще загадочная черта въ характеръ даровитыхъ людей—представляться иными, чъмъ каковы они въ дъйствительности; этой чертой отличался и Лермонтовъ во всю свою жизнь. — Другою, и быть можетъ, главнъйшей причиной двойственности въ нравъ Пушкина-юноши была, по всей въроятности, та внутренняя борьба, которая происходила въ это время въ душъ его, борьба противоположныхъ умственныхъ и нравственныхъ началъ и вліяній.

Свътлой стороною въ жизни первоначальнаго Лицея было литературное направление его воспитанниковъ. Лицеисты, по крайней мъръ нъкоторые изъ нихъ, много читали русскихъ и иностранныхъ авторовъ и сами пробовали свои силы въ сочинительствъ. Кромъ Пушкина писали стихи Дельвигъ, Кюхельбекеръ, Илличевский.

Изъ "Лицейскихъ стихотвореній" Пушкина видны серьезныя его занятія литературой. 15-ти—16-ти лѣтъ опъ знакомился съ біографіями всевозможныхъ писателей, читалъ критику Лагарпа. Въ стихотвореніи "Къ другу стихотворцу" (1814 г.) есть такіе стихи:

> Родился пагъ и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо, Камоэнсъ съ пищими постелю раздъляетъ, Костровъ на чердатъ безвъстно умираетъ, Руками чуждыми могилъ предапъ опъ.

Въ стихотворении "Городокъ" (1815 г.) Пушкинъ пишетъ:

Хоть страшно стихоткачу Лагариа видёть вкусъ, Но часто, признаюсь, Надъ нимъ я время трачу...

Ученическія стихотворенія поэта и біографическія данныя довольно опредѣленно указывають на разныя литературныя вліянія въ его лицейской жизни. Изъ увлекавшихъ его французскихъ писателей слѣдуеть прежде всего назвать Вольтера. Въ своихъ лицейскихъ "запискахъ" 1) Пушкинъ говоритъ подъ 10-мъ декабря: "поутру читалъ жизнь Вольтера". Въ-подражание Вольтеру написалъ онъ романъ "Фатама или разумъ человьческій", гдь проведена мысль, что измыненіе натуральнаго хода вещей не можетъ повести къ лучшему. Философское направление Вольтера и вообще мыслителей XVIII вѣка также, по всей вѣроятности, вліяло на юношу-поэта. Надо зам'єтить, что между лиценстами были свои сепсуалисты, денсты, мистики, атенсты и т. д. Объ увлечении Пушкина философскими идеями свидътельствуетъ стихотворение его "Безвъріе", произнесенное имъ на публичномъ экзаменъ въ 1817 г.; въ немъ поэтъ описываетъ, видимо по опыту, ужасное состояние души во время безвёрія и говорить о своихъ сомнёніяхъ (уже оставившихъ его, впрочемъ, ко времени написанія произведенія). Пушкинъ положительно свидътельствуетъ въ стихотвореніи "Городокъ" (1815 г.), что въ ранней юности болье всьхъ писателей увлекался онъ Вольтеромъ, котораго даже считаль величайшимь поэтомь. Перечисляя авторовь, составлявшихъ его библютеку (въроятно-библютеку отца), онъ такъ отзывается о знаменитомъ "фернейскомъ философъ"::

Сыпт Мома и Минервы, Фернейскій злой крикунь, Ноэть въ поэтахъ первый, Ты здёсь, сёдой шалунь! Онъ Фебомъ былъ восинтанъ Издётства сталь пінть; Всёхъ больше перечитань, Всёхъ менёе томить; Соперпикъ Эвринида, Эраты пёжный другъ, Арьоста, Тасса внукъ, Скажу-ль?... Отецъ "Кандида"! Онъ все: вездё великъ, Едипственный старикъ!

Изъ этихъ стиховъ ясно, что (какъ и слъдовало ожидать) Вольтеръ извъстенъ былъ отроку Пушкину преимущественно какъ авторъ поэтическихъ сочиненій. "Отецъ "Кандида", выразился Пушкинъ. Объ этой-же повъсти, одномъ изъ замъчательнъйшихъ произведеній Вольтера, нашъ поэтъ вспоминаетъ еще въ отрывкъ "Сонъ" (1816 г.):

Жезломъ невидимымъ своимъ Морфей на все невърный мракъ наводитъ. Темнъетъ взоръ; Кандидъ изъ вашихъ рукъ, Закрывшися, упалъ въ колъни вдругъ; Вздохнули вы; рука на столъ валится, И голова съ илеча на грудъ катигся.

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы" г. Анненкова, стр. 21.

Описывая село Захарово въ "Отрывкахъ изъ посланія къ Юшкову" (1816 г.), Пушкинъ опять говорить о своей любви къ чтенію Вольтера. Въ 1817 г. онъ перевелъ изъ Вольтера два стихотворенія: "Стансы" (Ты миѣ велишь пылать душою) и "Сновидѣніе". Въ 1818 г., посылая И. И. Кривцову вольтерову поэму ("Орлеанскую дѣвственницу"), онъ въ посланіи, написанномъ по этому случаю, высказываеть свое сочувствіе пресловутой поэмѣ.

Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкинъ упоминаетъ и многихъ другихъ поэтовъ—древнихъ и новыхъ, ипостранныхъ и русскихъ — которыхъ онъ читалъ и которые болѣе или менѣе вліяли на него. Вотъ ихъ имена: Грей, Томсонъ, Виландъ, Тассъ, Аріостъ, Гомеръ, Виргилій, Апакреонъ (про котораго въ стихотвореніи "Мое завѣщаніе" (1815 г.) Пушкинъ выражается: "онъ былъ учителемъ моимъ"), Расинъ, Мольеръ ("исполинъ"), Жанъ-Жакъ Руссо, Жаплисъ, Лафонтенъ, Вержье, Парни, Грекуръ, Шамфоръ, Шолье, Грессе; изъ русскихъ: Ломоносовъ, Державинъ, Дмитріевъ ("пѣвцы безсмертные, и честь и слава Россовъ", какъ сказано въ стихотв. "Къ другу стихотворцу", 1814 г.), затѣмъ Крыловъ (котораго Пушкинъ считалъ побѣдителемъ Лафонтена), Карамзинъ, Ватюшковъ, Жуковскій.

Вліяніе Жуковскаго, прямая противоположность вліянію Вольтера, было могущественно. Какъ много значила для Пушкина романтическая муза этого писателя, видно изъ посланія "Къ Жуковскому" (1817 г.), въ которомъ молодой поэтъ съ такими словами обращается къ своему предшественнику и учителю:

Не ты-ль мий руку даль въ завить любви священной? Могу-ль забыть я часъ, когда передъ тобой Безмолвный я стояль и молнійной струей Душа къ возвышенной души твоей летила И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенила? Нътъ, пътъ, ръшился я безъ страха въ трудный путь! Отважной вфрою исполнилася грудь.

Въ стихотворени "Къ сестръ", написанномъ ранъе предъидущаго (въ 1814 году), мы видимъ, что образы, созданные Жуковскимъ, оказываются родными для Пушкина: такъ, сестру свою онъ сравниваетъ съ "задумчивой Свътланой". Жуковскаго онъ назвалъ здъсь—

ивець Людинлы, Мечты невольникь милый.....

Въ запискахъ своихъ въ 1815 году Пушкинъ отмѣтилъ: "Жуковскій даритъ мнѣ свои произведенія"; тутъ-же, говоря о своей любви, онъ характеризуетъ ее стихами Жуковскаго:

Онъ пълъ любовь, но быль печаленъ гласъ, Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку.

Въ числѣ выраженій литературнаго направленія лицеистовъ была придуманная ими игра—собираться кружкомъ и разсказывать повѣсти своего сочиненія. Въ состязаніяхъ этихъ Пушкинъ уступаль въ изобрѣтательности Дельвигу 1), и, чтобы не упасть въ мнѣніи товарищей, прибѣгалъ къ хитростямъ; такъ, онъ разсказалъ имъ однажды "Двѣнадцать спящихъ дѣвъ" Жуковскаго и выдалъ это произведеніе за свое. Разсказъ его увлекъ слушателей; слѣдовательно онъ самъ былъ увлеченъ поэзіей романтической повѣсти, если съумѣлъ такъ одушевленно пересказать ее.

Противоположная мечтательной поэзіи Жуковскаго поэзія Батюшкова, съ ея опредѣленными, античными формами стиха, съ ея воспѣваніемъ земныхъ радостей, тоже могущественно дѣйствовала на Пушкина. Въ посланіи 1814 года "Къ Батюшкову" отрокъ-поэтъ самъ указываетъ, какою стороною своей преимущественно дѣйствовалъ на него этотъ

стихотворецъ:

Философъ рѣзвый и иіптъ,
Нариасскій счастливый лѣнивецъ,
Харитъ изнѣженный любимецъ,
Наперстинкъ милыхъ Аонидъ!
Почто на арфѣ златострунной
Умолкнуль, радости иѣвецъ?
Уже-ль и ты, мечтатель юный,
Разстался съ Фебомъ наконецъ?
Уже съ вѣнкомъ изъ розъ душистыхъ,
Межь кудрей выющихся златыхъ,
Нодъ тѣнью тонолей вѣтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ
Заздравнымъ не стучинь фіаломъ,
Любовь и Вакха не поешь.....

Вліяніе Батюшкова на Пушкина почти тождественно, по крайней мѣрѣ очень близко съ вліяніемъ на пего Парни; симпатизируя французскому лирику, Батюшковъ самъ довольно много переводилъ изъ него.

Въ связи съ вліяніемъ беллетристическихъ сочиненій Вольтера стоитъ вліяніе на Пушкина-отрока и юношу цѣлой полосы нашей русской литературы 18-го вѣка.

Читалъ охотно "Елисея",

говоритъ поэтъ въ "Евгеніи Онѣгинѣ" про свои ученическія увлеченія книгами въ лицеѣ. "Елисей"—извѣстная шуточная эротическая поэма

<sup>4)</sup> Что отчасти подтверждаеть показаніе гр. Корфа ("Пушкинь по докум. Остаф. архива", І, 48): "Бесьды ровной, систематической, сколько-инбудь связной—у пего совсьмъ не было, какъ не было и дара слова; были только всиншки: різкая острота, злая насмышка, какая-вибудь внезанная поэтическая мысль; но все это лишь урывками, пногда, въ добрую минуту".

Василія Майкова, писателя временъ ими. Екатерины. Едва ли не болье Майкова, какъ увидимъ, действовалъ на Пушкина другой знаменитый писатель той-же эпохи—Богдановичъ, авторъ известной "Душеньки".

Всѣ эти разнообразныя и часто противорѣчивыя вліянія ярко отразились на лицейской лирикѣ нашего поэта. Но прежде чѣмъ указать на ихъ проявленія, должно остановиться пѣсколько на главныхъ изъ названныхъ писателей—учителей Пушкина и характеризовать ихъ хотя въ самыхъ общихъ чертахъ, чтобы яснѣе представить, что они дали и могли дать будущему великому художнику.

Вольтеръ, какъ мы видели, произвелъ на Пушкина могущественное впечатлене именно своими поэтическими сочиненіями (изъ нихъ любимою вещью Пушкина-отрока былъ романъ "Кандидъ"). Человъкъ несомненно богато одаренный, геніальный, съ сильнымъ умомъ, Вольтеръ собственно поэтомъ не былъ. Въ его очень занимательныхъ повестяхъ и поэмахъ нетъ однако ни живыхъ типовъ, ни художественныхъ картинъ, ни теплаго чувства. Въ романахъ своихъ Вольтеръ такой же публицистъ, какъ и въ философскихъ, историческихъ сочиненіяхъ, въ письмахъ; поэзія для него была лишь общедоступной формой для проповъданія своихъ воззрѣній. Слѣдовательно, Вольтеръ дъйствоваль на Пушкина именно своими идеями. Что же это за идеи?

Въ поздивитей своей двятельности, въ пору зрвлости таланта, въ послании "Къ вельможв" (1830 г.) Пушкинъ иначе опредвлилъ значене Вольтера, чвмъ въ приведенныхъ выше двтскихъ стихахъ своихъ:

циникъ посъдълий, Умовъ и моды вождь, пронырливый и смѣлый, Свое владычество на Сѣверъ любя, Могильнымъ голосомъ привътствовалъ тебя. Съ тобой веселости онъ расточилъ избытокъ, Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ напитокъ.

Могучій вождь умовъ, смёлый и дерзкій, циникъ, веселый, властолюбивый и льстивый, — Вольтеръ представлялся Пушкину Мефистофелемъ. Такимъ онъ и быль въ действительности. Двойственность, непримиримая, и которую онъ самъ, очевидно, и не хочетъ примирить, ярко замётна и въ философскихъ его сочиненіяхъ, и въ нов'єстихъ, и въ жизни; и на мысль, и на чувство, и на дело Вольтеръ смотрить съ цинизмомъ льстивой и холодной насмёшки.

Съ одной стороны, въ цѣломъ рядѣ блестящихъ, остроумныхъ трактатовъ своего "Философскаго словаря" 1) опъ (какъ и вообще "философы"

¹) Dictionnaire philosophique. Paris 1816. (14 томовъ).—Также въ Ouevres complètes de Voltaire. Basel. 1786, tt. 37—43.

XVIII в.) представляется намъ сильнымъ и замѣчательнымъ борцомъ противъ предразсудковъ и суевѣрій, противъ всякаго рода деспотизма. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна статья "Fanatisme".—Могущественный скептицизмъ Вольтера слѣдуетъ считать, конечно, тоже однимъ изъ свѣтлыхъ явленій его дѣятельности.

Но, съ другой стороны, въ тъхъ же самыхъ своихъ сочиненіяхъ, гдѣ осмѣиваетъ предразсудки, Вольтеръ со многими изъ нихъ не только готовъ примириться, но и отстаиваетъ ихъ. Такъ, напр., въ статъѣ "Egalité", гдѣ сказано, что поваръ такой-же человѣкъ, какъ и его господинъ: такъ-же родился плачущимъ, такъ-же умретъ въ агоніи, совершаетъ такія же животныя отправленія 1,—въ этой самой статъѣ авторъ ея утверждаетъ, что не только невозможно, чтобы на нашей несчастной планетѣ люди не раздѣлялись на богатыхъ и бѣдныхъ, но что этого и не нужно: бѣдные вовсе не несчастны,—большая часть ихъ родилась въ этомъ состояніи, и постоянная работа мѣшаетъ имъ чувствовать свое положеніе 2).

На высотѣ своего скептицизма Вольтеръ тоже не удерживается и не хочетъ удержаться: онъ съ веселой насмѣшкой переходитъ отъ него путемъ софизмовъ къ матеріалистическимъ вѣрованіямъ. (Именно—вѣрованіямъ, потому что, кромѣ сознательныхъ софизмовъ, никакихъ другихъ доказательствъ въ пользу своихъ матеріалистическихъ положеній онъ не приводитъ). Въ этомъ отношеніи особенно замѣчателенъ обширный трактатъ "Ате". Здѣсь мы найдемъ и блестящіе примѣры скептицизма, и софистическія доказательства несуществованія души. И тотъ-же Вольтеръ былъ деистъ и искрепно вѣрилъ въ Бога, котя въ то-же время ядовито замѣтилъ однажды, что Бога надо-бы выдумать, если-бы его не было.

Утѣшеніе въ непримиримыхъ противорѣчіяхъ мысли Вольтеръ находиль и другимъ указывалъ въ матеріальныхъ благахъ жизни. Циникомъ представляется онъ и въ своихъ воззрѣніяхъ на человѣческую природу, какъ своекорыстную и злую (см., напр., "Egalité"), циникомъ и въ своемъ чисто животномъ идеалѣ счастья (см., напр., трактаты Философскаго словаря: "Adorer", "Amour", "Mahométans" и т. д.).

И точно такимъ-же двойственнымъ существомъ, такимъ-же Мефистофелемъ представляется онъ и въ своей жизни, и въ перепискѣ.—Носитель свободныхъ идей, онъ заискивалъ въ сильныхъ міра сего, льстилъ Фридриху, нашей императрицѣ Екатеринѣ. — Защитникъ Калашей и Сирвеновъ, помогавшій многимъ бѣднымъ, онъ писалъ императрицѣ Екатеринѣ, что "чернь" "пикогда не бываетъ управляема разумомъ" и ее

<sup>4)</sup> Diet philos. P. 1816. v. VI, p. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 235-236.

"должно школить точно такъ, какъ медвѣдей" 1); а въ письмѣ къ Дамилавилю (1 апр. 1766 г.) выразился: "я понимаю подъ народомъ рориlасе, чернь, у которой есть только руки, чтобы жить. Я опасаюсь, что этотъ разрядъ людей никогда не будетъ имѣть времени и способности научиться; мнѣ кажется даже необходимымъ, чтобы существовали невѣжды... quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu" 2).

Непримиримыя противоръчія видимъ мы и въ беллетристическихъ произведеніяхъ знаменитаго философа. Въ новъстяхъ и романахъ своихъ то является онъ врагомъ всякаго деспотизма и гнета, то рабски склоняется передъ властителями и героями, признавая ихъ какъ-бы существами высшаго порядка, чемъ простые смертные. Въ этомъ отношении интересны повъсти: "Вавилонская принцесса", "Кандидъ", "Задигъ или судьба". Вольтеръ то восхищается идилліею сельской жизни, возвеличиваеть дикаря, близкаго къ природъ, отрицаетъ цивилизацію (напр. въ нь повъсти "Простодушный"), то признаетъ (и это въ той-же повъсти) не-👆 изм'вримое превосходство цивилизаціи надъ первобытной простотою нравовъ и дикаря считаетъ "скотомъ". Та-же преднамфренная путаница и въ высказываемыхъ романами философскихъ воззрѣніяхъ на нравственность, на добро и зло. Повидимому, Вольтеръ признаетъ и возвеличиваетъ нравственныя доблести: правдивость Кандида, прямоту и честность Гурона (въ повъсти "Простодушный"), цъломудріе его невъсты "Сентъ-Ивъ" или героя "Вавилонской принцессы" Амазана. Но всмотритесь внимательнее во всё случаи, где прославляется добродетель, и вы увидите, что на-ряду съ этимъ (въ тъхъ-же самыхъ произведеніяхъ) она отрицается и осм'вивается. Что-же касается цинизма, и въ воззръніяхъ на человіческую природу, и въ картинахъ быта, и въ изображеній жизненныхъ идеаловъ, то его въ новъстяхъ значительно больше, нежели въ философскихъ сочиненіяхъ (что, быть можетъ, обусловлено ихъ формою), между твиъ какъ скептицизма гораздо менве. Въ циническихъ картинахъ тонутъ зачастую всякія другія нам'тренія автора, какъ, напр., желаніе осм'вять безиравственность и лицем'вріе католическаго духовенства въ "Письмахъ Амабеда" почти совершенно исчезаетъ передъ яркостью чувственнаго изображенія похожденій отцовъ Фа-туто и Фа-мольто. Возбуждая въ читателъ массу сомнъній, разрушая въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ идеальный міръ, Вольтеръ на мѣсто его ставить въ сладострастныхъ изображеніяхъ чувственную, животную жизнь. — И на этихъ созданіяхъ его генія и на подобныхъ имъ произведеніяхъ его подражателей воспитывалось наше общество екате-

<sup>2)</sup> Исторія литературы XVIII в. Геттнера, Спб. 1866 г. т. II, стр. 162—163. пушкина ва его поэзін.



<sup>1)</sup> Философичес. и политичес. переписка ими. Екатерины Вторыя съ г. Волтеромъ 2 чч. М. 1802 г., т. II, стр. 70, 74—75.

рининскихъ временъ, воснитывался въ отцовскомъ, офранцузившемся домъ Пушкинъ.

Поэтическое творчество Вольтера (какъ и вообще его идеи) имѣло огромное вліяніе на нашу литературу XVIII стол. Французскому генію, вождю умовь вѣка, подражали русскіе писатели. Такъ, Радищевъ (знаменитый авторъ "Путешествія изъ Петербурга въ Москву") въ своей цинической стихотворной сказкѣ "Бова", по своему собственному указанію, подражалъ "Орлеанской дѣвственницѣ", передъ авторомъ которой онъ благоговѣлъ:

О, Вольтерь, о, мужь преславный! Если-бъ можно Бовъ было Быть похожу и кое-какъ На Жапету, дѣвку храбру, Что восиѣль ты; хоть мизинца Ея стоить;—если-бъ можно, Чтобъ сказали: Бова только Тоща тѣнь ея,—довольно! То бы тѣнь была Вольтера, И мой образъ изваянный Возгиѣздился-бъ въ Пантеоиъ.

Духъ поэтическаго творчества Вольтера сдёлался духомъ поэзіи вёка, или по крайней мёрё широкой полосы этой поэзіи. Въ тонё творчества знаменитаго "фернейскаго отшельника" создавались, независимо отъ прямаго подражанія его произведеніямъ, разнаго рода поэмы, сказки, повёсти и романы.

Однимъ изъ подобныхъ, духомъ времени вызванныхъ, произведеній была и поэма В. Майкова "Елисей", которую Пушкинъ, по его словамъ, такъ "охотно" читалъ въ лицев. Майковъ обладалъ несомненнымъ поэтическимъ талантомъ; но у него не было ни опредъленнаго направленія, ни определенных убежденій. Среди его сочиненій мы встръчаемъ и произведенія въ народномъ духъ, и стихотворенія религіозно-возвышеннаго характера, и легкомысленно-чувственныя поэмы-Къ числу послъднихъ относится и "Елисей, или раздраженный Вакхъ". Въ этой поэмъ въ герои возведенъ пьяный, буйный и развратный ямщикъ, которому авторъ видимо сочувствуетъ; а содержание произведенія состоить въ смёхотворномъ и откровенномъ повёствованіи о циническихъ похожденіяхъ этого ямщика. Юморъ поэмы, какъ и все творчество Майкова, отличается двойственностью: то это смёхъ здраваго русскаго смысла (онъ слышится, напр., въ комическомъ изображеніи петиметровъ), то это циническая и легкомысленная насмешка надъ такими явленіями человіческой жизни, которыя должны быть уважаемы, надъ народными верованіями (въ поэме боги древности изображены, какъ въ оперетахъ Оффенбаха, въ дурацкомъ виде), надъ любовью

сына къ матери, т. е. надъ такимъ чувствомъ, которое особенно уважается нашей народной поэзіей, и т. д. Мораль поэмы—самая уступчивая и снисходительная.

Одного духа съ "Елисеемъ" Майкова и знаменитая въ свое время поэма поклонника и переводчика Вольтера Иполлита Богдановича "Душенька", стихотворная передълка прозанческаго романа Лафонтена "Les amours de Psyché". "Душенька" пользовалась необыкновенною славой: къ портрету ея автора сочинялись восторженные стихи; Карамзинъ къ собранію сочиненій Богдановича приложилъ хвалебную ей статью, въ которой находить поэму вполить достойной "алтаря Грацій".—Авторъ хотълъ въ основу своего произведенія положить нравственную идею:

Наружный блескъ въ очахъ преходить такъ, какъ дымъ, Но красоту души пичто не измѣняетъ: Она единая всегда и всѣхъ плѣняетъ...

Но возвышенной морали этого нравоученія противоръчить самое произведеніе и главнымь образомь характерь его героини.

Легкомысленная, любящая наряды, любящая быть окруженной поклонниками, дочь одного царя-- Душенька, согласно предписанію оракула, выходить замужь за невёдомое ей существо, оказывающееся потомъ Амуромъ. Душеньку отвозять на вершину указанной оракуломъ горы, оставляють одну, и она таинственно попадаеть въ царство предназначеннаго ей супруга. Этотъ супругъ является ей только во мракѣ; она думаетъ (основываясь на темныхъ словахъ оракула), что онъ-чудовище; но. окруженная роскошью, спокойно съ этимъ примиряется; ее мучитъ только любопытство. И вотъ, побуждаемая имъ, она зажигаетъ ламналу и видитъ своего мужа. Въ наказаніе она лишается окружавшаго ее богатства и должна скитаться въ пустынъ. Въ отчанніи она пытается нъсколько разъ лишить себя жизни, но Амуръ таинственно спасаеть ее. Наконецъ, Душенька раскаявается, и ей возвращены и прежнее счастье, и красота, которую она утратила-было во время своихъ скитаній. Авторъ видимо симпатизируетъ своей героинъ, что однако нисколько не мъшаетъ ему неуважать ее: ему ничего не стоитъ, напр., назвать ее "дурой".-- Подробности поэмы отличаются грубымъ цинизмомъ, въ особенности цинично повъствование о неудавшейся попыткъ Душеньки лишить себя жизни, бросившись на землю съ древеснаго сука. Этого последняго эпизода неть у Лафонтепа, и честь его сочинения принадлежить всецьло нашему писателю. Циничень и шутливый тонь поэмы Богдановича, осмѣяніе боговъ, чувствъ отца къ дочери и т. д.— Пушкинъ-лицеистъ любилъ это произведение поэзіи екатерининской эпохи; оно совершенно гармонировало съ грубыми его лицейскими увлеченіями. Впосл'ядствіи, въ одной изъ строфъ "Евгенія Он'ягина" онъ

полу-шутливо, полу-иронически замѣтилъ, что стихи Богдановича емумилы,

Какъ прошлой юности грѣхи.

Таковъ рядъ произведеній, однородно, въ одномъ духѣ вліявшихъ на Пушкина. Отчасти въ томъ-же направленіи дѣйствовала на него и поэзія Парни, съ которою онъ знакомился и въ оригиналѣ, и въ переводахъ Батюшкова.

Ирямо противоположно всему исчисленному вліяніе романтической музы Жуковскаго. Значеніе этого писателя для русской литературы и жизни очень велико. По словамъ Бѣлинскаго, съ его поэзіей русское общество пережило европейскіе средніе вѣка. Оригинальныхъ произведеній Жуковскій писалъ мало, онъ больше переводилъ или передѣлываль изъ иностранныхъ поэтовъ; но онъ передавалъ на русскій языкътолько то, что гармонировало съ настроеніемъ его собственнаго духа. Бѣлинскій опредѣлиль его совершенно правильно, назвавши переводчикомъ романтизма на русскій языкъ

Романтизмъ-же, по опредълению знаменитаго критика, есть "внутренний міръ души человъка, сокровенная жизнь его сердца" 1). Это опредъленіе прекрасно дополняеть другой нашъ критикъ, Аполлонъ Григорьевъ: "романтическое въ искусствъ и жизни (говорить онъ) 2), на первый разъ представляется отношеніемъ души къ жизни несвободнымъ, подчиненнымъ, несознательнымъ, —а съ другой стороны, оно-же, это подчиненное чему-то отношеніе, есть и то тревожное, то въчно педовольное настоящимъ, что живетъ въ груди человъка и рвется на просторъ изъ груди, и чему недовольно цълаго міра, тотъ огонь, о которомъ говоритъ Мцыри, что онъ

отъ юныхъ дней Таяся жилъ въ груди моей... И онъ прожегъ свою тюрьму...

Романтическое является во всикую эпоху, только что вырвавшуюся изъ какого-либо сильнаго моральнаго переворота, въ переходные моменты сознанія— и только въ такомъ его опредѣленіи воздушная и сладко-тревожная мечтательность Жуковскаго мирится съ мрачною тревожностью Байрона, и нервная лихорадка Глура съ пьяною лихорадкою русскаго романтика Любима Торцова".

Для всякаго человъка бываетъ романтическая пора жизни; эта пораранняя юность. Человъкъ живетъ тогда преимущественно сердцемъ, другія душевныя силы отодвигаются на второй планъ; увлеченный,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Соч. Бълинскаго. М. 1860. т. VIII, стр. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. Ан. Григорьева. Сиб. 1876 г. т. І. Взглядъ на рус. лит—ру со смерти Пушкина, ст. 2, стр. 275—276.

охваченный мечтательнымъ порывомъ, онъ забываетъ все, кромв предмета своего увлеченія; но есть особенная прелесть, особенная поэзія въ этой всепоглощаемости чувства. Романтикъ стремится всегда къ неопредёленному, неясному, но возвышенному идеалу; съ этимъ соединяется обыкновенно недовольство настоящимъ, земною жизнью съ ея суетою, грубостью, грязью. Романтикъ возвышенно въритъ въ торжество добра надъ зломъ, въ въчную любовь, въ родство душъ, въ неизмънную дружбу. Таковъ Ленскій Пушкина.—Въ это время жизни сердцемъ и мечтами человъкъ обыкновенно идеализируетъ дъйствительность, смотритъ на все не-реально, не-практично, все представляется ему въ розовомъ свётё... романтики часто ошибаются и внослёдствіи разочаровываются. Но, по словамъ Бълинскаго, "эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моменть въ нравственномъ развитіи человіка,и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопределенному идеалу фантастического совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будеть въ состояніи понимать поэзію-не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вачно будеть онъ влачиться низкою душою по грязи грубыхъ потребностей тъла и сухаго, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духъ среднихъ въковъ есть необходимый моменть не только въ развитіи человіка, но и въ развитіи каждаго народа и цёлаго человёчества. Средніе вёка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ Западной Европы, а следовательно и всего человъчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствъ среднихъ въковъ" 1). — Въ новое время, въ ту пору, когда жилъ Жуковскій, въ Западной Европ'в происходило возрожденіе романтизма: его вліяніе захватило и поэтовъ первоклассныхъ, каковы — Байронъ, Шиллеръ, и поэтовъ второстепенныхъ. На Руси представителемъ романтизма, пересадителемъ его на нашу почву явился Жуковскій.

Если нужно приводить примёры, то яркимъ выраженіемъ романтическаго чувства въ творчествѣ Жуковскаго можно назвать переведенную изъ Шиллера балладу "Рыцарь Тогенбургъ" и оригинальныя стихотворенія: Море ("Безмолвное море, лазурное море..."), Пѣсня "Мой другъ, хранитель, ангелъ мой", Мечта ("Ахъ, если-бъ мой милый былъ розацвѣтокъ"), "Элегія на кончину королевы Виртембергской" и многія другія. Въ послѣднемъ изъ названныхъ сочиненій съ замѣчательною поэтической силой сказалось недовольство романтизма земною жизнью, его тоска по идеалѣ.

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ, Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ.

<sup>1)</sup> Cov. Bernuckaro, T. VIII, crp. 248.

Здёсь радости не наше обладанье: Пролетные плёнители земли, Лишь по пути заносять къ намъ преданье О благахъ, намъ завёщанныхъ вдали; Земли жилецъ безвыходный страданье; Ему на часть судьбы насъ обрекли; Блаженство памъ по слуху лишь знакомецъ; Земная жизнь—страданія питомецъ.

Чудесное, любовь къ нему и въра въ него—необходимые спутники романтизма,—и у Жуковскаго мы находимъ множество фантастическихъ балладъ изъ средневъковой жизни; все это преимущественно переводы изъ Шиллера, Саути, Уланда, Бюргера, Грея, Мура. Но замъчательно, что отличительная черта собственной поэзіи Жуковскаго есть инстинктивное, безсознательное отчужденіе отъ фантастическаго и стремленіе къ изображенію собственно чувства; чудесное не такъ дорого нашему поэту, какъ чувство. Въ этомъ сказалась, быть можетъ, его славянская природа. Черта эта ярко видна, напр., въ различіи между балладой Бюргера "Ленора" и передълкой этой баллады нашимъ писателемъ— "Людмила": въ "Леноръ", когда женихъ-мертвецъ скачетъ по полю съ невъстой, имъ встръчаются на дорогъ мрачныя и ужасныя явленія: погребальный хоръ звучитъ надъ "тяжкимъ гробомъ", какъ печальный вой совы; далъе—

у дороги, надъ столбомъ, Гдв висвльникъ чернветъ, Воздушный рой, свіясь кольцомъ, Кружится, плящетъ, вветъ. Ко мив, за мной, вы, плясуны! Вы всв на пиръ приглашены! Скачу, лечу жениться... Ко мив повеселиться!...

Въ балладъ "Людмила" нътъ этихъ грубыхъ и мрачныхъ картинъ; она гораздо изящнъе: въ ней такъ передъланы приведенныя строфы нъмецкаго писателя:

Слышать шорохъ тихихъ тъней: Въ часъ полуночныхъ видъній, Въ дымъ облака, толпой, Прахъ оставя гробовой Съ позднимъ мъсяда восходомъ, Легкимъ, свътлымъ хороводомъ Въ цънь воздушную свились; Вотъ за ними понеслись; Вотъ ноютъ воздушны лики, Будто въ листьяхъ повилики Въется легкій вътерокъ, Будто плещетъ ручеекъ.

Еще далѣе въ томъ же направленіи пошелъ поэтъ въ балладѣ "Свѣтлана", которая собственно есть подражаніе "Ленорѣ", но подражаніе, далеко оставившее за собою оригиналъ и даже нѣсколько отзывающееся народностью въ поэтическомъ описаніи русскихъ гаданій. Въ "Свѣтланѣ" есть чудесное, и очень мрачное; но оно—сонъ, и отношеніе поэта къ нему почти насмѣшливое: когда къ Свѣтланѣ, вопреки соннымъ грезамъ, пріѣзжаетъ давно жданный другъ, поэтъ восклицаетъ:

Что же твой, Свытана, сонъ,
Прорицатель муки?
Другь съ тобой; все тотъ-же онъ
Въ опытъ разлуки...

или далье, въ посвящении баллады, онъ говорить:

Улыбнись, моя краса, На мою балладу,— Въ ней большія чудеса, Очень мало складу.

Послъдніе стихи въють ироніей. Главное же достоинство этого произведенія Жуковскаго—согръвающее его искреннее, теплое чувство.

Отрицательное отношеніе поэта къ ужасной сторонь чудеснаго слышится и въ новъсти "Двънадцать спящихъ дъвъ", пользовавшейся въ свое время огромною славой. Повъсть эта дълится на двъ части. Первая часть—слаба, дътски наивна, и чудесное въ ней (напр., явленіе бъса) просто комично; но этотъ комизмъ явился, должно быть, не безъ тайной воли самого автора.—Нъкто Громобой, преслъдуемый бъдностью, хочетъ утопиться. Ему является въ роковую минуту бъсъ и предлагаетъ богатство, требуя за то его душу; бъсъ такъ успокаиваетъ боязнь бълняка:

Ханжи причудники твердать:
Лукавый бёсь опасень.
Не вёрь имь, бредин! весель адъ;
Лишь въ сказкахъ онъ ужасень.
Мы жизнь пріятную ведемь;
Нашь адъ не хуже рая;
Ты скажешь самь, ликуя въ немъ:
Лишь въ адѣ жизнь прямая!

Въ этихъ словахъ слышится, быть можетъ инстинктивная, иронія поэта.—Громобой соглашается на условія злаго духа, дѣлается богатъ и наслаждается всѣми земными благами. Между прочимъ онъ похищаетъ двѣнадцать красавицъ; отъ нихъ у него родится двѣнадцать дочерей. Въ скоромъ времени онъ забываетъ и тѣхъ, и другихъ, а онѣ находятъ убѣжище въ монастырѣ. Но вотъ насталъ для Громобоя часъ кончины и расилаты; боясь адскихъ мукъ, онъ продаетъ явившемуся за его ду-

шой бѣсу души своихъ дочерей, и такой цѣной отсрочиваетъ смерть на двѣнадцать лѣтъ. Затѣмъ характеръ его измѣняется: онъ молится, кается, носитъ вериги; онъ строитъ монастырь. Раскаяніе его услышано: когда наступилъ вторично срокъ смерти, къ его одру явился угодникъ, во имя котораго построилъ онъ храмъ; и между угодникомъ и бѣсомъ произошелъ споръ за душу Громобоя; Провидѣніе разрѣшило этотъ споръ такимъ образомъ: Громобой до-времени будетъ мучиться въ своей могилѣ; а дочери его заснутъ очарованнымъ сномъ въ замкѣ, который заростетъ дремучимъ лѣсомъ; каждый день по стѣнѣ замка должна ходить одна изъ 12 дѣвъ и ожидать прихода юноши, который, увлекшись чистою мечтою и пренебрегши всѣмъ земнымъ, странствуя, ищетъ идеальную дѣву, долженствующую составить счастье его жизни.

Въ концъ первой части повъсти поэтъ въ неясныхъ, но поэтическихъ словахъ высказываетъ возвышенную идею произведенія:

Гдё тоть, кто властенъ побъждать Всё ковы обольщенья, Къ прелестной прилъпленъ мечтъ, Кто могъ-бы, чистъ душою, Небесной въренъ красотъ, Непобъдимъ земною, Все предстоящее презръть, И съ върою смиренной, Надежды полонъ, вдаль летъть Къ наградъ сокровенной?

Идея здёсь та, что человёкъ долженъ стоять выше всего земнаго, долженъ стремиться къ идеалу.

Выраженіе такой идеи во 2-й части произведенія поднимаеть эту часть выше первой и отодвигаеть сказочный элементь на второй планъ.— Новгородскій витязь Вадимъ, какъ душа въ стихотвореніи Лермонтова "Ангелъ", томится неяснымъ стремленіемъ, какимъ-то чуднымъ желаніемъ,—

и тишина въ лѣсахъ,
И бистрыхъ водъ журчанье,
И дня мѣняющійся видъ
На облакѣ небесномъ,
Все, все Вадиму говоритъ
О чемъ-то неизвѣстномъ.

Во-сит является ему таинственный старецт въ бълой одеждъ и съ нимъ "младая дъва", которой

либъ закрытъ Завъсою туманной, И на главъ ел лежитъ Вънокъ благоуханный. Старецъ зоветь юношу въ духовный міръ вѣчной красоты:

Вадимъ, желанное вдали;
Вѣрь небу, жди смиренно,
Все измѣняетъ на земли,
А небо неизмѣнно.

И юноша, увлеченный небесной мечтою, съ воспламененнымъ сердцемъ идетъ искать представившійся ему въ видѣньи идеалъ. На пути онъ чуть не былъ побѣжденъ земнымъ счастьемъ. Ему пришлось въ лѣсу освободить отъ великана молодую кіевскую княжну; онъ очарованъ ея красотою, зарождающимся въ ея сердцѣ чувствомъ любви къ нему. Но стремленіе къ небу его спасаетъ. Вѣрный внутрениему голосу, Вадимъ достигаетъ цѣли: приходитъ къ таинственному замку двѣнадцати дѣвъ и находитъ ту, чей образъ являлся ему въ мечтахъ и сновидѣніяхъ.

Свершилось! все—и раннихъ лѣтъ
Прекрасныя желанья,
И озаряющія свѣтъ
Младой души мечтанья,
И все, чего мы здѣсь не зримъ,
Что вѣрѣ лишь открыто,
Все вдругъ явилось передъ нимъ
Въ единый образъ слито.

Торжество Вадима возвращаетъ миръ и Громобою. Вадимъ идетъ со своею подругой къ могилъ гръшника, и они видятъ, что

въ ней спокойно,—дернъ покрытъ Цвътами молодыми...

а вверху сіяють, спокойныя какъ безсмертье, открытыя имъ, достигнутыя ими небеса.

Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, элементы романтической поэзін Жуковскаго. Многое въ ней чуждо теперь намъ, напримѣръ, ея мечтательность, наивность, наклонность къ сверхъестественному; мало въ ней реализма, устарѣли ея формы. Но въ основѣ ея лежитъ истина — искреннее и теплое чувство, обаяніе котораго неотразимо. "Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго (говоритъ Бѣлинскій) и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинскою богинею Церерою: она дала русской поэзіи душу и сердце... Поэзія его воспитала нѣсколько поколѣній и всегда будетъ... краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни" 1).

<sup>1)</sup> Соч. Бълинскаго, т. VIII, стр. 247.

Перломъ поэзіи Жуковскаго слѣдуетъ, конечно, считать повѣсть "Ундина", фантастическую и мечтательную, но въ которой мечтательность и чудесное отступаютъ на задній планъ передъ удивительно прекраснымъ, задушевнымъ и художественнымъ изображеніемъ самоотверженнаго человѣческаго чувства. Но такъ какъ повѣсть эта написана въ 30-хъ годахъ и не вліяла потому на Пушкина-юношу, то разборь ея и не входитъ въ настоящее сочиненіе.

Остается сказать нъсколько словъ о Батюшковъ. Но сдъланная Бълинскимъ характеристика этого поэта такъ полна и хороша, что къ ней нечего, кажется, прибавлять. "Если неопределенность и туманность (говорить Бълинскій 1) составляють отличительный характерь романтизма въ духъ среднихъ въковъ, то Батюшковъ столько-же классикъ, сколько Жуковскій романтикъ: ибо опредъленность и ясность — первыя и главныя свойства его поэзін". "Свётлый и опредёленный міръ изящной, эстетической древности—воти что было призваніемъ Батюшкова. Въ немъ первомъ изъ русскихъ поэтовъ художественный элементъ явился преобладающимъ элементомъ. Въ стихахъ его много пластики, много скульптурности, если можно такъ выразиться. Стихъ его часто не только слышимъ уху, но видимъ глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной дранировки". Содержание поэзін Батюшкова знаменитый критикъ опредёляетъ такимъ образомъ: "Въ любви онъ совствить не романтикъ. Изящное сладострастіе — вотъ павост его поэзіи. Правда, въ любви его, кромъ страсти и граціи, много нѣжности, а иногда много грусти и страданія; но преобладающій элементь ся всегда страстное вождельніе, увънчиваемое всею ньгою, встив обанніемъ исполненнаго поэзіи и градіи наслажденія" 2). Б'єлинскій указываеть и недостатки Батюшкова: онъ говорить, что талантъ этого поэта былъ гораздо выше того, что сдълано имъ; это потому, что онъ былъ "болъе гибкій, чёмъ самостоятельный, болёе граціозный, чёмъ энергическій" 3).

Батюшковъ повліяль на Пушкина (по мнѣнію Бѣлинскаго) художественными формами своей поэзіи. Совершенствомъ своего антологическаго стиха Пушкинъ обязанъ Батюшкову. "Не имѣя Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едвали бы могъ выработать себѣ такой стихъ" 1).—Съ этимъ нельзя не согласиться; но должно прибавить, что и содержаніе поэзіи Батюшкова, ея "изящный эпикуреизмъ" тоже отразился на творчествѣ Пушкина первой поры его дѣятельности, какъ это ясно видно изъ приведенныхъ выше стиховъ Пушкина-отрока о поэтѣ "любви, веселья и вина", какъ онъ назвалъ Батюшкова.

<sup>1)</sup> Соч. Бълинскаго, т. VIII, стр. 250-251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамъ же, стр. 268, 269.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 225.

Кстати будетъ указать на одинъ частный случай вліянія этого поэта, показывающій, какъ вообще серьезно и глубоко воспринималь Пушкинъвпечатлівнія и какъ они органически входили въ составь его духовнаго существованія. Стихотвореніе Батюшкова "Послідняя весна", изображающее безвременную смерть юноши-поэта, такъ сильно подійствовало на Пушкина, что содержаніе его отразилось впослідствій на повіствованій о смерти Ленскаго, и описаніе могилы Ленскаго почти заимствовано изъэтого стихотворенія, хотя и носить, конечно, признаки самобытнаго дарованія Пушкина.

Воть рядь писателей, которыхь можно назвать попреимуществу учителями Пушкина; подъ сильнымъ, страстно воспринимаемымъ дъйствіемъ ихъ поэзіи и ихъ идей развивался въ отцовскомъ домѣ и въ лицеѣ геніальный мальчикъ, изъ котораго выработался впослѣдствіи великій поэть-художникъ.

Следы всёхъ исчисленныхъ вліяній мы можемъ совершенно ясно замётить въ такъ называемыхъ "Лицейскихъ стихотвореніяхъ" Пушкина, написанныхъ втеченіи времени съ 1814 по 1817 годъ. Въ этой отроческой лирикъ еще нътъ или почти нътъ самобытности. Въ стихахъ этой поры видны различныя нравственныя и умственныя теченія; здёсь и струя легкомысленно-чувственная (явившаяся подъ вліяніемъ Вольтера, В. Майкова, Богдановича, Парни и т. д.), и романтическая (отзвукъ поэзіи Жуковскаго), и народная (отраженіе пъсенъ и сказокъ няни). Иногда всё эти различныя теченія перемъщиваются между собою, перепутываются, потому что поэтъ не умъетъ разобраться между ними, не владъетъ ими, а самъ находится въ ихъ власти.

Легкомысленный взглядъ на жизнь Пушкинъ-отрокъ выразилъ въ цъломъ рядъ произведеній.—Эротъ необходимъ въ жизни, отъ него не увернешься (говорить онъ въ стихотвореніи 1814 г. "Опытность").

Нѣть! мнѣ видно не придется
Съ богомъ симъ въ раздукѣ жить,
И покамѣсть жизин нить
Строгой Паркой тамъ прядется,
Пусть владѣетъ мною онъ!
Веселиться—мой законъ.
Смерть откроетъ гробъ ужасный,
Потемнѣютъ взоры ясны,
И не стукнется Эротъ
У могильныхъ ужь воротъ.

Таково-же по направленію стихотвореніе "Гробъ Анакреона" (1815 г.), оканчивающееся словами:

Смертный, въкъ твой-привидънье: Счастье ръзвое лови,

Наслаждайся, наслаждайся, Чаще кубокъ наливай, Страстью пылкой утомляйся И за чашей отдыхай.

Въ подобной жизни и заключается истина. Мудрые тщетно искали забытыхъ слъдовъ ея въ выпиваемой ими водъ, повторяя

Пустые толки стариковъ,

будто она

Въ колодезь убралась тайкомъ.

Кто-то, благод втель смертных в,

И чуть-ли не старикъ Силенъ, Ихъ важной глупости свидътель, Водой и крикомъ утомленъ, Оставилъ невидимку нашу, Подумалъ первый о винъ— И, осушивъ до каили чашу, Увидълъ истину на диъ.

("Истина" 1816 г.).

Съ такой точки зрвнія всякая мудрость достойна осмвянія. Въ "Посланіи къ Лидъ" (1816 г.) поэть обращается къ жрицъ любви со словами:

> Презрѣвъ Платоновы химеры, Твоей я святостью спасенъ, И сталъ апостолъ мудрой вѣры Анакреоновъ и Нинонъ.

Я вижу, продолжаеть онъ,-

хмурится Зенонъ И вся его съдая свита....

но что-за-дѣло до философовъ:

Дороже мив хорошій ужинь Философовь трехь цёлыхь дюжинь.

Далъе въ сочинени Сократъ представляется въ дурацкомъ видъ-

Люблю я добраго Сократа:
Онъ въ мірѣ жиль, онъ быль умень;
Съ своею важностью притворной
Любиль пиры, театры, жень;
Онъ между прочимъ быль влюбленъ,
И у Аспазін въ уборной
(Тому свидѣтель самъ Платонъ),
Невольникъ робкій и покорный,
Вздыхаль частехонько въ хитонъ,
И ей съ улыбкою притворной
Пенталь: "все призракъ, ложь и сонъ,
И мудрость, и народъ, и слава.
Что-жь истинно? Одна забава,
Повѣрь—одна любовь не сонъ!"

Въ дукъ такого міросозерцанія Пушкинъ сочинилъ себъ въ 1815 г. эпитафію:

Здѣсь Пушкинъ погребень, оны съ Музой молодою, Съ любовью, лѣностью провель веселый вѣкъ, Не дѣлалъ добраго, однако-жь былъ душою, Ей Богу, добрый человѣкъ!

("Моя эпитафія").

Чувственность и легкомысліе выразились также въ нѣсколькихъ небольшихъ поэмахъ лицейской эпохи: "Леда" (1814 г. "Кантата. Подражаніе Парни"), "Фавнъ и пастушка" (1816 г. Тоже—подражаніе Парни)
и "Вишня" (1815 г.). Въ поэмѣ "Фавнъ и пастушка" повѣствуется,
какъ 16-лѣтняя Лила наслаждается чувственной любовью съ пастушкомъ, отвергнувъ влюбленнаго Фавна. Фавнъ находитъ утѣшеніе въ
винѣ. Между тѣмъ проходятъ года; Лила старѣетъ, и ей измѣняетъ
другъ, какъ прежде она измѣняла ему; она рада теперь сойтись съ
фавномъ; но тотъ успокоился въ наслажденіяхъ виномъ и не обращаетъ
на нее вниманія. Измѣну поэтъ въ легкомысленныхъ стихахъ этой поэмы не считаетъ зломъ:

Итакъ ты измѣнила? Красавица, плѣняй! Спѣши любить, о Лила! И снова измѣняй!

Оригинальная поэма "Вишня" есть совершенно скандалезное сочиненіе, возможное въ печати только въ отрывкахъ. Это—прямое подражаніе Богдановичу, какъ-бы варіантъ одного изъ эпизодовъ "Душенька": съ пастушкой (героиней стихотворенія), взобравшейся на вѣтку вишневаго дерева, случается по-нечаянности то-же, что съ Душенькой, хотѣвшей кончить жизнь свою, бросившись съ древеснаго сука.

Замѣчательно, что увлеченіе Пушкина чувственными утѣхами соединиется въ лицейскихъ стихотвореніяхъ съ презрѣніемъ къ "черни", тѣмъ презрѣніемъ, которому онъ учился между прочимъ и у Вольтера. Въ посланіи 1817 г. "Къ П. П. Каверину" есть такіе стихи:

> Молись и Вакху и любви, И черни презпрай ревнивое роптанье: Она не въдаетъ, что дружно можно жить Съ Киеерой, съ Портикомъ, и съ кингой, и съ бокаломъ, Что умъ высокій можно скрыть Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

Ту-же мысль видимъ мы и въ переводъ изъ Парни "Добрый совътъ" (1817 г.):

Давайте пить и веселиться, Давайте жизнію играть! Пусть чернь слепая суетится: Не памь безумной подражать. Пусть наша вётряная младость Потонеть въ нёгё и винё... и т. д.

Такова одна струя въ лицейскихъ произведеніяхъ Пушкина.

Но рядомъ съ чувственнымъ направлениемъ въ ученическихъ его стихотворенияхъ видно и выражение серьезнаго, истиннаго чувства. Это чувство въ нѣсколько смѣшной формѣ высказалось въ 1815 г. въ стихотворении "Слеза":

Оставь, гусаръ! Ахъ, сердцу больно!.. Ты, знать, не горевалъ! Увы! одной слезы довольно, Чтобъ отравить бокалъ.

Но оно нашло лучшее выраженіе въ стихотвореніяхъ: "Желаніе" (1816 г.), "Осеннее утро" (1816 г.) и друг. Рядъ этихъ сочиненій 1816 года и такихъ-же слѣдующаго свидѣтельствуетъ о несчастной любви отрокапоэта. Любовь его кончилась разлукой, и потому выраженіе ея соединено съ чувствомъ печали.

Ужь ньть ея... я быль у береговь, Гдь милая ходила вь вечерь ясный; На берегу, на зелени луговъ Я не нашель чуть видимыхь сльдовь, Оставленныхь ногой ея прекрасной. Задумчиво бродя въ глуши льсовъ, Произносиль я имя несравненной, Я зваль ее—и гласъ уединенный Пустыхъ долинъ позваль ее вдали. ("Осеннее утро").

Это стихотвореніе посвящено, по указанію г. Ефремова (Соч. Пушкина, т. I, стр. 522), Бакуниной, сестр'є лицейскаго товарища Пушкина.

Поэтъ думалъ, какъ говоритъ въ стихотвореніи "Разлука" (1816 г.), что въ разлукъ можно утъшиться музой, дружбой; но онъ признается, что опибся:

Какъ мало я любовь и сердце зналь! Часы идуть, за ними дии проходять, Но горестямь отрады не приводять И не несуть забвенія фіаль. О, милая, повсюду ты со мпою! Но я уныль и втайнь я грущу. Блеснеть ли день за синею горою, Взойдеть ли ночь съ осеннею луною, Я все тебя, прелестный другь, ищу. Засну ли я, лишь о тебь мечтаю, Одну тебя въ невърномъ вижу снъ; Задумаюсь—невольно призываю, Заслушаюсь—твой голосъ слышень мнъ.

Въ снѣ ищетъ поэтъ забвенія страданій любви и въ то-же время свиданія съ милой; онъ просить бога сновидѣній:

Мои мечты благослови! Сокрой отъ памяти унылой Разлуки страшный приговоръ! Пускай увижу милый взоръ, Пускай услышу голосъ милый. ("Къ Морфею", изъ Парни).

Въ стихотвореніи "Наслажденіе" (1817 г.) онъ говорить, что ему нъть счастья:

Съ минутъ безчувственныхъ рожденья До нъжныхъ юношества лѣтъ Я все не знаю наслажденья И счастья въ томномъ сердцѣ нътъ!..

Златыя крылья развивая, Волшебной, нёжной красотой, Любовь явилась молодая И полетёла предо мной. Я мчался къ цёли отдаленной, Но милой цёли не достигъ...

Однако несчастная любовь стала забываться молодымь, полнымь жизни сердцемь; "она прошла", утверждаеть поэть въ стихахъ "Въ альбомъ И.И.Пущину" (1817 г.). Тогда сердце стало искать новаго чувства; въ посланіи "Къ ней" (1817 г.) есть такіе стихи:

Но вдругъ, какъ молнін стрѣда, Зажглась въ увядшемъ сердцѣ младость, Душа проспулась, ожила, Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.

Но, должно быть, и старое чувство имѣло серьезный характеръ и не легко могло исчезнуть изъ души; въ стихотвореніи "Къ \*\*\*" (1817 г.) поэтъ говорить:

Не спрашивай—зачёмъ упылой думой Среди забавъ я часто омраченъ, Зачёмъ на все подъемлю взоръ угрюмый, Зачёмъ не милъ миё сладкой жизни сонъ? Не спрашивай—зачёмъ душой остылой Я разлюбилъ веселую любовъ И никого не называю милой? Кто разъ любилъ, тотъ не полюбитъ вновь; Кто счастье зналъ, ужь не узнаетъ счастья... На краткій мигъ блаженство намъ дано: Отъ юности, отъ нёгъ и сладострастья Останется уныніе одно.

Во всёхъ приведенныхъ стихахъ слышатся скорбныя ноты поэзій Жуковскаго. Жуковскому подражалъ Пушкинъ въ это время даже въ формѣ произведеній; такъ, въ коротенькой поэмѣ "Мечтатель" (1815 г.) складъ стиха напоминаетъ стихъ "Двѣнадцати спящихъ дѣвъ"; въ стихотвореніи 1816 г. "Подражаніе" прощаніе поэта съ любимой имъ природой прямо скопировано съ прощанія Іоанны д'Аркъ съ родными холмами и полями въ переведенной Жуковскимъ драмѣ Шиллера:

Прости печальный мірь, гдѣ темпая стезя Надъ бездной для меня лежала, Гдѣ жизнь меня не утѣшала, Гдѣ я любиль, гдѣ миѣ любить недьзя! Небесъ дазурная завѣса, Любимые холмы, ручья веседый гласъ, Ты, утро—вдохновенья часъ, Вы, тѣни мирныя таинственнаго лѣса, И все прости въ послѣдній разъ! ("Подражаніе").

Къ числу сочиненій этой эпохи, выражающихь серьезное чувство, должно еще отнести тѣ, въ которыхъ поэтъ высказываетъ свои дружескія отношенія кътоварищамъ: "Въ альбомъ И. И. Пущину" (1817 г.) и "Разлука. Кюхельбекеру" (1817 г.); наконець также слѣдующія вещи: усвоенный шарманками романсъ "Подъ вечеръ осенью ненастной..." (если только онъ принадлежитъ Пушкину), слабо написанный, но серьезный по направленію; стихотворенія: "Сраженный рыцарь" (1815 г.), "Къ принцу Оранскому" (1816 г.) и отрывокъ "Старица-пророчица" (1816 г.), не лишенный истинно-поэтическаго одушевленія.

Безсознательность отроческаго творчества Пушкина въ лицейскую эпоху ярче всего выражается въ странномъ смѣшиваніи имъ во многихъ сочиненіяхъ противоположныхъ увлекавшихъ его стихій; такъ, напримѣръ, съ романтическимъ чувствомъ какъ-то сливается у него иной разъ чувственность. Въ стихотвореніи "Городокъ" (1814 г.) онъвъ тонѣ и духѣ Жуковскаго обращается съ воззваніемъ къ мечтѣ:

Мечта! Въ волшебной свии Мив милую яви, Мой свътъ, мой добрый геній; Предметъ моей любви!

Но онъ не можеть удержаться на высоть духовнаго чувства:

Мечтанье легкокрыло! О, будь же ты со мной! Дай руку сладострастью, И съ чашей круговой Веди меня ко счастью Забвенія тропой...

То-же мы видимъ въ элегіи 1816 г., начинающейся подражаніемъ элегіи Жуковскаго "На кончину королевы Виртембергской":

Любовь одна веселье жизни хладной! Любовь одна мученіе сердець! Она дарить одинь лишь мигь отрадный, А горестямь не видень и конець.

Романтически грустя о своей несчастной любви, поэть туть-же завидуеть чувственному счастью другихъ:

Стократь блажень, кто въ юности предестной Сей быстрый мигь поймаеть на-лету, Кто къ радостямъ п нъгъ нензвъстной Стыдливую преклопить красоту!

Подобное-же завистливое предоставление другимъ утѣхъ любви и оставление себѣ грустнаго романтическаго чувства встрѣчается еще въ посланияхъ: "Кн. П. И. Шаликову" и "Кн. А. М. Горчакову" (оба 1816 г.). Въ первомъ поэтъ говоритъ:

Пой сердца юпаго кинящее желанье, Красавицы твоей упорство, трепетанье, Со груди сорванный завистливый покровъ, Стыдливости последнее роптанье, И страсти торжество на ложе изъ цветовы!

Но я—друзей любить открытою душою, Въ модчаные чувствовать, пифияться красотою! Воть жребій мой,—ему я сяфдовать готовъ!

Въ другомъ сочинении онъ обращается къ товарищу со словами:

Спѣши любить, и, счастливый вчера, Сегодня вновь будь счастливъ осторожно; Амуръ велить—и завтра, если можно, Вновь миртами красавицу вѣнчай...
О, сколькихъ слезъ, предвижу, ты виновникъ! Измѣны другъ и вѣтрениый любовникъ, Будь вѣренъ всѣмъ, илѣняйся и илѣняй!.. А мой удѣлъ... но насмурнымъ туманомъ Зачѣмъ-же миѣ грядущее скрывать? Увы, нельзя миѣ вѣчнымъ жить обманомъ И счастья тѣнь, забывшись, обнимать! Всл жизнь моя—нечальный мракъ ненастья; Двѣ, три весны, младенцемъ, можетъ быть, Я счастливъ былъ, не понимая счастья... Онѣ прошли, но можно-ль ихъ забыть?

Въ послѣднихъ стихахъ слышится уже начинающее раскрываться могущественное дарованіе. Произведеніе оканчивается первымъ, еще смутпушкинъ въ его поэзіи. нымъ, проявленіемъ особенности поэзіи Пушкина—будущимъ умѣньемъ его находить прекрасную и утѣшительную сторону во всякомъ явленіи жизни, во всякомъ состояніи человѣческаго духа:

Уже-ль лишь мив не ввдать ясныхъ дней? Нвть, и въ слезахъ сокрыто наслажденье— И въ жизни сей мив будеть утвшенье— Мой скромный даръ и счастіе друзей!

Народная стихія въ "Лицейскихъ стихотвореніяхъ" выразилась не особенно ярко; но однако присутствіе ея несомнѣнно. Такъ, въ стихотвореніяхъ "Городокъ" (1814 г.) и "Сонъ" (1816 г.) поэтъ отдаетъ предпочтеніе деревенской тишинѣ и простотѣ передъ городскими суетными утѣхами; въ обоихъ сочиненіяхъ онъ сочувственно рисуетъ простыхъ людей.

Въ досужій миѣ часокъ У добренькой старушки Душистый нью часкъ;

(разсказываетъ онъ въ "Городкъ")

Не подхожу я къ ручкѣ, Не шаркаю предъ ней, Она не присъдаетъ, Но тотчасъ-же въстей Мнѣ пропасть наболтаетъ.

. . . . . . . . . . . Иль добрый мой сосёдъ Семидесяти льть, Уволенный оть службы Мајоромъ отставнымъ, Зоветь меня изъ дружбы Хлѣбъ-соль откушать съ нимъ. Вечернею пирушкой Старикъ, развеселясь, За дедовскою кружкой Въ прошедшемъ углубясь, Съ очаковской медалью На раненой груди, Воспомнить ту баталью, Гдѣ, роты впереди, Летель на-встречу славы, Но встрѣтился съ ядромъ И паль на доль кровавый Съ булатнымъ палашомъ. Всегда я радъ душою Съ нимъ время провождать.

Въ "Снъ" поэтъ съ сердечной любовью рисуетъ симпатичный образъ своей няни:

... дётскихъ лётъ люблю воспоминанье. Ахъ, умолчу-ль о мамушкё моей, О прелести таинственныхъ ночей, Когда въ ченцѣ, въ старинномъ одѣянъѣ Она, духовъ молитвой уклоня, Съ усердіемъ перекреститъ меня, И шенотомъ разсказывать миѣ станетъ О мертвецахъ, о нодвигахъ Бовы

Тогда толной съ лазурной высоты
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я въ порывъ сладкихъ думъ;
Въ глуши лъсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встръчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней—
И въ вымыслахъ носился юный умъ...

Въ этомъ-же стихотворении мы встръчаемъ такой совътъ:

прочь отъ городовъ, Гдв крикъ и шумъ ленивцевъ мучатъ вечно!

Не лучше-ли въ село?
Тамъ рощица листочковъ трепетаньемъ,
Въ лугу потокъ таинственнымъ журчаньемъ,
Златыхъ полей, долины тишина,—
Въ деревиъ все къ томленью клонитъ сна.

(Впрочемъ безъискусственность и тишина деревенской жизни соединяются въ представленіяхъ Пушкина съ анакреонтическими наслажденіями, съ праздностью, бездѣльемъ: я не хочу въ деревнѣ, говоритъ онъ:

Предписывать вамъ тяжкія движенья: Упрямый илугь, охоты наслажденье; Нѣть, въ рощи я лѣнивца приглашу. Друзья мон, какъ утро здѣсь прекрасно! Въ типи полей, сквозь тайну сѣнь дубровъ Какъ юный день сіяеть гордо, ясно!)

Вспомнимъ еще посланіе 1815 г. "Лицинію", заключающее въ себѣ негодующую насмѣшку надъ городскими пороками. Не лучше-ли намъ (говоритъ здѣсь поэтъ) проститься съ развратнымъ городомъ,

Гдѣ все продажное: законы, правота, И копсуль, и трибунь, и честь, и красота?

Завистинвой судьбы въ душт презрѣвъ удары, Въ деревню пренесемъ отеческіе лары!

Тамъ

При дубѣ иламенномъ, возженномъ въ камелькѣ, Воспомнивъ старину за дѣдовскимъ фіаломъ, Свой духъ восиламеню жестокимъ Ювеналомъ, Въ сатирѣ праведной порокъ изображу И правы сихъ вѣковъ потомству обнажу.

Во многихъ изъ приведенныхъ стихотвореній уже несомивнио замътно могучее дарованіе автора; но особенно ярко пробивается оно въсочиненіяхъ: "Друзьямъ" (1816 г.), "Къ молодой вдовъ Маріи Смитъ" и "Къ Жуковскому" (1817 г.). На второе произведеніе указалъ въ этомъ отношеніи, и совершенно върно, г. Анненковъ еще въ 1855 г.; припомнимъ окончаніе перваго:

Вогами вамъ еще даны Златые дии, златыя ночи, И томныхъ дѣвъ устремлены На васъ внимательныя очи. Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный—И вашей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Въ посланіи же 1817 г. "Къ Жуковскому" мы видимъ соединеніе художественности съ задатками уже очень серьезной мысли. Здёсь, напр., Пушкинъ прекрасно (поэтически и глубокомысленно) опредёляетъ разницу между Сумароковымъ и Ломоносовымъ:

Ты-ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ, Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ, Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?

Въ 1817 году Пушкинъ окончилъ курсъ въ лицев и поступилъ на службу въ "Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ". Какимъ же человѣкомъ вступалъ онъ въ жизнь? Подготовило ли и на-сколько подготовило его училище къ гражданской дѣятельности? — Онъ былъ въ это время 18-лѣтній юноша съ несомнѣнными признаками большаго поэтическаго дарованія, по очень мало образованный, не имѣющій опредъленныхъ убѣжденій, или опредѣленнаго направленія, съ задатками и добра, и зла, привыкшій къ лѣни, распущенности, чувственному образу жизни; въ душѣ его боролись еще разныя противорѣчивыя вліянія, колорымъ онъ подвергался въ школѣ. Путь этой великой природной силы еще не обозначился, и никто не могъ бы предвидѣть — куда пойдетъ гепіальный юноша, —къ великой славѣ или къ нравственному паденію.

Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что петербургская жизнь Пушкина, до высылки его въ 1820 г. на югъ, была очень неблагопріятна его умственному и нравственному развитію.

Первое почти впечатлѣніе его по выходѣ изъ школы было отрезвляющее впечатлѣніе деревни. "Вышедъ изъ лицея, я тотчасъ почти уѣхалъ въ псковскую деревню моей матери (писалъ поэтъ 19 ноября 1824 г.

въ своихъ запискахъ 1). Помню, какъ обрадовался сельской жизни, русской банъ, клубникъ и проч. Но деревня еще не сильна была тогда надъ его душою: онъ скоро соскучился, — его влекли въ Петербургъ иныя жизненныя прелести. Онъ попаль въ кружокъ кутящей, наслаждавшейся жизнью свётской столичной молодежи. Въ этомъ кружкъ образовалось оргіаческое общество "Зеленой ламин", которое представляло изъ себя, ради шутки, собрание съ парламентскими и масонскими формами, но посвященное исключительно обсуждению плановъ волокитства и кутежей; общество это, предсъдателемъ котораго быль Н. В. В. (въроятно Всеволожскій), занималось чувстренными похожденіями и пьянствомъ, устраивало домашніе спектакли, на которыхъ исполнялись пьесы вродъ "Изгнанія Адама и Евы", "Погибели Содома и Гоморры" и проч. Члены этого развязнаго кружка отличались необыкновеннымъ задоромъ, страстью къ дуэлямъ и всякаго рода исторіямъ; подобныя наклонности считались между ними признаками хорошей породы и чистокровности, которою они дорожили, будучи исполнены аристократическихъ предразсудковъ. Извъстный дуэлистъ (дравшійся между прочимъ съ Гриботдовымъ) Якубовичъ былъ одною изъ выдающихся личностей этого общества. Этотъ Якубовичъ (по позднъйшему, въ 1825 г.<sup>2</sup>), сознанію Пушкина) быль въ ту пору "героемъ его воображенія". Что особенно странно, между членами кружка попадались и люди просвъщенные, образованные, какъ, напр., незнавшій усталости въ кутежахъ и разврать Каверинъ, слушавшій лекціи въ геттингенскомъ университетъ.

Пушкинъ отдался развратной жизни своихъ новыхъ товарищей со всёмъ ныломъ и легкомысліемъ молодой неопытности и своей горячей природы; втеченіи трехъ лётъ, проведенныхъ такимъ образомъ, онъ два раза былъ при-смерти, разстроивъ здоровье дикими похожденіями. Объ этихъ нохожденіяхъ свидётельствуютъ — товарищъ его гр. Корфъ, въ своей запискъ о немъ 3), и его собственныя стихотворенія. Пушкинъ "въ свётъ предался (говоритъ гр. Корфъ) распутствамъ всёхъ родовъ, проводя дни и ночи въ непрерывной цъпи вакханалій и оргій. Должно дивиться, какъ и здоровье и талантъ его выдержали такой образъ жизни... У него господствовали только двъ стихіи: удовлетвореніе плотскимъ страстямъ и поэзія, и въ обоихъ онъ ушелъ далеко. Въ немъ не было ни виѣшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ, и онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ отчаянномъ цинизмъ по этой части... Вѣчно безъ копѣйки, вѣчно въ долгахъ, иногда

<sup>1)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 39.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 66.

<sup>3)</sup> Пушкинъ по докум. Остаф. архива. I, стр. 49-50.

почти безъ порядочнаго фрака, съ безпрестанными исторіями, съ частыми дуэлями, въ близкомъ знакомствѣ со всѣми трактирами, непотребными домами и предестницами петербургскими, Пушкинъ представлялъ типъ самаго грязнаго разврата".

Какъ ни рѣшителенъ этотъ приговоръ, его нельзя однако признатъ вполнѣ ложнымъ; если онъ грѣшитъ чѣмъ, то это близорукостью и односторонностью: благоразумный товарищъ поэта за цинической внѣшностью Пушкина этой эпохи не видѣлъ таившагося въ душѣ его добра. Справедливость словъ Корфа подтверждаетъ самъ поэтъ своими стихами 1817—1820 годовъ. Между ними мы встрѣчаемъ рядъ посвященій моднымъ прелестницамъ (напр. Ольгѣ Масонъ—"Ольга, крестница Киприды", 1820) и друзьямъ: Юрьеву, Щербинину, Кривцову, Всеволожскому (1818—1819). Здѣсь поэтъ ярко рисуетъ свои похожденіи и увлеченія. Стихотвореніе "Въ альбомъ М. А. Щербинину" (1818 г.) изображаетъ жизнь, далекую отъ всякихъ заботъ, посвященную Кипридѣ, шалости и вину:

Житье тому, любезный другь, Кто страстью глупою не боленъ, Кому влюбиться недосугь, Кто занять всёмь и всёмь доволень; Кто Наденьку подъ вечерокъ За тайнымъ ужиномъ ласкаетъ И жирный страсбургскій инрогъ Виномъ душистымъ запиваетъ; Кто, удаливъ заботы прочь, Какъ верный сыпъ Паеосской веры, Проводить набожную ночь Съ младой монашенкой Цитеры. Поутру сладко дремлеть онъ, Читая листикъ Инвалида; Весь день веселью посвящень, А ночью парствуетъ Киприда! И мы не такъ-ли дни ведемъ, Щербининъ, резвый другь забавы, Съ Амуромъ, шалостью, виномъ, Покамъсть веселы и здравы?

Стихотвореніе "Н. В. Всеволожскому" пов'єствуєть о неистовыхъ кутежахъ съ цыганками. Въ посвященіи "Н. И. Кривцову" (1819 г.) поэтъ находить, что не падо думать о смерти: будемъ пользоваться юностью и наслаждаться.

Не пугай насъ, милый другь, Гроба близкимъ новосельемъ: Право, намъ такимъ бездёльемъ Заниматься педосугъ. Пусть остылой жизни чашу Тянетъ медленно другой;

Мы-жь утратимь юность нашу Вместе съ жизнью дорогой.

Въ другомъ посланіи "Н. И. Кривцову" (1818 г.) Пушкинъ, носылая пріятелю "Вольтерову поэму" ("библію Харитъ", какъ онъ выражается), такъ характеризуетъ себя заключительными стихами:

Люби недѣвственнаго брата, Страдальца чувственной любви.

Еще ярче изображаеть онъ свои порочныя увлеченія въ стихотвореніи "Къ Ө. Ф. Юрьеву" (1818 г.):

А я, повёса вёчно праздный, Потомокъ негровъ безобразный, Взрощенный въ дикой простоте, Любви не вёдая страданій, Я правлюсь юной красотё Безстыднымъ бёшенствомъ желаній... Съ невольнымъ пламенемъ ланить, Украдкой Нимфа молодая, Сама себя не понимая, На Фавна иногда глядитъ.

Наибольшимъ цинизмомъ въ-ряду стихотвореній, подобныхъ приведеннымъ, отличается беззастѣнчивое сочиненіе "Платонизмъ" (1820 г.), посвященное какой-то Лидинькѣ. — Г. Анненковъ свидѣтельствуетъ, что записки или замѣтки Пушкина за это время отличаются пустотою и безсодержательностью; самосознаніе поэта выражается только развѣ въ нѣкоторыхъ изъ испещряющихъ ихъ рисунковъ; такъ, одинъ рисунокъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ оргію: за столомъ, обремененнымъ бутылками, сидитъ мужчина; какая-то женщина, имѣющая подобіе фуріи или вакханки въ послѣдней степени опьяненія, сбиваетъ со стола балетнымъ движеніемъ ноги одну изъ бутылокъ; другой мужчина, пьяный, прислонясь къ стѣнѣ, закуриваетъ трубку; всей группѣ прислуживаетъ смерть, въ видѣ стараго слуги, пробирающаяся осторожно между остатками пиршества.

Подобно товарищамъ своего разгула, Пушкинъ увлекался въ это время дуэлями. "Г. Пушкинъ всякій день имѣетъ дуэли; благодаря Бога онѣ не смертельны, бойцы всегда остаются невредимы" (пишетъ Екат. Андр. Карамзина въ одномъ письмѣ своемъ, отъ 23-го марта 1820 г.) <sup>1</sup>). Такъ, онъ дрался съ товарищемъ по лицею Кюхельбекеромъ ("братомъ Кюхлей") <sup>2</sup>); чуть не подрался съ дядей Сем. Исааков. Ганибаломъ за то, что тотъ въ одной изъ фигуръ мазурки завладѣлъ его

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 19.

<sup>2)</sup> Тамъ же, "Изъ біографін О. С. Павлищевой", стр. 39.

дамой 1). — Должно быть подъ вліяніемъ тёхъ-же товарищей кутящаго кружка, подъ вліяніемъ ихъ аристократическихъ наклонностей, у Пушкина замізчается въ эту эпоху стремленіе проникнуть въ сферу высшаго свъта, за что упрекали его друзья, даже изъ числа принадлежавшихъ къ старому и родовитому дворянству, какъ, напримеръ, И. И. Пущинъ <sup>2</sup>). Это стремление поэта, въроятно, находится въ связи съ выраженнымъ въ нъкоторыхъ изъ лицейскихъ стихотвореній презръніемъ къ черни, и, какъ и это послъднее, намекаетъ также и на влінніе Вольтера. П. А. Катенинъ въ своихъ воспоминанияхъ о Пушкинъ 3) разсказываеть, что поэту очень правилось въ эту эпоху, когда его сравнивали съ Вольтеромъ, и онъ особенно быль доволенъ каламбуромъ, который выходиль изъ шуточнаго прозвища, даннаго ему авторомъ воспоминаній: un monsieur à rouer (Arouet), и всякій разъ при повтореніи его заливался веселымъ смъхомъ. Мы видъли, что Пушкинъ пропагандировалъ въ это время въ средъ своихъ товарищей "Орлеанскую дъвственницу" Вольтера.

Такова была жизнь поэта въ Петербургъ въ первые годы по выходъ его изъ лицея, съ одной стороны. И вотъ эту-то именно сторону и замътилъ въ своей запискъ гр. Корфъ.—Но въ кутежи развратнаго кружка не вся ушла богатая душа Пушкина. На него находили порою минуты духовнаго прозрънія, когда онъ чувствоваль ложь своихъ грубыхъ увлеченій; и вотъ въ одно изъ такихъ свътлыхъ мгновеній, въ 1819 году, онъ написалъ свое чудное "Возрожденіе":

Художникъ—варваръ кистью сонной Картину генія чернить И свой рисунокъ беззаконный Надъ ней безсмысленно чертить.

Но краски чуждыя, съ лѣтами, Спадаютъ ветхой чешуей,—
Созданье генія предъ нами Выходить съ прежней красотой.

Такъ исчезаютъ заблужденья Съ измученной души моей, И возникаютъ въ ней видънья Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

Кромѣ собственной благородной натуры поэта, возникновенію, воскресенію въ его душѣ чистыхъ "видѣній" дѣтскихъ лѣтъ способствовали и пѣкоторыя обстоятельства его столичной жизни, главнымъ образомъ его литературныя связи и знакомства, а затѣмъ еще впечатлѣнія родной деревни, въ которую онъ по-временамъ уѣзжалъ изъ столицы.

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 36.

<sup>2) &</sup>quot;Русск. Арх." 1866. Ст. г. Бартенева "Пушкинъ въ Южной Россіи".

<sup>3)</sup> Пушкинъ въ александровскую эпоху. Г. Анненкова, стр. 119.

Онъ былъ счастливъ на литературныхъ друзей и цѣнителей его дѣтскихъ и юношескихъ поэтическихъ попытокъ.— Еще въ лицеѣ Державинъ обратилъ на него сочувственное вниманіе, когда онъ, на экзаменѣ въ 1815 году, прочелъ свое стихотвореніе "Воспоминанія въ Царскомъ селѣ".

Усићућ насъ первый окрылилъ: Старикъ Державинъ насъ замътилъ И, въ гробъ сходя, благословилъ!

съ радостнимъ чувствомъ вспоминаетъ Пушкинъ объ этомъ событіи въ VIII главѣ "Онѣгина".—Жуковскій любилъ Пушкина съ дѣтскихъ лѣть его, съ искреннимъ и теплымъ сочувствіемъ слёдилъ за его успёхами и такъ ценилъ его еще детскій вкусь, что выбрасываль изъ своихъ стихотвореній тѣ стихи, которыхъ не запоминаль Пушкинъ. Поэма "Русланъ и Людмила" читалась, по главамъ, по мъръ ихъ написанія, на вечерахъ у Жуковскаго, и когда Пушкинъ прочелъ послъднюю главу, Жуковскій подариль ему свой портреть сь надписью: "ученику оть побъжденнаго учителя". Этотъ подарокъ свидътельствуетъ и о чрезвычайномъ эстетическомъ чуть вавтора "Двинадцати спящихъ дивъ", и о возвышенности его нравственнаго характера: поэма Пушкина, собственно говоря, ниже произведеній Жуковскаго; но последній прозредь въ первой понытыв большаго сочиненія юноши-поэта его будущія великія созданія. — Пушкинъ съ своей стороны высоко ціниль и въ эту эпоху своей жизин, какъ всегда, и дружбу Жуковскаго, и его возвышенную романтическую поэзію. Въ 1818 г. онъ написаль стихотвореніе "Къ портрету Жуковскаго":

Его стиховъ илѣнительная сладость Пройдетъ вѣковъ завистливую даль; И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость, Утѣшится безмолвная печаль И рѣзвая задумается радость.

А по поводу изданія Жуковскимъ книжекъ "для немногихъ" сочинилъ прекрасное посланіе "Жуковскому", оканчивающееся словами:

Блаженъ, кто знаетъ сладострастье Высокихъ мыслей и стиховъ, Кто наслажденіе прекраснымъ Въ прекрасный получилъ удѣлъ, И твой восторгъ уразумѣлъ Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ!

Это "уразумѣніе" Пушкинымъ чистыхъ вдохновеній мечтательной музы Жуковскаго спасало его прежде, спасало и теперь отъ грубыхъ чувственныхъ увлеченій: приведенныя посвященія поэта своему учителю

въ искусствъ проникнуты возвышеннымъ настроеніемъ; оно же слышится въ элегіи 1818 года:

О ты, которая изъ-дётства Зажила во мнё священный жарь, и т. д.

и оно-же побудило его къ протесту противъ чувственности въ прекрасномъ стихотворении 1818 года "Прелестницъ":

Къ чему нескромнымъ симъ уборомъ, Умильнымъ голосомъ и взоромъ Младое сердце распалять, И тихимъ, сладостнымъ укоромъ Къ побъдъ легкой вызывать?..

Напрасны хитрыя старанья: Въ порочномъ сердцѣ жизип нѣтъ... Невольный хладъ негодованья—
Тебѣ мой роковой отвѣтъ.

Съ Карамзинымъ и его семействомъ Пушкинъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ и благоговѣлъ передъ "Исторіей Государства Россійскаго". Въ своей "автобіографіи" (1825—1826 гг.) 1) онъ говоритъ, что познакомился съ нею во время своей болѣзни, въ февраля 1818 г.: "Первые восемь томовъ "Русской Исторіи" Карамзина вышли въ свѣтъ. Я прочелъ ихъ въ своей постелѣ съ жадностью и со вниманіемъ. Появленіе сей книги надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе... Древняя Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Коломбомъ". Впослѣдствіи онъ посвятилъ Карамзину своего "Бориса Годунова"; въ эту эпоху онъ окончилъ посланіе 1818 года Жуковскому стихами, свидѣтельствующими, какъ вдохновляли его труды знаменитаго историка: рѣчь идетъ о какомъ-то поэтѣ, который

Читаетъ повъсть древнихъ лътъ...

Отъ сна воскресшими вѣками
Онъ бродитъ тайно окруженъ,
И благодарными слезами
Карамзину приноситъ онъ
Живой души благодаренье
За мигъ восторга золотой,
За благотворное забвенье
Безилодной суеты земной:
И въ немъ трепещетъ вдохновенье <sup>2</sup>).

Этимъ стихамъ противорѣчитъ, повидимому, извѣстная эпиграмма (1818 (г.):

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина, т. V, стр. 44 ("Остатки автобіографіи Пушкина").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, т. I, примъчанія, стр. 536.

Въ его исторін изящность, простота Доказывають намъ безъ всякаго пристрастья Необходимость самовластья И предести кнута.

Но дёло объясняется довольно просто: во 1-хъ, въ душё Пушкина, дёйствительно, въ это время жили всякаго рода противоречія, и какъчеловекъ, стремившійся, между прочимъ, сдёлаться членомъ тайнаго общества, онъ въ минуту отрицательнаго настроенія могъ посмотрёть на "Исторію Государства Россійскаго" съ точки зрёнія, выраженной въ эпиграммѣ; во 2 хъ, эпиграмма вызвана личнимъ огорченіемъ, разочарованіемъ и обидою,—въ позднёйшемъ письмё изъ Михайловскаго отъ 10-го іюня 1826 г. Пушкинъ пишетъ объ этомъ кн. П. А. Вяземскому:

"Коротенькое письмо твое огорчило меня по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, что ты называещь монми эпиграммами противъ Карамзина? Довольно и одной, написанной мною въ такое время, когда К. меня отстранилъ отъ себя, глубоко оскорбивъ и мое честолюбіе и сердечную къ нему приверженность. До сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить" 1).

Самая сила раздраженія, слышная въ эпиграмм'в Пушкина, быть можеть свидетельствуеть о силе его привязанности къ предмету эпиграммы.--Интересенъ разсказъ Пушкина о споръ его съ Карамзинымъ. "Однажды началь онь (Карамэннь), разсказываеть поэть 2), при мнв излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказаль: и такъ, вы рабство предпочитаете свободъ?" Пушкинъ, значитъ, выраженное въ эпиграммъ высказалъ, но прямотъ своего характера, прямо въ глаза историку. Но эта выходка не повела къ ссоръ и враждъ. "Карамзинъ вспыхнулъ (продолжаетъ Пушкинъ) и назвалъ меня своимъ клеветникомъ. Я замодчалъ, уважая самый гивь прекрасной души. Разговоръ перемвнился. Я всталь. Карамзину стало совъстно, и, прощаясь со мной, онъ ласково упрекалъ меня, какъ-бы самъ извиняясь въ своей горячности: вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузовъ на меня не говорили". Черезъ нъсколько времени послѣ этого спора, Карамзинъ, отправляясь въ Павловскъ къ императрицъ и надъвая, при поэтъ, свою ленту, искоса посмотрълъ на него... "Я прыснулъ (говоритъ Пушкинъ), и мы оба расхохотались".— Карамзинъ, какъ извъстно, ходатайствовалъ за Пушкина, когда ему грозила бѣда, и, можеть быть, снасъ его въ 1820 году отъ суровой ссылки или заключенія, взявъ съ него слово остепениться.

Изъ литературныхъ связей Пушкина этой поры слѣдуетъ вспомнить еще два знакомства его, весьма для него полезныя, это—съ Н. А. Ка-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) А. С. Пушкинъ по докум. Остаф. архива. I, стр. 21.

<sup>2)</sup> Соч. Пушкина, 1881 г. т. V, стр. 46.

тенинымъ и П. Я. Чаадаевымъ.—Катенинъ, приверженецъ французскихъ классиковъ, Корнеля, Расина и друг, научилъ Пушкина (по свидътельству г. Анненкова) осторожности въ оцънкъ поэтовъ и хладнокровію въ жаркихъ спорахъ. Что же касается Чаадаева, то вліяніе его на Пушкина было, по свидътельству самого поэта, благотворно. Скептикъ и спокойный наблюдатель вътренной толпы, онъ предостерегалъ Пушкина отъ гибели, во времена его безумныхъ увлеченій, своимъ "совътомъ" и "укоромъ":

Ты быль цёлителемь монхъ душевныхъ силь

(пишетъ Пушкинъ въ послании "Чаадаеву" 1821 г.):

О нензмённый другь, тебё я посвятиль И краткій вёкъ, уже псиытанный судьбою, И чувства, можеть быть спасенныя тобою! Ты сердце зналь мое во цвётё юныхъ дней; Ты видёль, какъ потомъ въ волненіи страстей Я тайно нзнываль, страдалець утомленный; Въ минуту гибели надъ бездной потаенной Ты поддержаль меня недремлющей рукой; Ты другу замёниль надежду и покой; Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, Ты оживляль ее совётомъ иль укоромъ, Твой жаръ восиламеняль къ высокому любовь; Терпёнье смёлое во миё являлось вновь.

Далъ̀е поэтъ мечтаетъ о новомъ свиданіи съ Чаадаевымъ, при которомъ они въ тишинъ уединеннаго кабинета вспомнятъ

бесёды прежнихъ лётъ, Младые вечера, пророческіе споры,

почитаютъ по-прежнему, посудять,-и поэтъ будетъ опять счастливъ.

Надо упомянуть еще объ образованномъ кружкѣ Оленина, предсѣдателя Академіи Художествъ, родственника и почитателя Державина, въ домѣ котораго Пушкинъ былъ принятъ радушно и ласково; здѣсь встрѣчался онъ со многими литераторами, русскими и иностранными. Здѣсь-же встрѣтился онъ впервые и съ лицемъ, игравшимъ впослѣдствіи въ его жизни нѣкоторую роль, съ Ан. Петр. Кернъ ¹). Поэтъ былъ пораженъ ен красотою. Свое впечатлѣпіе онъ передалъ послѣ, при второй встрѣчѣ съ Анной Петровной въ 1825 году въ Михайловскомъ, въ изумительно художественныхъ стихахъ:

Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты,

<sup>4)</sup> Объ этой встрёчё разсказываеть сама А. П. въ своихъ воспоминаніяхъ. См. "Рус. Стар." 1879 г. іюнь, стр. 383—399.

Какъ мимолетное видёнье, Какъ геній чистой красоты. Въ томленьяхъ грусти безнадежной, Въ тревогахъ шумной суеты, Звучалъ мив долго голосъ нёжный И сиплись милыя черты.

Можно утвердительно сказать, что внечатлѣніе это, противоположное своею чистотою чувственнымъ возбужденіямъ кутящаго кружка, было благотворно для Пушкина: красота относится къ области духовной жизни, и въ данномъ случаѣ она пробудила въ душѣ поэта дремавшія въ ней художническія струны.

Влаготворными и спасительными для Пушкина были и испыты ваемыя имъ порою въ эти годы впечатлѣнія родной деревни. Деревней навѣянъ рядъ произведеній, въ которыхъ выразились народныя пачала. Остановимся на двухъ изъ нихъ: "Домовому" и "Деревня" (оба 1819 г. Послѣднее болѣе извѣстно подъ именемъ "Уединеніе"), Въ первомъ произведеніи поэтъ высказываетъ свою любовь къ сельской жизни и къ народнымъ вѣрованіямъ; во второмъ онъ отрекается отъ порочной жизни своей въ столицѣ во имя природы и серьезныхъ размышленій на ея лонѣ въ тишинѣ своего помѣстья:

Привътствую тебя, пустынный уголокъ!

Я твой: я пром'внять порочный кругъ цирцей Роскошные пиры, забавы, заблужденья На мирный шумь дубровь, на тишину полей, На праздность вольную, подругу размышленья.

Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ!
Въ уединены величавомъ
Слышнѣе вашъ отрадный гласъ;
Онъ гонитъ лѣни сопъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во миѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.

Особенно замѣчательна вторая половина стихотворенія: поэтъ выражаєть въ ней горячее негодованіе на помѣщичій гнеть и произволь надъ крестьяниномъ:

Не видя слезь, не внемля стона, На нагубу людей избранное судьбой, Здёсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона, Присвоило себё насильственной дозой И трудъ, и собственность, и время земледёльца. Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ, Здёсь рабство тощее влачится по браздамъ Неумолимаго владёльца.

Оканчивается произведение прекраснымь, свётлымь, съ замёчательною поэтическою силой высказаннымь пожеланиемь свободы крестьянину:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный И рабство надшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвъщенной Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря!

Русское общество прочитало въ печати эти вдохновенные строки только въ 1861 году, когда исполнилось выраженное въ нихъ чанніе. Написавшій ихъ поэтъ многими считался до того времени крѣпостникомъ и человѣкомъ равнодушнымъ къ участи народа.

Многіе писатели, съ которыми сблизился Пушкинъ въ первые годы своей самостоятельной жизни по выход'в изъ школы, благотворно вліяли на его умъ и сердце; но нельзя сказать того-же про литературныя общества данной эпохи. Ихъ было собственно два: "Бесъда любителей Русскаго слова" и "Арзамасъ". Пушкинъ примкнулъ къ последнему; онъ, впрочемъ, еще лицеистомъ былъ принятъ въ его члены. Главою "Бесъды" былъ, какъ извъстно, А. С. Шишковъ, литературный противникъ Карамзина; "Бесъда" отстанвала старыя, державинскія формы литературы. Органомъ ен мивній служиль журналь Каченовскаго "Ввстникъ Европы". "Арзамасъ" былъ представителемъ новшествъ въ литературь. Его, такъ сказать, невидимою главою быль Карамзинъ, лично въ немъ не участвовавшій; къ "Арзамасу" принадлежалъ Жуковскій. Мнънія и взгляды свои это общество выражало въ "Сынъ Отечества" Греча. Г. Анненковъ въ своемъ сочинении "Пушкинъ въ александровскую эпоху" болье сочувствуетъ "Арзамасу", чъмъ "Бесъдъ", и онъ правъ, конечно, потому что, во 1-хъ, "Бесъда" отстаивала уже отжившія свое время идеи и формы, во 2-хъ-она возставала противъ свободы литературнаго слова. Конечно, Шишкова и Каченовскаго нельзя смфшивать съ такими гасильниками просвфщенія, какъ Магницкій и Руничъ; но тъмъ не менъе они въ попыткахъ уничтоженія старинныхъ "пінтическихъ правилъ", въ литературной реформъ послъдняго времени видели причину ослабленія основъ старой русской жизни и даже стремленіе къ освобожденію отъ іерархическихъ и всякихъ другихъ авторитетовъ. - Но надо сказать, съ другой стороны, что и либеральный "Арзамасъ" отличался очень крупными недостатками. Первымъ и главнымъ изъ нихъ должно считать шутливый или, лучше сказать, шуточный характеръ общества. Члены его носили особенныя названія, взятыя изъ балладъ Жуковскаго: напримъръ, Пушкина звали "Сверчокъ", дядю его Василія Львовича "Воть". Засѣданія "Арзамаса" были пародіей на засъданія французской Академін: вновь принимаемый, напримъръ, долженъ быль сказать похвальную (ироническую, конечно) ръчь одному изъ членовъ "Беседы", подобно тому, какъ въ Академін новопоступающій говорилъ рѣчь въ честь своего умершаго предшественника. Съ шутливымъ карактеромъ "Арзамаса" совершенно гармонируетъ отсутствіе въ немъ опредѣленной, обдуманной программы занятій. Должно быть вслѣдствіе этого нѣкоторые серьезные умы, какъ, напримѣръ, Катенинъ, Оленинъ, Грибоѣдовъ, болѣе сочувствовали "Бесѣдѣ". Есть преувеличеніе, но есть и доля правды во взглядѣ Писарева на "Арзамасъ": "навязываніе бумажки на зюзюшкинъ хвостъ (говоритъ критикъ) было возведено тутъ въ принципъ и обставлено торжественными обрядами". Другой недостатокъ "Арзамаса" — его космополитическій характеръ. Въ стихотвореніи 1817 года "Кн. А. И. Голицыной" Пушкинъ говоритъ про себя:

Краевъ чужнхъ неопитный любитель И своего всегдашній обвинитель, Я говориль: въ отечествъ моемъ Гдъ върный умъ, гдъ геній мы найдемъ?

Другое стихотвореніе того же года, "Къ Жуковскому", намекаетъ— откуда явились у Пушкина подобныя космополитическія идеи; онъ такъ характеризуетъ тутъ "Бесёду": для ея членовъ—

Кто выражается правдивымъ языкомъ И русской глупости не хочетъ бить челомъ, Онъ врагъ отечества, онъ сѣятель разврата, И рѣчн сыплются дождемъ на супостата.

Въроятно Пушкинъ въ-пику "Бесъдъ" былъ въ это время приверженцемъ Запада. — Возбуждая въ начинающемъ поэтъ легкомысле и космополитизмъ, "Арзамасъ" былъ не полезенъ ему, а вреденъ.

Чуткій и отзывчивый на всё вёянія жизни, Пушкинъ увлекся въ эту пору и мистицизмомъ, довольно распространеннымъ тогда въ русскомъ обществъ (переводы Лабзина изъ Штиллинга и Эккартсгаузена читались весьма многими, говорить г. Анненковъ). Впрочемъ, — и это одна изъ загадочныхъ чертъ въ характеръ Пушкина, -- нъкоторое суевъріе жило въ немъ всегда; Богъ знаетъ-было ли оно слёдствіемъ вліянія деревни и народнаго быта, или въ его огненной, южной, нервной натур' только ярче просв' чивало то, что таится въ глубин души каждаго человъка. Обстоятельства по-временамъ усиливали эту черту его нравственнаго образа. Въ 1818 году въ Петербургъ славилась умъньемъ гадать на картахъ какая-то старуха-нъмка Кирхгофъ. Пушкинъ однажды съ Всеволожскимъ вздумалъ зайти къ ней. Она назвала поэта замѣчательнымъ человѣкомъ и сдѣлала ему три предсказанія: что онь скоро будеть имъть разговоръ по службъ, получить неожиданныя деньги и, наконецъ, что сдёлается кумиромъ своихъ соотечественииковъ, можетъ быть проживетъ долго, но на 37-мъ году жизни долженъ

беречься "бѣлаго человѣка или бѣлой головы" 1). Пушкинъ, говорятъ, засмѣялся; но когда исполнились два первыя, незначительныя предсказанія, онъ сталъ вѣрить въ исполненіе и третьяго.

Отозвалась чуткая душа поэта и на политическія стремленія времени. Но прежде чёмъ сказать о политическихъ памфлетахъ Пушкина, надо остановиться на поэмѣ "Русланъ и Людмила", задуманной гораздо ранѣе, чѣмъ были написаны они, и далекой отъ нихъ по своему духу и содержанію.

Первую поэму Пушкина (онъ задумаль ее еще въ лицев, а окончиль въ 1819 году) считають обыкновенно подражательнымъ сочиненіемъ, и это совершенно справедливо; но едва-ли върно то, что первообразы ен видять въ иностранныхъ поэмахъ: въ "Неистовомъ Орландъ" Аріоста, въ "Оберонъ" Виланда, и друг. Можетъ быть чтеніе этихъ произведеній и вліяло до нъкоторой степени на замыселъ нашего поэта; но, сочиняя "Руслана", онъ подражаль не имъ. — Бълинскій, разбирая эту поэму, считаетъ 4-ю пъснь ен пародіей на "Двънадцать спящихъ дъвъ" Жуковскаго; онъ говоритъ, что въ ней "романтизмъ... осмънъть... очень мило и остроумно, въ забавной выходкъ противъ "Двънадцати спящихъ дъвъ" 2). Вотъ стихи, на которые намекаетъ критикъ:

Поэзін чудесный геній, Итвець тапиственных видіній, Любви, мечтаній и чертей, Могиль и ран вічный житель И музы вітренной моей Наперстникь, піступъ и хранитель! Прости мит, стверный Орфей, что въ повісти моей забавной Теперь во-слідь тебі лечу, И лиру музы своенравной Во лжи прелестной обличу.

Посл'єдній стихъ, д'єйствительно, подтверждаеть заключеніе Б'єлинскаго. Но дал'є воть что говорить Пушкинъ о томъ, какъ на негод'єйствовала поэма Жуковскаго:

И насъ плънпли, ужаснули
Картины тайныхъ сихъ ночей,
Сін чудесныя видънья,
Сей мрачный бъсъ, сей Божій гнѣвъ,
Живыя гръшпика мученья
И прелесть непорочныхъ дѣвъ.
Мы съ пими плакали, бродили
Вокругъ зубчатыхъ замка стѣпъ,

2) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 420 (?).

<sup>4) &</sup>quot;Русск. Стар." 1879 г., іюль, 381—383 "Алекс. Серг. Пушкинь".

И сердцемъ тронутымъ любили
Ихъ тихій сонъ, ихъ тихій ильнъ;
Душой Вадима призывали
И пробужденье зръли ихъ
И часто ипокинь святыхъ
На гробъ отцовскій провожали.

Здёсь не иронія: въ этихъ стихахъ слышится скорѣе любовь и уваженіе Пушкина къ Жуковскому и его поэмѣ. Не пародію написалъ Пушкинъ, а все его произведеніе есть, вѣрнѣе, передѣлка "Двѣнадцати спящихъ дѣвъ", такъ сказать реализація поэмы Жуковскаго, съ одной стороны—легкомысленная, съ другой—не лишенная поэзіи.

Если сравнить содержаніе об'вих поэмъ, то окажется, что он'в почти тождественны. И въ той и въ другой разсказывается о похищеніи кіевской княжны; и у Пушкина, и у Жуковскаго являются дв'внадцать прекрасныхъ д'ввъ. Только Вадимъ Жуковскаго разд'ълился у Пушкина на дв'в личности — на Руслана и Ратмира: Русланъ отправляется на поиски за кіевской княжной, а Ратмиръ увлекается дв'внадцатью д'ввами. Великанъ Жуковскаго, похитившій кіевскую княжну, тоже раздвоился у Пушкина: на Карла—Черномора и его брата — Голову; Русланъ борется и съ т'вмъ и съ другимъ. Св. Угодникъ Жуковскаго превратился у Пушкина въ старика Финна, б'всъ—въ Наину. Какъ Угодникъ и б'всъ состязаются у Жуковскаго изъ-за Громобоя, такъ у Пушкина Финнъ и Наина спорятъ и враждуютъ изъ-за Руслана. Наконецъ, какъ Вадимъ привозитъ похищенную княжну въ Кіевъ, такъ и Русланъ привозитъ Людмилу.

Но при сходствъ поэмъ есть между ними и большая разница. У Жуковскаго освобождене княжны—эпизодъ въ повъсти; у Пушкина наоборотъ: разсказъ о двънадцати дъвахъ есть эпизодъ въ повъствовании объ освобождении кіевской княжны. Затъмъ (и это главное различіе поэтовъ) у Жуковскаго двънадцать дъвъ являются представительницами идеальнаго начала; изъ поэмы Пушкина идеальное начало совершенно исключено, а его двънадцать дъвъ оказываются представительницами чувственной жизни: опъ увлекаютъ Ратмира земными соблазнами. Руслапъ (вопреки своему первообразу Вадиму) находитъ истину и счастье въ любви къ кіевской княжнъ, а не къ одной изъ двънадцати дъвъ Жуковскаго.—Такимъ образомъ содержаніе поэмы Пушкина заимствовано у Жуковскаго; но произведеніе послъдняго подвергнуто передълкъ, весьма существенной: молодой поэтъ хотълъ по-своему поправить нравившееся ему, по казавшееся слишкомъ мечтательнымъ и идеальнымъ созданіе своего учителя.

Характеровъ лицъ въ поэмѣ Жуковскаго нѣтъ; Пушкинъ хотѣлъ попробовать сдѣлать очерки характеровъ. Но и въ этомъ онъ въ разбираепушкинъ въ его поэзіп. мой первой своей поэмѣ еще не самостоятелень. Такъ, характеръ Людмилы заимствованъ у Богдановича, изъ его пресловутой "Душеньки". Людмила—дъвушка легкомисленная, сильно интересующаяся своей красотой, любящая наряды; она вообще личность дюжинная, неспособная на чистое чувство, на возвышенное дѣло; она похожа (если можно сравнивать съ позднѣйшими явленіями) на героинь современныхъ намъ оперетть Оффенбаха, напр. на Периколу.—Отношенія Пушкина къ Людмилѣ похожи на отношенія Богдановича къ Душенькѣ: Пушкинъ сочувствуетъ своей героинѣ и въ то-же время не уважаетъ ее, смотритъ на нее какъ-то шутливо-пренебрежительно. Эта двойственность отношеній поэта къ Людмилѣ напоминаетъ намъ также отношеніе Вольтера къ своимъ героинямъ, напр., къ Кунигундѣ въ "Кандидѣ.—Людмила, попавъ въ плѣнъ къ Черномору, тоскуетъ; поэтъ намекаетъ намъ, что истинная причина тоски—неизвѣстна: можетъ быть она груститъ о разлукѣ съ милымъ, а можетъ быть и потому, что давно не смотрѣлась въ зеркало:

Тѣ, кои правду возлюбя,
На темномъ сердца днѣ читали,
Конечно знають про себя,
Что если женщина въ печали,
Сквозь слезъ, украдкой какъ-нибудь,
На зло привычкѣ и разсудку,
Забудетъ въ зеркало взглянуть,
То грустно ей ужь не на шутку.
(Пѣснь II).

Людмила повидимому искренно рѣшается умереть съ отчаянья; но это рѣшеніе быстро исчезаеть отъ страха передъ опасностью, отъ соблазна вкуснаго кушанья.

Страшный путь отверэть:
Высокій мостивь надъ потокомъ
Предъ ней висить на двухъ скалахъ;
Въ уныныи тяжкомъ и глубокомъ
Она подходить—и въ слезахъ
На воды шумныя взглянула,
Ударила, рыдая, въ грудь,
Въ волнахъ рёшилась утонуть,—
Однако въ воды не прыгнула
И далъ продолжала путь.

Бъгая такимъ образомъ по саду съ утра, она устала наконецъ, проголодалась,

Въ душъ подумала: пора!

и къ ея услугамъ явился роскошный объдъ; но, ръшившись умереть, она не хочетъ притронуться къ кушаньямъ:

Не стану всть, не стану слушать, Умру среди твоихъ садовъ!.. Подумала—и стала кушать. (И пвс.). Горе Людмилы какъ-то соединяется и перепутывается съ кокетствомъ:

На встрѣчу утреннимъ лучамъ Постель оставила Людмила И взоръ невольный обратила Къ высокимъ, чистымъ зеркадамъ; Невольно кудри золотыя Съ лилейныхъ плечъ приподняла, Невольно волосы густые Рукой небрежной заплела; Свои вчерашніе наряды Нечаянно въ углу нашла, Вздохнувъ одблась, и съ досады Тихонько плакать начала. Однако съ върнаго стекла, Вздыхая, не сводила взора. И девице пришло на умъ, Въ волненые своенравныхъ думъ, Примърить шанку Черномора. . . . . . . . . . . . . .

Рядиться никогда не лѣнь,-

прибавляеть отъ себя поэть пояснительное примъчаніе.

Не только характеръ Людмилы заимствовалъ Пушкинъ у Богдановича, —онъ взялъ изъ поэмы "Душенька" и нѣкоторыя частности и подробности своего произведенія; напр. описаніе дворца и сада Черномора напоминаетъ изображеніе владѣній Амура у Богдановича. Какъ зачастую неизященъ образъ Душеньки и грубы отношенія къ ней автора, такъ иной разъ очень неизящна и Людмила и безцеремонны отношенія къ ней Пушкина: когда къ Людмилѣ явился Черноморъ съ изъясненіями своей любви, то она

Сѣдаго карлу за колнакъ Рукою быстрой ухватила, Дрожащій занесла кулакъ, И въ страхѣ завизжала такъ, Что всѣхъ араповъ оглушила. Трепеща скорчился бѣднякъ, Кияжны испуганной блѣднѣе. (Пѣс. П).

Съ характеромъ Людмилы, съ характеромъ передёлки повёсти Жуковскаго согласенъ и общій чувственный колорить "Руслана и Людмилы". Самъ Пушкинъ сказалъ, что въ своемъ нроизведеніи онъ идеть по слёдамъ Парни: онъ славитъ

лирою небрежной И наготу въ ночной тѣни, И поцѣлуй любови нѣжной! (Иѣс. IV).

И дъйствительно, въ поэмъ мы видимъ рядъ чувственныхъ картинъ и сценъ; напр. поэтъ говоритъ о нетеривни Руслана на свадебномъ пиру и затъмъ рисуетъ сцену въ спальнъ. Онъ успокоиваетъ читателя относительно Людмилы, попавшей къ Черномору, что "любовь съдаго колдуна—

напрасна
И юной дъвъ не страшна:
Онъ звъзды сводитъ съ небосклона,
Онъ свистнетъ—задрожитъ луна;
Но противъ времени закона
Его наука не сильна.

(IIšc. I).

Въ другомъ мъсть онъ повъствуетъ, какъ

волиебникъ хилый Ласкаетъ дерзостной рукой Младыя прелести Людмилы. (Пфс. IV).

Похищение Людмилы Черноморомъ поэтъ сравниваетъ съ похищениемъ курицы коршуномъ въ ту минуту,

Когда за курпцей трусливой, Султанъ курлтинка спъсивой, Пътухъ мой по двору бъжалъ И сладострастимии крылами Уже подругу обнималъ.

(IItc. II).

Поэтъ считаетъ нужнымъ оправдываться:

Зачёмъ Русланову подругу, Какъ-бы на зло ея супругу, Зову и дёвой и княжной. (Пѣс. ІН).

Разсказъ о пребываніи Ратмира у двінадцати дівъ полонъ сладострастныхь картинь. Повіствуя о томъ, какъ Руслань везеть спящую Людмилу въ Кіевъ, Пушкинъ находить нужнымъ говорить о ціломудрім своего героя. По поводу сна Людмилы онъ вспоминаетъ притворный сонъ "пастушекъ", за которыми ухаживаль съ товарищами, когда еще "безмятежно разцвіталь въ садахъ лицея".—Въ первомъ изданіи поэмы было еще боліе чувственныхъ, почти циническихъ эпизодовъ. Между ними интересны слідующія слова, пропущенныя Пушкинымъ при вторичномъ печатаніи поэмы, въ 1828 году:

Не правъ Фернейскій злой крикупъ! Все къ лучшему....

Эти стихи намекають, что и въ "Русланъ и Людмилъ" отозвалось вліяніе Вольтера.

Но реализація Пушкинымъ идеалистической и мечтательной повъсти Жуковскаго состоить не только въ томъ, что въ нее внесено матерьялистическое начало, а также и въ приданіи ей характера, или по крайней мъръ окраски народности. Вълнискій совершенно върно, конечно, замътилъ, что въ первой поэмъ Пушкина русскаго народнаго духа "слыхомъ не слыхать, видомъ не видать", за исключениемъ 17 первыхъ стиховъ 1). Въ 20-хъ годахъ, говоритъ онъ, немудрено было, въ первый разъ читая такіе сгихи, до того увлечься ими, чтобъ въ описаніи какой-то небывалой, фантастической бани увид'ять "великолънную русскую" баню. Кому неизвъстно великолъніе нашихъ бань, гдъ въ такомъ употребленіи "сокъ весеннихъ розъ", а "вътви молодыхъ березъ" прозаически называются вѣниками 2). (Этотъ отзывъ Бѣлинскаго свидътельствуетъ не только о его эстетическомъ чувствъ, но и о томъ также, что въ его душъ всегда сидълъ русскій человъкъ). -- Но съ другой стороны небезъосновательно увидёль въ поэмё много народнаго, или, лучше, сказочнаго и пъсеннаго, другой критикъ, напечатавшій статью о "Русланъ и Людмилъ" въ "Въсти. Европы" 1820 г., т. е. года выхода въ свъть поэмы 3). Критикъ этоть подписался "Житель Бутырской слободы". Взгляды его на произведение Пушкина, а въ особенности на народную поэзію можно сказать—дикіе.

"Мы (говорить онъ) отъ предковъ получили небольшое бъдное наслъдство литературы, т. е. сказки и пъсни народныя. Что о нихъ сказать? Если мы бережемъ старинныя монеты, даже самыя безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомивнія. Мы любимъ всиоминать все, относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому времени нашего дътства, когда какая-нибудь пъсня или сказка служила намъ невинною забавой и составляла все богатство познаній. Видите сами, что я не прочь отъ собиранія и изысканія русскихъ сказокъ и пѣсенъ; но когда узналъ я, что наши словесники приняли старинныя пъсни совствиъ съ другой стороны, громко закричали о величін, плавности, сплв, красотахъ, богатствъ нашихъ старинныхъ пъсенъ, начали переводить ихъ на немецкій языкъ, и наконецъ такъ влюбились въ сказки и песни, что въ стихотвореніяхъ XIX въка заблистали Ерусланы и Бовы на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный... Зачемъ допускать, чтобы плохія шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, неодобряемая вкусомъ просвъщеннымъ, отвратительна, а ни мало не смѣшна и не забавна".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Соч. Бълинскаго, т. VIII, стр. 426-427.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, стр. 433.

<sup>3)</sup> Прил. ко 2 изд. Исакова Соч. Пушкина, стр. 6—8.—Въ 3-мъ изд. Исакова, подъред. Ефремова, т. V.

Слова эти въ наше время нельзя не признать дикими... Но вникните въ ихъ сущность, и окажется, что сердитый критикъ, отрицающій изящество народной поэзіи, знаетъ эту поэзію и понимаетъ ее,—не даромъ говоритъ онъ о значеніи сказокъ и пѣсенъ въ дѣтствѣ. Онъ напоминаетъ намъ теперь Тургеневскаго Потугина, одного изъ героевъ-"Дыма", тоже превосходно знающаго народное творчество и понимающаго его красоту, хотя и увѣряющаго, что въ немъ нѣтъ красоты и что онъ его будто-бы не любитъ.

По этимъ причинамъ "Бутырскій критикъ" вѣрно подмѣтилъ въ примѣненіи къ Пушкину, что поэты XIX вѣка начинаютъ пародироватъ Киршу Данилова; съ комическимъ негодованіемъ, но совершенно вѣрно указалъ онъ, что Пушкинъ "оживляетъ мужичка самъ съ ноготь, а борода съ локоть, придаетъ ему еще безконечные усы, показываетъ намъвѣдьму, шапочку-невидимку и проч.", что "поэтъ и въ выраженіяхъ уподобился Ерусланову разскащику, какъ, напримѣръ, въ стихахъ:

Я ѣду, ѣду не свищу, А какъ наѣду, не спущу..."

Впослѣдствін самъ Пушкинъ, разсказывая, какъ критика приняда его первую поэму, какъ жестоко смѣялись надъ стихомъ: "Людскую молвь и конскій топъ", признаетъ, что составилъ этотъ стихъ по народнымъ произведеніямъ. "Молвь (рѣчь) слово коренное русское (замѣчаетъ поэтъ). Топъ вмѣсто топотъ (слѣдственно, и хлопъ вмѣсто хлопаніе) вовсе не противно духу русскаго языка, какъ и шипъвмѣсто шипѣніе:

Онъ шипъ пустилъ по змѣиному. (Древи. Русскія Стихотвор.).

На ту бѣду и стихъ-то весь не мой, а взятъ цѣликомъ изъ русской сказки:

"И вышель онь за ворота градскія, и услышаль конскій топь и людскую молвь".

("Бова Королевичь" 1).

Народности въ поэмѣ Пушкина, дѣйствительно, больше, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Прежде всего, въ содержаніи поэмы очень сильно сказочное начало. Будучи передѣлкой "Двѣнадцати спящихъ дѣвъ" Жуковскаго, "Русланъ и Людмила" есть вмѣстѣ съ тѣмъ и передѣлка сказки "о спящей царевнъ". Людмилу похищаетъ Черноморъ, какъ царевну Кощей; Русланъ освобождаетъ Людмилу, какъ Иванъ-Царевичъсвою невѣсту; и оба они послѣ этого убиты, и оба оживаютъ при помощи живой воды. Наконецъ, какъ царевна пробуждается отъ сна съ приходомъ Ивана-Царевича, такъ пробуждается и Людмила съ прихо-

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина, изд. 1881 г., т. V, стр. 137.

домъ Руслана. Тотъ-же сказочный мотивъ Пушкинъ передалъ впослъдстви съ изумительною поэтическою силой въ своей чудной "Сказкъ о мертвой царевнъ и о семи богатыряхъ".—Замъчательно только, что въ поэмъ Людмилу похищаетъ не Кощей, а "Мужичекъ съ ноготокъ—борода съ локотокъ": Пушкинъ, повидимому, путается еще въ сказочныхъ типахъ.

Кромф сказокъ на "Русланъ и Людмилъ" замътно вліяніе и богатирскаго эпоса. Характеръ Людмилы заимствовалъ Пушкинъ, какъ мы видёли, изъ "Душеньки" Богдановича; первообразами же характеровъ героевъ поэмы были наши народные богатыри. — Какъ въ былинахъ кіевскаго круга Владиміра-Красное-солнышко окружають богатыри, которые пирують съ нимъ, а потомъ съ въчнаго пира его вдуть на подвиги, такъ и въ поэмъ Пушкина Владиміръ окруженъ богатырями, которые ъдуть затъмъ изъ Кіева отыскивать его похищенную дочь.--Русланъ списанъ поэтомъ съ Ильи Муромца, и отчасти съ Добрыни Никитича. Илью онъ напоминаетъ спокойствіемъ своимъ, самообладаніемъ, отсутствіемъ хвастливости въ нравѣ. Какъ Илья привозитъ въ Кіевъ полоненнаго имъ Соловья-разбойника, такъ и Русланъ привозитъ Черномора. Только бой Руслана съ послёднимъ воспроизводить не бой Ильи съ Соловьемъ, а сражение Алеши-Поповича съ Зменть-Тугариномъ, летавшимъ на бумажныхъ крыльяхъ (и Черноморъ тоже летаетъ). Какъ Илья освобождаетъ Черниговъ отъ трехъ царевичей съ несмътною силой татарской, такъ Русланъ спасаетъ Кіевъ отъ печенѣговъ. Вообще прівздъ Руслана въ Кіевъ напоминаетъ повздку Ильи Муромца изъ родительскаго дома въ стольный городъ ласковаго князя Владиміра. — Въ поэмъ есть и Алеша-Поповичъ, это — Фарлафъ; онъ хвастливъ, хитеръ, плутовать; только ему не дано смёлости его первообраза: онъ трусь. Фарлафъ кочетъ обманомъ жениться на женъ Руслана, какъ Алеша женится на женъ Добрыни Настасьъ Микулишнъ; Русланъ, соотвътствующій въ данномъ случав Добрынв, лежить въ это время въ полв израненный и убитый, подобно тому, какъ, по облыжнымъ словамъ Алеши, лежить будто-бы около ракитова куста въ полъ Добрыня съ проломанной головой и простръленными плечами. Какъ Алеша, Фарлафъ отпибся въ разсчетъ и принужденъ просить прощения у возвратившагося Руслана.

И всякъ ли то удалый добрый молодецъ поженится, А не всякому удалу добру молодцу женитьба удавается,

говорить народная пѣсня 1). — Должно быть крѣпко засѣли въ душѣ Пушкина образы богатырей, съ которыми онъ познакомился въ дѣтствѣ, какъ мы знаемъ по его собственному свидѣтельству въ стихотвореніи "Сонъ". — Съ народной стороной "Руслана и Людмилы" совершенно гар-

<sup>1)</sup> Онежскія былины, Гильфердинга, 642.

монируеть то обстоятельство, что въ языкъ поэмы слышится порою русскій духъ, какъ указаль уже "Бутырскій критикъ". Русскій духъ пробивается и въ некоторыхъ частностяхъ произведенія, напр. въ цечали Людмилы по родительскомъ домѣ:

> Она, безмолвна и уныла, Одна гуляеть по садамъ, О другѣ мыслить и вздыхаеть, Иль волю давъ своимъ мечтамъ, Къ родимымъ Кіевскимъ полямъ Въ забвеньи сердца удетаетъ, Подружекъ видитъ молодыхъ И старыхъ мамущекъ своихъ,-Забыты ильнъ и разлученье! и т. д. (Пѣснь IV).

Вышеприведенное сравнение иохищенія Людмилы съ похищеніемъ курицы коршуномъ, будучи съ одной стороны не совсемъ приличнымъ, представляеть въ то-же время, съ другой стороны, простое изображение обыденной русской действительности.

Нельзя не согласиться, что отчасти быль правы тоть литераторы, который привътствоваль поэму Пушкина стихомъ:

Мать дочери велить на эту сказку илюнуть.

Дъйствительно, въ поэмъ много чувственнаго и даже порою циническаго; но народная стихія составляєть ся свётлую сторону. Къ свётлой сторонъ относится и пробивающееся въ ней мъстами истинное чувство. Пушкинъ самъ впослъдстви указывалъ, какъ на недостатокъ поэмы, на ен холодность; и въ самомъ дълъ, въ общемъ она холодна, но мъстами въ ней звучать теплыя потки, — недаромъ Пушкинъ подражалъ Жуковскому. Чувствомъ проникнуто, напримъръ, описание горя разлученныхъ супруговъ. Чувство замътно въ размышленіяхъ Руслана на поль, усвянномъ мертвыми костями:

О поле, поле, кто тебя Усѣяль мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топталь, Въ последній чась провавой битвы? Кто на тебъ со славой паль? Чыи небо слышало молитвы? (Пфсиь III).

Чистое чувство вызвало гуманный совыть поэта соперникамъ въ любви не ссориться между собою:

> ЗКивите дружно, если можно. Поверьте мив, друзья мон: Кому судьбою непремённой Дфвичье сердце суждено, Тоть будеть миль на зло вселенной; Сердиться глупо и смфшно.

(Пѣс. II).

Въ концѣ поэмы истинное чувство беретъ перевѣсъ надъ легкомысленной чувственностью: Ратмиръ отказывается отъ сладострастной жизни въ замкѣ дѣвъ, потому что увлекается романтической, чистой любовью; изображеніе этой любви несомиѣнно свидѣтельствуетъ о вліяніи Жуковскаго на Пушкина: я забылъ все прежнее, даже прелести Людмилы (говоритъ Ратмиръ Руслану, возвращающемуся съ освобожденной женою въ Кіевъ); мнѣ мила только моя подруга:

> Моей счастивой перемѣны Она впновницей была; Она мнѣ жінзнь, она мпѣ радость! Она мив возвратила вновь Мою утраченную младость И миръ и чистую любовь. Напрасно счастье мив сулили Уста волшебницъ молодыхъ; Двънадцать дъвъ меня любили,-Я для нея покипуль ихъ, Оставиль теремь ихъ веселый Въ тени хранительныхъ дубровъ, Сложиль и мечь, и шлемь тяжелый, Забыль и славу, и враговъ. Отшельникъ мирный и безвъстный, Остался въ счастливой глуши, Съ тобой, другъ милый, другъ прелестный, Съ тобою, свътъ моей души!

(IItc. IV).

Въ-заключеніе, надо обратить еще вниманіе на художественность нѣ-которыхъ эпизодовъ "Руслана и Людмилы". Красотъ живаго стиха поэмы тоже иной разъ уступаетъ мъсто чувственная сторона ел. Въ легкомысленномъ разсказъ о Наинъ (легкомысленномъ, потому что Наина осмъивается только за свою старость) иные стихи отличаются неподдъльнымъ изяществомъ, напр.

И я любовь узналь душой, Съ ея небесною отрадой, Съ ея мучительной тоской!

Но сердце, полное Нанной, Подъ шумомъ битвы и пировъ Томилось тайною кручиной, Искало Финскихъ береговъ

Сбылись давнишнія мечты, Сбылися пылкія желапья! Минута сладкаго свиданья, И для меня блеснула ты! (Шѣс. I). Истинно художественно, затѣмъ, изображеніе гибели Рогдая, брошеннаго Русланомъ въ волны:

И слышно было, что Рогдая Тёхъ водъ русалка молодая На хладны перси приняла И, жадно витязя лобзая, На дно со смёхомъ увлекла. (Пёс. II).

Есть въ поэмѣ прекрасныя картины природы; напр.

Ужь поблёднёль закать румяный Надь усыпленною землей; Дымятся спніе туманы И всходить мёсяць золотой; Померкла степь. Тропою темной Задумчивь ёдеть нашь Руслань. (Пёс. III).

Остановимся, наконецъ; на следующихъ четырехъ стихахъ изъ описанія сна Руслана:

И снится въщій сонъ герою: Онъ видить, будто-бы княжна Надъ страшной бездны глубиною Стоить недвижна и блёдна...

Они съ небольшимъ измѣненіемъ перешли потомъ въ "Евгенія Онѣ-гина"—въ описаніе сна Татьяны.

Легкомысленное поведеніе Пушкина, должно быть, сильно безпокоило истинныхъ друзей его. Одинъ изъ нихъ, А. И. Тургеневъ, принимавшій такое сердечное участіє въ судьбѣ поэта, возлагалъ надежды на поэму "Русланъ и Людмила", что она остепенитъ Пушкина.

"Племянникъ почти кончилъ свою поэму (писаль онъ) <sup>1</sup>), и на сихъ дняхъ я два раза слушалъ ее. Пора въ печать. Я надѣюсь отъ печати и другой пользы, личной для него. Увидѣвъ себя въ числѣ напечатанныхъ и слѣдовательно уважаемыхъ авторовъ, онъ и самъ станетъ уважать себя и нѣсколько остепенится. Теперь его знаютъ только по мелкимъ стихамъ и крупнымъ шалостямъ".

Но Богъ знаетъ, сбылись ли бы надежды Тургенева, одержали ли бы верхъ въ душѣ Пушкина чистыя начала, или нѣтъ, если-бы не произошло одно событіе, которое, казалось, чуть не погубило его, но которое на-самомъ-дѣлѣ спасло отъ погибели въ чувственныхъ увлече-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) А. С. Пушкинъ 1816—1825 г. По документамъ Остафьевск. архива. Кн. П. П. Вяземскаго, I, стр. 28.

ніяхъ будущаго великаго художника; это событіе—высылка изъ Петербурга на югъ весною 1820 года.

Увлекаясь всёми явленіями жизни, Пушкинъ сильно заинтересовался и бродившими въ то время въ нашемъ обществе политическими идеями.

Конецъ 10-хъ годовъ быль въ Европъ временемъ реакціи. Это отразилось и у насъ, главнымъ образомъ необычайными строгостями цензуры и затёмъ разрушительными действіями противъ просвещенія Магницкаго, Рунича и комп. Выдвинулась невъжественная личность Аракчеева. Въ противодѣйствіе реакціи образовались тайныя общества. Дѣятелями въ нихъ были преимущественно гвардейскіе офицеры, занимавшіе тогда первое місто въ молодомъ поколініи. Между ними были и люди невъжественные, и люди европейски образованные, какъ напр. Чаадаевъ, Катенинъ и другіе. Военное сословіе, вернувшись въ Россію изъ Парижа, принесло съ собою либеральныя идеи Запада. Въ 1818 г. въ Москвъ, гдъ была тогда гвардія (по случаю празднествъ, устроенныхъ тамъ нашимъ дворомъ для прусскаго короля), сочиненъ былъ уставъ "Союза благоденствія". Первоначально общество это имѣло чиссто моральныя цёли: распространять образованіе, поднимать и разрівшать вопросы современнаго гражданскаго устройства Россіи. Но, неудовольствовавшись этимъ, "союзъ" перешелъ затамъ на почву революціонныхъ стремленій.—Г. Анненковъ въ своихъ "Матеріалахъ" справедливо указываеть на диллетантизмъ, господствовавшій въ нашихъ тайныхъ обществахъ той поры, члены которыхъ поверхностно занимались и Адамомъ Смитомъ, и Бентамомъ, и русской исторіей, вопросами о въчахъ и древнемъ славянскомъ бытъ.

И. И. Пущинъ въ своихъ "Запискахъ" свидътельствуетъ объ интересъ молодаго Пушкина къ политикъ: онъ разсказываетъ, что поэтъ весьма обрадовался намъренію Ник. Ив. Тургенева издавать политическую газету, — онъ думалъ участвовать въ ней. Пушкинъ старался попасть и въ члены "Союза благоденствія". Но замъчательно, что его туда не приняли; не приняли его въ тайное общество и впослъдствіи на югъ. Семь лътъ стоялъ онъ такъ-сказать среди заговора, будучи знакомъ и даже друженъ съ нъкоторыми главными его представителями; но самъ сдълаться заговорщикомъ, вопреки своему желанію, никакъ не могъ. Это обстоятельство обыкновенно объясняютъ молчаливымъ условіемъ членовъ общества—предоставить Пушкина его призванію, спасти отъ случайностей его талантъ; но трудно сказать—такъ-ли это было, или дъятели политическихъ обществъ просто не довъряли сдержанности и серьезности поэтовъ вообще, а Пушкина въ особенности? 1).

<sup>4)</sup> См. Рус. Стар. 1880 г. янв., стр. 130 Слова ред. объ отзыважь о Пушкинѣ Горбачевскаго и Бестужева.

Раздосадованный неудачей и сильно желая составить себъ политическое положение, Пушкинъ сталъ писать политические памфлеты и эпиграммы 1). Къ этому побуждало его еще желаніе выдвинуться изъ толпы, На упреки и предостереженія родныхъ онъ отвъчаль, что безъ шума никто изъ толпы не выходиль. Его произведения этого рода не нмѣютъ серьезнаго характера и значенія; но они сильно распространялись въ обществъ и наконецъ вызвали гнъвъ государя. Откровенно высказывая свои политическія уб'єжденія встр'єчному и поперечному, Пушкинъ имълъ неосторожность на масляной 1820 года показывать въ театръ своимъ знакомымъ портретъ Лувеля, убійцы герцога Беррійскаго, — это было каплей, переполнившей чашу, и судьба поэта могла сдълаться очень печальной: ему грозили ссылка или заточение въ монастыръ. Только чистосердечие его и заступничество вліятельныхъ друзей и знакомых в спасли его. Призванный къ гр. Милорадовичу (ген.-губернатору), онъ написалъ ему (по разсказу Ө. Н. Глинки) 2) всѣ свои политическія эпиграммы. Восхищенный этимъ поступкомъ, Милорадовичъ, представляя тетрадь государю, замолвиль слово за поэта. За него ходатайствовали еще Энгельгардть и Карамзинъ. Первый, встрътившись съ императоромъ въ Царскосельскомъ саду, въ отвътъ на вопросъ государя о Пушкинъ просилъ пощадить въ немъ развивающийся необыкновенный талантъ. Но главнымъ образомъ, кажется, дело было устроено Карамзинымъ, котораго просили о заступничествъ самъ Пушкинъ и П. Я. Чаадаевъ. Пушкинъ покорно выслушалъ упреки и наставленія знаменитаго историка и утвердительно отвъчалъ на его вопросъ: "Можете-ли вы, по крайней мірів, об'єщать мнів, что впродолженій года не напишете ничего противнаго правительству? Иначе я выйду лжецомъ, прося за васъ и говоря о вашемъ расканни".--Пушкинъ былъ спасенъ отъ ссылки и вмёсто того переведень по службё въ Екатеринославъ въ Канцелярію Главнаго Попечителя колонистовъ южнаго края генерала Ивана Никитича Инзова.—5-го мая 1820 г. поэтъ получилъ изъ мъста своего служенія, Коллегін Иностранныхъ Дёлъ, видъ на проёздъ и поскакалъ на югь, по бълорусскому тракту, въ красной рубашкъ и опояскъ, въ поярковой шлянъ (по словамъ Записокъ Пущина). Онъ, кажется, съ некоторымъ удальствомъ или напускнымъ пренебрежениемъ отнесся къ перемънъ своей участи. Передъ отъъздомъ онъ зашелъ къ Чаадаеву проститься; но узнавъ, что тоть спить, не вельль его будить;

<sup>4)</sup> Дей эпиграмми на Аракчеева, отрывока иза пъсенки "Noël" (пода загл. "Сказки") напечатаны въ Соч. Иушкина з изд. Исакова (I, 205 и 316). "Ода на свободу" см. "А. С. Пушкина". I, М. 1881 г. стр. 92—93. (Также Соч. И—на, изд. 1880 г. т. у).

<sup>2)</sup> Удаленіе А. С. Пушкина изь Спб. въ 1820 г. (Русск. Арх. 1866 г., стр. 917—922).—Подробности о высылкъ поэта см. еще тамъ-же, ст. г. Бартенева "Пушкинъ въ Южной Россіи" (стр. 1089 и слъд.).—Біогр. Пушкина въ "Рус. Стар." 1879 г. іюнь.

"стоило-ли будить изъ-за такой бездѣлицы"? писаль онъ потомъ своему другу въ отвѣтъ на его упреки за этотъ поступокъ. — Карамзинъ сильно не одобралъ поведенія Пушкина въ Петербургѣ и, кажется, съ нѣкоторымъ сомнѣніемѣ смотрѣлъ на его будущность. 17-го мая 1820 г. онъ писалъ кн. Вяземскому:

"А. Пушкинъ былъ нѣсколько дней совсѣмъ не въ пінтическомъ страхѣ отъ своихъ стиховъ на свободу и нѣкоторыхъ эпиграммъ. Далъ мнѣ слово уняться и благополучно поѣхалъ въ Крымъ мѣсяцевъ на пять; ему дали рублей тысячу на дорогу. Онъ былъ, кажется, тронутъ великодушіемъ государя, дѣйствительно трогательнымъ. Долго описывать подробности; но если Пушкинъ и теперь не исправится, то будетъ чертомъ еще до отбытія своего въ адъ. Увидимъ, какой эпилогъ напишетъ къ своей поэмкѣ!" 1).

Отъвздомъ изъ свверной столицы оканчивается первая, подражательная, бурная и полная ошибокъ, колебаній и заблужденій эпоха жизпи будущаго великаго поэта.—Увзжая на югъ, онъ могъ повторить написанные имъ въ 1818 г. стихи "Про себя":

Великимъ быть желаю, Люблю Россіи честь, Я много объщаю, Исполию-ли—Богъ въсть!

<sup>1)</sup> А. С. Пушкинъ, по докум. Остаф. архива. Кв. П. П. Вяземскаго. 1, стр. 23.

## ГЛАВА П.

Югъ. — Байронизмъ.

(1820-1824 rr.). 1)

1.

Съ прівздомъ на югъ не только измѣняется внѣшняя сторона жизни Пушкина, но и начинается новое направленіе въ его внутреннемъ, духовномъ бытіи.

Почти одновременно съ прітадомъ поэта въ Екатеринославъ генералъ Инзовъ былъ назначенъ Исправляющимъ должность Полномочнаго Намъстника Бессарабской области; комитетъ колонистовъ, которымъ завъдовалъ Инзовъ, былъ вслъдствіе этого переведенъ въ Кишиневъ, главный городъ Бессарабін.—Въ Екатеринославѣ Пушкинъ заболѣлъ лихорадкою; лишенный необходимаго ухода и медицинской помощи, онъ боролся съ недугомъ почти одинскій. Но на его счастье въ городъ пріъхало семейство генерала Раевскаго, извъстнаго героя отечественной войны, съ сыновьями котораго Пушкинъ былъ знакомъ. Благодаря участію Раевскаго и помощи его врача Рудыковскаго, поэтъ поправился, ожиль духомь, и имь овладёло веселое настроеніе. Обстоятельства тоже улыбнулись ему: онъ получилъ позволение ъхать съ Раевскими на Кавказъ. Какъ весело было у него на душъ, свидътельствуютъ его шалости этой поры. Такъ напр. Рудыковскій разсказываеть въ своихъ запискахъ, что въ Горячеводскъ поэтъ отмътилъ въ книгъ, въ которую вписывались имена посттителей водь, его, Рудыковскаго, лейбъ-медикомъ, а себя-недорослемъ.

<sup>1)</sup> Главныя пособія для изученія этой эпохи: "Пушкинь вь Южной Россін" г. Бартенева ("Рус. Арх." 1866 г.).—"Изъ дневника и воспоминаній И. И. Липранди" (тамъже).—"Г-жа Ризничь и Пушкинь", ст. К. Зеленецкаго ("Рус. Вѣст." 1856 г. кн. 11).—
"Изъ воспоминаній Вельтмана о времени пребыванія 11—на въ Кишиневѣ". ("Вѣстн. Евр. 1881 г. № 3) и друг.

Кавказъ произвелъ на Пушкина сильное внечатленіе. 20 сентября 1820 года онъ писалъ брату Льву Сергъевичу изъ Кишинева: "Жалью, мой другь, что ты со мною вмёстё не видаль эту великоленную цёнь горъ, ледяныя ихъ вершины, которыя издали на ясной зарѣ кажутся странными облаками, разноцевтными и неподвижными; жалбю, что не всходилъ со мною на острый верхъ пятихолмнаго Бешту, Машука, Желъзной горы, Каменной и Змъчной. Кавказскій край, знойная граница Азіи, любопытенъ во всёхъ отношеніяхъ. За нами тащилась заряженная нушка съ зажженнымъ фитилемъ. Хотя черкесы ныньче довольно смирны, но нельзя на нихъ положиться; въ надеждъ большаго выкупа, они готовы напасть на извъстнаго русскаго генерала... Ты понимаешь, какъ эта тънь опасности нравится мечтательному воображенію 1.—Кавказъ плѣнилъ поэта своей грандіозной природой и, между прочимъ, своей дикостью и простотою. Въ написанномъ нѣсколько лѣтъ спустя "Путешествіи въ Арзрумъ" Пушкинъ замѣчаетъ: "Признаюсь, кавказскія воды представляють нын'в бол'ве удобностей, но мн'в было жаль ихъ прежняго дикаго состоянія; мнё было жаль крутыхъ каменныхъ тропинокъ и неогороженныхъ пропастей, надъ которыми, бывало, я карабкался".-- Подъ такими впечатленіями написаль поэть эпилогь "Руслана и Людмилы".

Забытый светомь и молвою, Далече отъ бреговъ Невы, Теперь я вижу предъ собою Кавказа гордыя главы. Надъ ихъ вершинами крутыми, На скать каменныхъ стремнинъ, Питаюсь чувствами измыми И чудной прелестью картинъ Природы дикой и угрюмой. Душа, какъ прежде, каждый часъ Полна томительною думой; Но огнь поэзін погасъ. Ищу напрасно впечатльній! Она прошла, пора стиховъ; Пора любви, веселыхъ сновъ, Пора сердечныхъ вдохновеній! Восторговъ краткій день протекъ-И скрылась отъ меня навѣкъ Богиня тихихъ пфснопфній...

Вопросъ Карамзина объ "эпилогъ къ поэмкъ" разръшился въ благопріятную для поэта сторону: изъ этихъ стиховъ видно, что душу Пушкина поразили новыя, свъжія и сильныя впечатльнія, и поразили такъ, что онъ, на первыхъ порахъ, не находилъ внѣшней формы для ихъ вопло-

<sup>1)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 71.

щенія, не находиль стиховь, почему даже усомнился—не исчезь-ли его дарь?

Съ Кавказа Пушкинъ отправился въ Крымъ черезъ землю Черноморскихъ казаковъ. Три недёли провель онъ въ Юрзуфѣ въ семействѣ генерала Раевскаго. Эти три недёли были счастливѣйшимъ временемъ его жизни. Здѣсь воспринялъ опъ цѣлый рядъ могущественнѣйшихъ впечатлѣній, глубоко вошедшихъ въ душу и опредѣлившихъ его будущую дѣятельность. Природа Крыма восхитила поэта, онъ очарованъ былъ ея моремъ, ея "стройными тополями", "нѣжными миртами" и "темными кипарисами".

"Суди, былъ-ли я счастливъ (писалъ онъ нѣсколько времени спусти брату) 1): свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства; жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное пебо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображеню, горы, сады, море; другъ мой, любимая моя надежда увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго".

"Я любилъ (писалъ поэтъ Дельвигу) <sup>2</sup>), проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался цѣлые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ кипарисъ; каждое утро я посѣщалъ его и къ нему привязался чувствомъ, похожимъ на дружество".

Впоследствін, въ чудныхъ стихахъ одной изъ последнихъ главъ "Онетина", Пушкинъ вспоминаетъ, какъ муза водила его "по брегамъ Тавриды"

слушать шумъ морской, Немолчный шопотъ Нерепды, Глубокій, въчный хоръ валовъ, Хвалебный гимиъ Творцу міровъ.

О другѣ его кипарисѣ сложилось въ Крыму поэтическое преданіе <sup>3</sup>), прекрасно пересказанное стихами Некрасовымъ (въ поэмѣ "Русскія женщины"):

Пушкина слёдъ
Въ туземной легендъ остался:
"Къ поэту леталъ соловей по ночамъ,
Какъ въ небо лупа выплывала,
И вмъстъ съ поэтомъ онъ пълъ—и пъвцамъ
Впимая, природа смолкала!
Потомъ соловей—повъствуетъ народъ—
Леталъ сюда каждое лъто:
И свищетъ, и плачетъ, и словно зоветъ
Къ забытому другу поэта!

i) "Пушкинъ въ Южной Россіп", г. Бартенева, (Русск. Арх. 1866 г.), стр. 1117.

<sup>2)</sup> Тамъ-же.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, стр. 1117-1118.

Но умеръ поэтъ-прилетать пересталь Пернатый певецъ... Полный горя, Съ техъ норъ кинарисъ спротою стояль, Внимая лишь роиоту моря..." Но Пушкинъ надолго прославилъ его: Туристы его навѣщають, Садятся подъ нимъ и на-намять съ него Душистыя вътки срываютъ...

Остатки древняго греческаго искусства въ Крыму тоже сильно дъйствовали на впечатлительную душу Пушкина. Объ этомъ упоминаетъ онъ въ письмахъ къ брату и Дельвигу и поэтически говоритъ въ стихотвореніи (1820 г.) "Чаадаеву":

> Къ чему холодныя сомнънья? Я верю: здёсь быль грозный храмъ, Гдѣ крови жаждущимъ богамъ Дымились жертвоприношенья; Здесь успокоена была Вражда свирфпой Эвмениды: Здёсь провозвёстница Тавриды На брата руку занесла 1)

Въ дом' Раевскихъ въ Юрзуф' нашлась старинная библіотека, въ которой Пушкинъ тотчасъ отыскалъ сочинения Вольтера и началъ ихъ перечитывать <sup>2</sup>). Но Вольтеръ уже утратилъ свою прежиюю власть надъ нимъ. -- Апол. Григорьевъ совершенно справедливо говоритъ, что нодъ вліяніемъ классическаго міра чувственная струя въ Пушкинѣ стала перерождаться въ художественный пластицизмъ древности. Яркимъ свидътельствомъ этого могуть служить напр. стихотворенія "Виноградъ", "Нереида".

1) Кстати надо указать на одну ошибку Добролюбова. Стихотворение оканчивается такъ:

> Чадаевъ, помнишь-ли былое? Давно-ль съ восторгомъ молодымъ Я мыслиль пия роковое Предать развалинамь инымъ? Но въ сердцъ, бурями смиренномъ, Теперь и лінь и тишина, И въ умиленьи вдохновенномъ На камив, дружбой освященномъ, Пишу я наши имена.

Критикъ (Соч. изд. 1871 г., т. І, стр. 526-527), отнеся стих-е къ концу д'яятельности Цушкина, видить въ приведенныхъ стихахъ новое настроеніе поэта-примпреніе его съ житейской пошлостью; а между темь слова "нимя развалины" и т. д. надо, по всей въроятности, понимать, какъ намекъ Пушкина на свои легкомисленныя петербургскія революціонныя стремленія, смирившіяся под'я вліяніемъ неудачь и новыхъ впечатліній.

2) "Пушкинь въ Юж. Рос.", стр. 1115.

пушкинъ въ его поэзін.

Среди зеленыхъ волнь, лобзающихъ Тавриду, На утренией зарѣ я видѣлъ Нереиду. Сокрытый межь оливъ, едва я смѣлъ дохнуть: Надъ ясной влагою полубогиня грудь Младую, бѣлую, какъ лебедь, воздымала И пѣну изъ власовъ струею выжимала.

Исчезновенію чувственной струи изътворчества Пушкина способствовало также начавшееся въ это время вліяніе на него Байрона и, главнымъ образомъ, зародившееся въ ту-же пору въ его душѣ возвышенное, идеально-чистое чувство любви къ какому-то неизвѣстному намъ лицу.

"Къ воспоминаніямъ о жизни въ Юрзуфѣ песомнѣнию относится (говоритъ г. Бартеневъ) <sup>1</sup>) тотъ женскій образъ, который безпрестанно является въ стихахъ Пушкина, чуть только онъ вспомнить о Тавридѣ, который занималь его воображеніе три года сряду, преслѣдоваль его до самой Одессы, и тамъ только смѣнился другимъ... Но то была святыня его души, которую онъ строго чтилъ и берегъ отъ чужихъ взоровъ... Мы не можемъ опредѣлительно указать на предметъ его любви; ясно однако, что встрѣтилъ онъ его въ Крыму и что любилъ безъ взаимности".

Послъдняя мысль біографа поэта болье чымь сомнительна, равно какъ сомнительно и то, что именно этимъ чувствомъ вызваны приводимыя далье г. Бартеневымъ стихи: "Нереида".

Но несомнѣнно, что къ таинственно и свято любимой дѣвушкѣ относится элегія 1820 г. "Р<sub>і</sub>ѣдѣетъ облаковъ летучая гряда". Здѣсь поэть обращается къ "вечерней звѣздѣ":

Люблю твой слабый свёть въ небесной вышині; Онь думы разбудить уснувшія во мні. Я помню твой восходь, знакомое свётило, Надь мирною страной, гді все для сердца мило, Гді стройно тономи въ долинахъ вознеслись, Гді дремлеть ніжный мирть и темный кинарись. И сладостно шумять таврическія волны. Тамь ніжогда въ горахъ, сердечной думы нолный, Надь моремь я влачить задумчивую лінь, Когда на хижины сходила ночи тінь, И діва юная во мглі тебя искала И именемь своимь подругамь называла.

Для печати поэтъ замѣнилъ въ одномъ стихѣ слово "таврическія" словомъ "полуденныя" и очень огорчился, когда помимо его вѣдома и воли на страницахъ "Полярной Звѣзды" 1824 года появились и три послѣдніе стиха, которые онъ хотѣлъ сохранить въ-тайнѣ. Онъ писалъ по этому случаю издателю названнаго альманаха, А. А. Бестужеву:

<sup>1) &</sup>quot;Пушкинъ въ Юж. Рос.". Стр. 1118.

"Мнѣ случилось когда-то быть влюблену безъ памяти. Я обыкновенно въ такомъ случав пишу элегіи, какъ другой... Богъ тебя простить, но ты осрамилъ меня въ нынѣшней "Звѣздѣ", напечатавъ три послѣдніе стиха моей элегіи... Что-жъ она подумаетъ?.. Обязана-ли она знать, что она мною не названа... что элегія доставлена тебѣ Богъ знаетъ кѣмъ и что никто не виноватъ. Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ" ¹).

Судя по первымъ словамъ этого отрывка изъ письма, любовь поэта уже—дѣло прошлое; послѣднія-же слова свидѣтельствуютъ о другомъ: Пушкинъ и здѣсь хранитъ тайну. Послѣднія слова письма говорятъ намъ и о глубоко-серьезномъ характерѣ чувства поэта.—Должно быть тому-же лицу хотѣлъ посвятить онъ и недоконченныя стихотворенія:

На берегу, гдѣ дремлеть лѣсъ священный, Твое я нмя повторяль; Тамъ часто я бродиль уединенный И вь даль глядѣлъ... и милой встрѣчи ждаль.

и потомъ другое:

... И чувствую, душа [моя] Твоей любви, тебя достойна; Зачёмъ-же не всегда [она] Чиста, печальна и покойна?.. <sup>2</sup>).

Быть можеть къ ней-же, къ той-же любимой женщинъ, относится, судя по удивительной чистотъ и ясной красотъ содержанія и тона, написанная въ Юрзуфъ элегія:

> Увы, зачёмъ она блистаетъ Минутной, нежной красотой! Она примътно увядаетъ Во цвътъ юности живой... Увянетъ! Жизнью молодою Не долго наслаждаться ей, Не долго радовать собою Счастливый кругь семьи своей, Безпечной, милой остротою Бесъды наши оживлять, И тихой, ясною душою Страдальца душу услаждать. Спфшу въ волнены думъ тяжелыхъ, Сокрывь уныніе мое, Наслушаться рачей веселыхъ И наглядъться на нее. Смотрю на всв ед движенья, Внимаю каждый звукъ ръчей,-

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 1119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. Пушкина. Изд. 1880 г. т. І. Стр. 326. "Отрывки".

И мигъ единый разлученья Ужасенъ для души моей <sup>1</sup>).

Но едва-ли тому-же лицу посвящены стихи:

О дева-роза, я въ оковахъ...

по крайней мёрё чувство въ нихъ не такъ глубоко и тонъ ихъ почти шутливый, при всемъ его благородстве и при всей художественности формы стихотворенія.—Къ таинственной любви поэта въ Тавриде придется намъ вернуться еще не разъ: могучимъ потокомъ, яркимъ лучомъ прошла она по всей его жизни и по всей деятельности.

Исторія вліяла на Пушкина въ Крыму не только путемъ впечатлѣній отъ слѣдовъ античнаго искусства, а также и путемъ бесѣдъ състарикомъ Раевскимъ. Въ послѣднемъ случаѣ это была уже исторія новая русская.

"Отъ Раевскаго онъ наслушался (говоритъ г. Бартеневъ) <sup>2</sup>) разсказовъ про Екатерину, XVIII вѣкъ, про наши войны и про 1812 годъ. Нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ были записаны Пушкинымъ и дошли до насъ, какъ важныя историческія черты и, въ то-же время, какъ доказательства высокой любознательности поэта".

Въ ту-же пору сталъ вліять на Пушкина великій англійскій писатель, тогдашній кумиръ Европы, Байро'н'ь Пушкинъ принялся, увлекшись его геніемъ, и за изученіе англійскаго языка. Первый слѣдъ вліянія Байрона мы видимъ на элегіи "Погасло дневное свѣтило", которую самъ Пушкинъ первоначально озаглавилъ "Подражаніе Байрону". Стихотвореніе это написано (по показанію поэта въ письмѣ къ брату отъ 24 сент. 1820 г.) на морѣ дорогою въ Юрзуфъ. Оно свидѣтельствуетъ и о правственномъ перерожденіи Пушкина. Поэтъ вспоминаетъ въ элегіи о своей прежней жизни, о столицѣ,

Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла

ero

потерянная младость,

и дальше говорить:

Искатель повых в внечатленій,

Я васт бёжаль, отечески крал,
Я васт бёжаль, питомцы наслажденій,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперстницы порочных заблужденій,
Которымъ безъ любви я жертвоваль собой,
Покоемъ, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, измённицы младыя,
Подруги тайныя моей весны златыя,
И вы забыты мной...

і) Г. Ефремовь въ своихъ примъчаніяхъ (въ І т. послъд. изд. Соч. П—на) относитт то с тихотвореніе къ Еленъ Ник. Раевской. Почему?

<sup>2) &</sup>quot;Pyc. Apx." 1866 r. Crp. 1117,

Поэтъ бросилъ порочныя увлеченія; но въ душѣ его (по его словамъ) осталось прежнее чистое чувство:

... Но прежнихъ сердца ранъ, Глубокихъ ранъ любви ин что не измънило...

Нѣкоторые стихи этой элегін—несомнѣнное подражаніе "прощальной пѣснѣ" Чайльдъ-Гарольда, покидающаго берега Англін:

Я вспомниль прежнихъ лёть безумную любовь, И все, чёмъ я страдаль, и все, что сердцу мило, Желаній и надеждъ томительный обманъ... Шуми, шуми, послушное вётрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ! 1)

Увлеченіе Пушкина страстнымъ, тревожнымъ, гордымъ чувствомъ поэзіи Байрона гармонируетъ съ увлеченіемъ грандіозной и могучей природой Кавказа и Крыма.

Для выясненія вліянія Байрона на Пушкина мы должны остановиться нісколько на характеристикі великаго европейскаго поэта.

Интересно сравнить мивнія о немъ двухъ критиковъ: французскаго—Тэна и нашего—Апол. Григорьева. Оба они согласны, что Байронъ—поэтъ личности, личнаго чувства; что его поэзія, затвиъ, есть горичій протесть противъ лицемврія и условной правственности современнаго ему общества; и наконецъ, оба критика видятъ въ поэзіи Байрона тоску и отчанніе. Но они глубоко расходятся въ объясненіи причинъ этихъ тоски и отчаннія.

Тэнъ говоритъ <sup>2</sup>), что чувства героевъ Байрона—это чувства самого ноэта, и оттого онъ, въ сущности, создалъ только одного героя: Чайльдъ-Гарольдъ, Глуръ, Корсаръ, Манфредъ, Сарданапалъ, Каинъ, Тассо, Данте и другіе—это одинъ и тотъ-же человѣкъ, только въ разныхъ костюмахъ, окруженный различными пейзажами. Характеристическія черты этого человѣка—"энергія и закаленная гордость"; съ ними стоитъ опъ одиноко, безъ всякой другой опоры,

"подъ вліяніемъ самыхъ страшныхъ несчастій, въ виду кораблекрушенія, пытки, смуть, въ виду своей собственной медленной и бол'єзненной кончины, горькой смерти самыхъ близкихъ его сердцу, съ сопутствующими ему всегда угрызеніями сов'єсти, среди мрачной перспективы ожидающей въчности" 3).

<sup>1)</sup> Соч. Байрона въ переводахъ русскихъ поэтовъ. Изд. подъ ред. Гербеля. Спб. 1874 г.—т. I, "Чайльдъ-Гарольдъ". Срави, стр. 187—189.

<sup>2)</sup> См. "Критическіе опыты" Тэпа. Перев. подъ ред. В. Чуйко. Спб. 1869 г. Статья о "Лордів Байронів". Стр. 379—380.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, стр. 395.

Этотъ герой—самъ поэтъ. Байронъ "былъ слишкомъ погруженъ въсамого себя, чтобъ заняться къмъ-нибудь другимъ". Себя-же, свою-же личность, кромъ лирическихъ изліяній, выражалъ онъ и въ происшествіяхъ и въ дъйствіяхъ своихъ произведеній. "Среди происшествій онъ искалъ самыхъ могучихъ, среди дъйствій—самыхъ сильныхъ").

Выше всёхъ поэмъ Байрона Тэнъ ставитъ поэму "Манфредъ", которую называетъ "младшей сестрою величайшей поэмы нынъшняго столътія—Фауста Гёте" <sup>2</sup>). Французскій критикъ сравниваетъ два произведенія и двухъ поэтовъ.

Гёте въ своемъ "Фаустъ" (говорить онъ) "заботливо, нѣжно идетъ по слѣдамъ старыхъ обычаевъ и старыхъ вѣрованій". Но въ сущности онъ скентикъ; главный смыслъ его поэмы—въ скрытой въ ней идеѣ, идеѣ, которая все изображаемое поэтомъ разлагаетъ и анализируетъ; цѣль Гёте—понять преданіе, понять жизнь.

Въ этомъ отношеніи "Манфредъ" Байрона гораздо ниже: англійскій поэтъ изобразиль прекрасно въ своемъ произведеніи только себя, только свою личность. Но зато эта личность грандіозна и могущественна въ сравненіи съ Фаустомъ, какъ человѣкомъ, а не выраженіемъ человѣчества, или человѣческой анализирующей мысли. Какъ человѣкъ, какъ герой, Фаустъ представляется намъ исполненнымъ внутреннихъ противорѣчій, безхарактернымъ, чуждымъ всякаго дѣла, только изучающимъ оттѣнки своихъ чувствъ, даже болтуномъ и трусомъ. У него нѣтъ воли; это—нѣмецкій характеръ. Совсѣмъ другое—Манфредъ. Основа души его—непоколебимая воля.

"Я, непоколебимое я, удовлетворяющее самого себя, надъ которымъ ничто не имѣетъ власти, ни демоны, ни люди, единственный творецъ собственнаго добра и собственнаго зла, нѣчто въ-родѣ страдающаго и надшаго бога" 3).

По зам'єчанію духовъ въ поэм'є, онъ въ сидахъ превозмочь водей невыносимыя страданія.

если бы какъ духи быль онъ созданъ, То сталъ бы величайшимъ самымъ духомъ.

Поэтъ личности, поэтъ воли, Байронъ—истинный народный писатель, выразитель англійскаго характера; между тѣмъ какъ Гёте—настоящій представитель германской національности.

Другая характерная черта поэзіи Байрона—протесть противъ лицемѣрной, условной нравственности англійскаго и вообще европейскаго общества.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Тамъ-же, стр. 380, 389.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, стр. 416-417.

Этотъ протестъ съ наибольшею силой выразился въ романъ "ДонъЖуанъ". Здъсь Байронъ борется съ англійской чопорностью и педантствомъ и съ человъческою ложью вообще. Онъ какъ-бы говоритъ обществу своимъ созданіемъ:

"существуетъ цѣлы́й міръ рядомъ съ вашимъ... Ваши правила узки и ваше педантство деспотично; человѣческое дерево можетъ развиваться иначе, не только въ вашихъ клѣткахъ и подъ вашими снѣгами" ¹).

Англійская чопорность была возмущена скандальнымъ выборомъ героя. Но ужаснѣе всего въ романѣ то, что этотъ герой, Донъ-Жуанъ, "вовсе пе золъ, не эгоистъ, не гадокъ, какъ его собратья. Онъ не соблазняетъ, онъ не развратникъ"; онъ только "при удобномъ случаѣ отдается своему чувству", потому что "у него есть сердце и нервы". 2). "Главный-же ядъ книги (продолжаетъ Тэнъ) въ томъ, что рядомъ съ Донъ-Жуаномъ вы имѣете донну Джулію, Гаиде, Гюльбею, Дуду и проч.". Въ любовныхъ похожденіяхъ этихъ лицъ съ героемъ явилась красота, а "развѣ найдется предметъ, котораго-бы красота не обоготворяла?.. То, что было грубо, дѣлается благородно" подъ ея рукой. Что на все это скажутъ "ходящіе въ бѣлыхъ галстухахъ? Во всякомъ случаѣ читать нужно, не смотря на всю досаду"... 3).

Другой смыслъ романа "Донъ-Жуанъ", это—выраженіе разочарованія поэта въ человѣкѣ, выраженіе его отчаянья. Байронъ попялъ жизнь—и "мечты его юношескаго воображенія испарились". Онъ понялъ, что въ человѣкѣ не изобилуетъ возвышенное, что великія чувства, напримѣръ чувства Чайльдъ-Гарольда, не представляють "обыденную нить жизни".

"Истина состоитъ въ томъ, что человѣкъ лучшую часть времени употребляетъ на ѣду, спанье, зѣванье, утомительную работу и на удовольствія обезьяны. Это—животное; за исключеніемъ двухъ-трехъ исключительныхъ минутъ имъ водять его нервы, кровь, инстинкты" 4).

"Цивилизація, воспитаніе, размышленіе, здоровье покрывають насъсвоими ровными лакированными покрывалами; снимите ихъ другь за другомъ, или всѣ разомъ, и тогда мы судорожно расхохочемся, увидъвши, что подъ ними скрывается скотъ" 5).

Животныя отправленія и потребности изгоняють изъ человѣка возвышенныя, или духовныя чувства и стремленія. Потому поэть въ романѣ обращается (съ отчаянья) въ скептика и даже циника. (Таковъ, напр., онъ, когда утверждаетъ, "что Пенелопа только потому такъ



<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 424.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, стр. 426.

<sup>4)</sup> Тамъ-же, стр. 430.

<sup>5)</sup> Тамъ-же, стр. 432-434.

извѣстна, что единственна въ своемъ родѣ"). Байронъ разрушаетъ и осмѣиваетъ въ своемъ романѣ все содержаніе человѣческой жизни, не пощадивши даже, самъ поэть, и поэзію.

"Онъ находить вѣнецъ своего таланта и успокоеніе своему сердцу только въ поэмѣ, вооруженной противъ всѣхъ человѣческихъ и поэтическихъ условій".

Среди этихъ обломковъ остается только онъ самъ, одинъ, сильная и необузданная личность.

Такая жизнь, когда человѣкъ "хохочетъ среди слезъ"—признакъ болѣзни. Она ведетъ или къ сумасшествію, или къ отвращенію отъ бытія 1). Съ Байрономъ случилось послѣднее.—Тэнъ называетъ Байрона "одною изъ славнѣйшихъ жертвъ болѣзни вѣка". А этой болѣзнью вѣка считаетъ онъ идею, будто "существуетъ какая-то уродливая дисгармонія между частями нашей организаціи и что этой дисгармоніей испорчена вся судьба человѣка" 2), говоря проще, что существуетъ противорѣчіе въ человѣкѣ между тѣломъ и духомъ.

Байронъ запутался въ этой идев, какъ путались до сихъ поръ всв мы, потому что (объясняетъ Тэнъ) "брали учителями пророковъ и поэтовъ и, какъ они, считали непреложной истиной благородныя мечты нашего воображенія и порывистыя внушенія нашего сердца". Дѣло можетъ поправить, по мнѣнію критика, наука, которая теперь вышла изъ "міра звѣздъ, камней и растеній" и сдѣлала своимъ предметомъ человѣка. Наука же приводитъ къ тому заключенію, что "человѣкъ не выкидышъ и не уродъ"; нечего "издѣваться надъ нимъ и проклинать его"; а надо посмотрѣть лучше—какъ онъ "возникаетъ и какъ растетъ", и мы поймемъ, что

"онъ такой же продуктъ, какъ и всякій другой предметъ, и въ силу этого имѣетъ свою причину быть такимъ, какимъ есть <sup>3</sup>)... Въ этомъ пониманіи вещей (самоувѣренно и самодовольно заключаетъ французскій писатель) лежитъ новое искусство, правственность, политика, религія" <sup>4</sup>).

Русскій критикъ глубже посмотрѣлъ на причины горькой ироніи и отчаянья Байрона <sup>5</sup>). Аполлонъ Григорьевъ такъ объясняетъ поэта: Байронъ "пенавидѣлъ маску ханжества и лицемѣрія", и потому

"все, что дотолѣ, т. е. до байронизма, нѣкоторымъ образомъ скрывалось или порицалось, порицалось даже и тѣми, которые не вѣрили

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 435-438.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, 439.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же.

<sup>4)</sup> Тамъ-же, стр. 439-441.

<sup>5)</sup> Соч. Апол. Григорьева, т. І, «О правдѣ и искренности въ искусствѣ. По поводу одного эстетическаго вопроса. Письмо къ А. С. Хомякову". Стр. 154 и слъд.

ни во что святое: безбожіе, эгоизмъ, сухая гордость, злобная пронія къ людямъ, безстыдство отношеній къ женщинамъ,—все то, однимъ словомъ, что прежде выступало подъ благопристойною маскою самой чинной правственности... все это явилось безъ маски въ байронизмѣ и прямо сказало міру: поклоняйся мнѣ откровенному, какъ ты доселѣ поклонялся мнѣ прикрытому".

Байронъ сказалъ это въ своей поэзіи съ искреннимъ увлеченіемъ, потому что самъ былъ "развращенъ ученіями и опытами вѣка". Но въ то-же время поэтическая натура его не могла (именно потому, что поэтическая) "принять спокойно обоготвореніе эгонзма", и это выразилось въ немъ "тоской или иропіей".

"Можно сказать (прибавляетъ критикъ), что самая крайность неправды была слъдствіемъ правдивости и поэтичности натуры Байрона... поэтъ, чъмъ носить маску, готовъ былъ лучше клеветать на самого себя: таковъ онъ, когда смъется своимъ сатанинскимъ хохотомъ надъ тъмъ, что матросы съъли Донъ-Жуанова учителя; таковъ онъ, поющій неистовый гимнъ чувственности по поводу любви Донъ-Жуана и Гайде; таковъ онъ въ анализъ отношеній леди Аделины къ Жуану. Все это напряженіе, клевета на самого себя и на душу человъческую".

Въ поэзіи Байрона была правда, была и неправда, и "стало быть безправственность по-стольку, по-скольку неправда". Сила его и истина въ его энергіи, въ могуществѣ его личности.

"Поколѣ человѣчество способно мучительно любить, глубоко чувствовать оскорбленіе и жажду мести, стенать посреди мукъ и гордо подымать голову предъ сѣкирою палача—до тѣхъ поръ оно будетъ жадно читать и Гаура, и исповѣдь Уго передъ казнію въ "Паризинѣ". Доколъ живетъ въ человѣческомъ духѣ необузданное стремленіе, готовое иногда ломать всѣ преграды, полагаемыя условнымъ общежитіемъ, дотолѣ будуть обаятельно дѣйствовать на людей мрачные образы Корсара, Лары, Чайльдъ-Гарольда, Альпо и иныхъ чадъ мятежной души поэта".

Байронъ былъ "пламенный поэтическій протестъ личности противъ всего условнаго въ окружавшемъ его общежитіи". Великая сила его—въ его тоскъ и ироніи.

Но съ другой стороны въ нихъ-же, въ этихъ тоскъ и ироніи, и его слабость, потому что онъ—"горестный плачъ объ утраченныхъ и необрътаемыхъ идеалахъ".

"Въ Байронъ очевидна (говоритъ критикъ далѣе) не безиравственность, а отсутствие иравственнаго идеала, протестъ противъ неправды безъ сознания правды. Байронъ поэтъ отчания и сатанинскаго смѣха, потому только, что не имѣетъ нравственнаго полномочия быть поэтомъ честнаго смѣха, комикомъ, ибо комизмъ есть правое отношение къ неправдѣ жизни во имя идеала, на прочныхъ основахъ покоящагося".

У Байрона не было цёлостнаго взгляда на жизнь и людей, и потому онъ лишенъ быль "возможности суда надъ жизнію", онъ не могъ быть поэтомъ эпическимъ или драматическимъ, "вообще быть чёмъ либо, кромѣ поэта лирическаго".

Но во всякомъ случав (говоритъ критикъ) онъ "можетъ быть судимъ только съ висшей точки зрвнія христіанскаго суда, но не съ точки зрвнія нравственности того общежитія, котораго муза его была казнію"...

Отсутствіе идеала, во имя котораго можно-бы спокойно судить жизнь, Аполлонъ Григорьевъ указываеть не только у Байрона, но и у другихъ великихъ европейскихъ поэтовъ, за исключеніемъ Шекспира и Данте. Не только Байронъ казнилъ "прикрытую мишурной хламидой безнравственностью-же; но такъ поступали на западъ другіе. Шиллеръ, напр.,

"вмѣсто того, чтобы, какъ нашъ Гоголь въ "Ревизоръ", смѣлою кистью начертать картину вопющихъ неправдъ жизни, предпочитаетъ возстать на зло зломъ-же, на безнравственность безнравственностью-же, на мѣ-щанство страшною утопіею "Разбойниковъ". И замѣтьте (прибавляетъ нашъ критикъ очень глубокое замѣчаніе), что тотъ-же самый образъ, который Шиллеръ сначала явилъ разбойникомъ Мооромъ, является потомъ въ свѣтлыхъ призракахъ Позы, Іоганны и Телля".

Точно также и Гёте:

"вивсто того, чтобы просто насмёнться въ комической картине надъмещанской немецкой семейностью, какъ наприм. насмёнлись надъ семейнымъ безобразіемъ наши комики во имя прочнаго идеала семейственности, Гёте создаетъ безнравственную утонію въ своихъ "Wahlverwandschaften".

Интересно сопоставить и сравнить приведенныя мивнія двухъ писателей. — Очевидно, Тэнъ, при всемъ остроуміи и даже глубинѣ своихъ частныхъ замѣчаній, неправъ въ основной своей идеѣ. Отчаянье Байрона онъ объясняетъ увлеченіемъ поэта и общества ошибочной мыслью противорѣчіи въ человѣкѣ духа и тѣла. Нельзя не назвать наивнымъ миѣніе критика, будто эта ошибка произошла оттого, что люди ввѣрящись руководству пророковъ и поэтовъ: неосновательныхъ этихъ людей Тэнъ считаетъ не болѣе, какъ благородными мечтателями. Точно также наивна увѣренность критика, будто въ настоящее время наука доказала отсутствіе этого противорѣчія и объяснила, какъ человѣкъ "возникаетъ и какъ растетъ". Въ этомъ своемъ увлеченіи могуществомъ современной науки критикъ самъ оказался "мечтателемъ".

Апол. Григорьевъ объясняетъ горькую иронію Байрона проще и глубже—отсутствіемъ у поэта положительныхъ идеаловъ, которые не могутъ быть замѣнены подставленною на ихъ мѣсто своею личностью.

Нашъ критикъ, признавая поэтовъ натурами по-преимуществу гар-

моническими и цёльными, характеризул Байрона, приводить мнѣніе о немъ поэтовъ, главнымъ образомъ Пушкина, съ которымъ вполнѣ и соглашается.

"Пушкинъ (говоритъ онъ) представлялъ себѣ этого "властителя думъ" своего поколѣнія въ видѣ моря, обращаясь къ послѣднему:

Опъ былъ, о море! твой пввецъ... Твой образъ былъ на немъ означенъ, Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ, Какъ ты могучъ, глубокъ и мраченъ, Какъ ты инчъмъ не укротимъ.

Въ другихъ случаяхъ онъ называетъ его "поэтомъ гордости" ("какъ Байронъ гордости поэтъ"), и разумъетъ глубоко значение его поэзи, равно какъ и самый ел источникъ:

Лордъ Байронъ прихотью удачной Облекъ въ унылый романтизмъ И безнадежный эгоизмъ".

Соглашаясь съ мивніями Пушкина и Апол. Григорьева, вврно указавшихъ въ Байронв и великое значеніе его личной энергіи, и его гордость и эгоизмъ, и его отчаянье и тоску по утраченнымъ идеаламъ, должно однако сказать, что и критикъ и поэтъ пропустили одну черту творчества "великаго властителя думъ" своего поколвнія, или (по крайпей мърв) мало на эту черту обратили вниманія.

Когда человъкъ сосредоточивается на своей личности, потому-ли, что не хочетъ принять обще-человъческихъ, возвышенныхъ идеаловъ, потому-ли, что не умфетъ найти ихъ, или наконецъ потому, что не можеть найти ихъ, такъ какъ они утрачены самою жизнью, тогда онъ, конечно, ищеть опоры своему нравственному и умственному бытію въ своей личной энергіи и воль. Но туть и кроется для него опасность-Тэнъ увлекается, думая вивств съ Байрономъ, будто его герой (въ частности Манфредъ) такъ силенъ, что можетъ побъдить своею личною волей невыносимыя страданыя. Личность вовсе не такъ могущественна 🖟 въ своемъ одинокомъ бытіи. Она невольно и безсознательно ищетъ опоры себ'я въ общемъ. За отсутствіемъ таковой въ жизни духовной, она находить ее въ жизни внёшней природы. Отсюда глубокое сочувствіе героевъ Байрона и самого творца ихъ съ природой. А такъ какъ одною стороной своей человъкъ принадлежить внъшнему міру, то личность и начинаеть искать себѣ успокоенія и счастья въ этой сторонѣ бытія. Трагическая черта величайшаго произведенія Байрона—романа "Донъ-Жуанъ"---въ томъ и состоить, что чувственная жизнь героя изображена тамъ какъ нъчто идеально-прекрасное, хотя по временамъ у ноэта и мелькаетъ свътлое сознание о всемъ ужасъ такого положения.

Тэнъ тонко подмѣтиль въ романѣ и то, и другое; но онъ счелъ ошиб-кой поэта то, что въ сущности и есть въ немъ истинно-поэтично и возвышенно.

Пушкину, не замѣтившему чувственной черты Байрона (такъ тѣсно связанной въ его поэзіи съ эгонзмомъ и гордостью, со звѣрствомъ многихъ его героевъ), пришлось потомъ, какъ увидимъ, на себѣ, на своей впечатлительной натурѣ испытать ея тяжелое вліяніе.

Но въ эноху, о которой идеть рѣчь, поэтъ нашъ подвергся дѣйствію не этой, а свѣтлой стороны байронизма.

2.

Байронизмомъ проникнута поэма "Кавказскій плѣнникъ". Написана она въ Кишиневъ. Въ сентябръ 1820 г. Пушкинъ пріъхалъ въ Кишиневъ и отсюда черезъ полгода (въ мартъ 1821 г.) писалъ Дельвигу, что кончилъ повую поэму "Кавказскій плѣнникъ" 1). Впрочемъ окончательно отдѣлана опа была въ имѣніи Давыдовыхъ Каменкъ, гдѣ поэтъ гостилъ въ февралѣ 21 года; а начата значительно ранѣе, еще на Кавказѣ 2). Въ ней и выразились кавказскія впечатлѣнія поэта.

Поэма эта можеть быть названа еще дѣтски-незрѣлымъ произведенемъ; въ ней еще нѣтъ художественно очерченныхъ характеровъ; но отъ нея вѣетъ такимъ молодымъ, прекраснымъ, живымъ и горячимъ чувствомъ, что обаяніе ея на читателя неотразимо и теперь, послѣ цѣлаго ряда безконечно высшихъ созданій Пушкина. Въ этомъ смыслѣ она противоположна "Руслану и Людмилъ": самъ Пушкинъ впослѣдствіи, совершенно справедливо, назвалъ холодной свою первую поэму 3).

"Кавказскій плівникъ" написант подт несомнівнымъ вліяніемъ первыхъ двухъ пісенть "Чайльдъ-Гарольда". Поэма сходна съ романомъ Байрона и по характерамъ героевъ, и по содержанію. И Плівнникъ, и Гарольдъ—оба покидаютъ родину, разочаровавшись въ своей прошлой жизни, утомленные ея бурями; обоимъ имъ нравится дикая природа и жизнь дикаго племени. Пушкинъ разсказываетъ, какъ его герой любовался дикой природой Кавказа; съ художественной силой нарисовавши картину грозы, поэтъ говоритъ:

А пленникъ съ горной вышины Одинъ, за тучей громовою, Возврата солнечнаго ждалъ, Недосягаемый грозою,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Матер. г. Анненкова. Стр. 75-76.

<sup>2)</sup> По свидът. г. Ефремова. См. Соч. Пушкина т. І, стр. 552.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Соч. Пушкипа, изд. 1881 г. т. V, стр. 132.

II бури немощному вою Съ какой-то радостью внималь.

Точно также и герой Байрона <sup>2</sup>) любиль

Бродить межь пропастей по скаламь, Всходить до самых облаковь, Инть межь народомъ одичалымъ, Не знавшимъ рабства и оковъ, Следить въ горахъ за дикимъ стадомъ, Съ нимъ уходить въ дремучій боръ, Сидеть склонясь падъ водопадомъ, Инть безъ людей въ ущельяхъ горъ, Сиускаться къ пропастямъ глубокимъ...

Вниманіе Пушкинскаго Иленника привлекаль чудный народь, къ которому онъ попалъ въ неволю.

Межь горцевъ иленникъ наблюдалъ Ихъ веру, правы, воспитанье, Любилъ ихъ жизни простоту, Гостепримство, жажду брани, Движеній вольныхъ быстроту, И легкость ногъ, и силу длани...

Съ увлечениемъ разсказываетъ поэтъ далѣе о гостепримствѣ горцевъ,— и точно также Байронъ говоритъ о гостепримствѣ суліотовъ, къ скаламъ которыхъ буря принесла корабль Гарольда. Сходство идетъ до мелочей: Байронъ приводитъ воинственную пѣснь суліотовъ—у Пушкина есть воинственная пѣснь горцевъ.

Но главное сходство произведеній—въ обрисовий характеровъ героевъ.

Плънникъ Пушкина отличается энергіей, гордой смълостью, страстнымъ увлеченіемъ, любовью къ свободъ. Гордо началь онъ на родинъ "пламенную младость", "много милаго любилъ", узналъ "грозное страданье". Но скоро онъ разочаровался въ жизни,—ему опротивъли ложь и ношлость общества. Онъ

бурной жизнью погубиль Надежду, радость и желанье, И лучшихъ дней воспоминанье Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ. Людей и свътъ извъдалъ опъ—И зналъ невърной жизни цѣну. Въ сердцахъ друзей нашелъ измъну, Въ мечтахъ любви безумный сопъ! Наскучивъ жертвой быть привычной давно презрънной суеты,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. Лорда Байрона въ нерев. рус. поэтовъ, изд. подъ ред. Н. В. Гербелл, т. І, Спб. 1874 г.—"Чайльдъ-Гарольдъ", писнь II, строф. XXV.

И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы,— Отступника свёта, друга природы, Покинула она родной предёла, И ва край далекій полетёла Съ веселыма призракома свободы.

Вивсто свободы судьба судила ему неволю; но, отличаясь самообладаніемъ, онъ гордо скрываетъ свои муки.

Тоску неволи, жаръ мятежний Въ душѣ глубоко онъ скрывалъ...

Таплъ въ молчаны онъ глубокомъ Движенья сердца своего, И на челѣ его высокомъ Не измѣнялось ничего. Безпечной смѣлости его Черкесы грозные дивились, Шадили вѣкъ его младой И шопотомъ между собой Своей добычею гордились.

Таковъ и Гарольдъ Вайрона, бурно проведшій свою молодость, много пережившій и испытавшій и наконецъ разочаровавшійся въ людяхъ и у\*авшій изъ родной страны за "гордымъ призракомъ свободы".

Плѣнника полюбила молодая дикарка-черкешенка; но, много извѣдавшій и разочарованный, онъ не можетъ отвѣчать на ея чувство. Когда она открыла ему свое сердце,

> онь съ безмолвнымъ сожалѣньемъ На дѣву страстную взиралъ, И полный тяжкимъ размышленьемъ Словамъ любви ея внималъ...

Увядающая "жертва страстей", мученикъ "несчастной любви", "ужасной душевной бури", онъ высказалъ ей горькое сожальные—

Несчастный другь, зачёмь не прежде Явилась ты монмь очамь, Въ тё дни, какъ вёриль я надеждё И упонтельнымъ мечтамъ! Но поздно, умеръ я для счастья, Надежды приэракъ улетёлъ; Твой другь отвыкъ отъ сладострастья, Для нёжныхъ чувствъ окамепёль...

То-же случилось и съ Гарольдомъ Байрона: встрътившись съ симпатичной ему женщиной, онъ сожальеть о невозможности полюбить ее:

"Флоранса! еслибъ сердце это Я для любви не схоронилъ, Тогда-бъ, повърь, любовь поэта
Къ ногамъ твоимъ я положилъ.
Но ты не можешь быть моею:
У насъ различные пути—
И это чувство принести
На твой алтарь я не посмъю;
Тебя не смъю я будить,
Чтобъ ты могла меня любитъ".
Такъ думалъ Чайльдъ, смотря безстрастно
Въ глаза Флорансы. Онъ лишь могъ
Ей удивляться безопасно,
Спокойно, тихо, безъ тревогъ.

Богъ любви не могъ коснуться его, потому что сознаваль

Потерю прежней сильной власти Надъ сердцемъ, гдъ одна тоска Была сильна и глубока.

Таково сходство произведеній двухъ поэтовъ. Но есть между ними и различіе, и притомъ такое большое различіе, которое позволяєть сказать, что съ "Кавказскаго илѣнника" начался періодъ самобытнаго творчества Пушкина 1).

Вліяніе Вайрона на него было сильно; но нельзя не признать, что это было не подчиненіе англійскому поэту,—увлекаясь Байрономъ и даже подражая ему, Пушкинъ въ то-же время, по справедливому за-мѣчанію Апол. Григорьева, боролся съ байронизмомъ.

Борьба эта выразилась прежде всего сомивніемъ нашего поэта въ полной искренности разочарованія Плвника. Байронъ не сомиввался въ разочарованности своихъ героевъ. Пушкину представляется, въ противоположность Байрону, что человъческая душа не такъ скоро умираетъ для жизни:

На немъ броня, пищаль, колчанъ, Кубанскій лукъ, кинжаль, арканъ, II нашка, въчная подруга Его трудовъ, его досуга.

и далъе:

Его богатство-конь ретивый, Интомець горскихь табуновь... и проч.

напоминають слова Жуковскаго о горцахъ въ "Посланіи Воейкову":

Инщаль, кольчуга, сабля, лукъ, И конь-соратникъ быстроногій— Ихъ и сокровища и боги.

(Соч. Жуковскаго, послъд. взд., т. I, стр. 323). За это указаніе приношу благодарность  $\Theta$ . А. Витбергу.—Но это вліяніе чисто вившнее, ограничивающееся мелкими частностями.

<sup>1)</sup> Въ поэмѣ можно, впрочемъ, еще подмѣтить даже слѣды вліянія Жуковскаго, въ описанія быта горцевъ: стихи—

Не вдругъ увянеть наша младость, Не вдругъ восторги бросять насъ, И неожиданную радость Еще обнимемъ мы не разъ.

Безсознательно вѣрный правдѣ, поэтъ изображаетъ противорѣчія въ словахъ и дѣйствіяхъ своего героя: Илѣнникъ говоритъ Черкешенкѣ о своемъ охлажденіи къ жизни, о своей невозможности чувствовать и любить, и въ то-же время горячо отвѣчаетъ на ея лобзанія, т. е. значить его разочарованіе—напускное, и онъ имъ рисуется.—Но справедливость требуетъ замѣтить, что Пушкинъ возстаетъ противъ байронизма еще только инстинктивно,—сомнѣнія его въ своемъ героѣ нерѣшительны и робки; такъ, онъ не осуждаетъ Плѣнника за его отпошенія къ полюбившей его дѣвушкѣ, а напротивъ сочувствуетъ ему, даже сожалѣетъ, что ему

тяжко мертвыми устами Живымъ лобзаньямъ отвѣчать, И очи, полныя слезами, Улыбкой хладною встрѣчать.

Поэтъ пе видитъ эгоизма въ словахъ Плѣнника:

Когда такъ медленно, такъ нѣжно Ты ньешь лобзапія мон И для тебя часы любви Проходить быстро, безмятежно...

Я вижу образъ въчно милый, Его зову, къ нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю, Тебъ въ забвенъи предаюсь— И тайный призракъ обнимаю.

Но съ другой стороны, какъ человѣкъ русскій, какъ юноша, полный жизни и вѣры въ жизнь, какъ чуткій художникъ, Пушкинъ, противорѣча себѣ, заставляетъ въ концѣ поэмы своего героя, освобожденнаго Черкешенкой, ожить духомъ отъ напускнаго разочарованія и воскликнуть задушевныя слова:

Къ Черкешени в простеръ онъ руки, Воскресшимъ сердцемъ къ ней летълъ

(повъствуетъ поэтъ)

И долгій поцёлуй разлуки Союзъ любви запечатлёлъ.

Интересно въ двухъ послѣднихъ стихахъ нанвное противорѣчіе словъ "разлука" и "союзъ любви": Пушкинъ все-таки помнитъ, что его герой

долженъ быть подобенъ Гарольду, твердому, холодному, непреклонному Гарольду, неспособному поддаться очарованію новаго чувства и новой жизни. Пушкинъ самъ не знаетъ—вѣритъ онъ или не вѣритъ, что въ душѣ Плѣнника живетъ съ прежнею силой старое чувство, горькій слѣдъ несчастной любви.

Сильне сказалась самобытность русскаго поэта въ созданіи характера Черкешенки. У Байрона такого характера нёть. Должно признать, однако, что Пушкинымъ могло быть заимствовано изъ "Донъ-Жуана" внёшнее положеніе—встрёча героя съ дёвушкой, взросшей среди природы и полюбившей его безъискусственной, наивной любовью. (Такъ Гаиде полюбила Донъ-Жуана) 1). Могла быть заимствована у Байрона (именно изъ "Корсара") и внёшняя сторона отношеній главныхъ лиць поэмы Пушкина: Черкешенка освобождаетъ Плённика, какъ Гюльнара освободила Корсара, и обё онё съ болью сердца высказывають любимому человёку, что возвращають его той, кого онъ любить.

Найди ее, люби ее; О чемъ-же я еще тоскую, О чемъ уныніе мое? Прости!

Такъ говоритъ Черкешенка. И то-же высказываетъ Корсару Гюльнара:

Я возвращу тебя твоей подругь страстной, Схарающей къ тебъ любовью той прекрасной, Которой инкогда мив, бъдной, не узнать! Прости!.... <sup>2</sup>)

Внѣшнее сходство въ событіяхъ произведеній двухъ поэтовъ несомнѣнно... Но какая разница въ характерахъ Гюльнары и Черкешенки! Героиня англійскаго поэта вся проникнута тревожнымъ, мутно-страстстнымъ, далеко не чистымъ чувствомъ, изъ-за котораго она готова даже на преступленіе; она рѣшается убить своего владыку пашу, чтобы только освободить милаго; она говоритъ:

О! моя душа уже не та, Какой была досель. На-вѣки проклята, Убитая тоской, сражениал презрѣньемъ, Она отнынѣ жить должиа лишь зломъ и мщеньемъ 3).

Черкешенка Пушкина—существо дътски-чистое, добродушное, все просвътленное поэзіей первой любви. Знакомство ея съ Плѣнникомъ на-

<sup>1)</sup> Описаніе душевних страданій Черкешенки не могло быть заимствовано Пушкиными изъ этого романа, такъ какъ страданія Ганде разсказываются въ 3 пѣснѣ "Донъ-Жуана", вышедшей въ свёть позже "Кавк. Плѣн." (и именно въ авг. 21 г.).

<sup>2)</sup> Соч. Байрона въ пер. рус. поэтовъ, т. III, стр. 39.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, стр. 50. пушкниъ въ его поэзін.

чалось съ того, что она пожалъла узника, принесла ему "кумысъ прохладный", стала утъщать его... Чувство ея, глубоко нъжное, въ то-же время полно энергіи; душа ея—сильная, вольная, независимая.

Пленникъ милый,

(говоритъ она)

Развесеми свой взоръ унымый, Склонись главой ко мий на грудь, Свободу, родину, забудь. Скрываться рада я въ пустынъ Съ тобою, царь души моей!

Она знаеть, что ей грозить горькая участь быть проданной въ чужой ауль; но она не поддастся насилю: если не умолить родныхъ, такъ "найдеть кинжаль иль ядъ".—При всей силѣ своего чувства, она, владън собой, способна на самоотверженіе. Когда Плѣнникъ разсказалъ ей о своихъ страданіяхъ, о любви своей, закончивъ повѣсть пошлымъ и самодовольнымъ утѣшеньемъ (такъ оскорбительнымъ для ея искренцяго и глубокаго чувства):

Недолго женскую любовь Печалить хладная разлука: Пройдеть любовь, пастанеть скука— Красавица полюбить вновь,

она разлилась было въ упрекахъ ему-

Ахъ, русскій, русскій, для чего, Не зная сердца твоего, Тебѣ павѣкъ я предалася!

но закончила свои жалобы возвышенно-благородными словами:

Но кто-жь она, Твоя прекрасная подруга? Ты любишь русскій? ты любимъ?.. Попятны мнѣ твои страданья... Прости-жь и ты мои рыданья, Не смѣйся горестямъ моимъ.

Когда освобожденный Пленникъ, позабывъ свое разочарованіе, увлекается ею и предлагаетъ ей бежать съ нимъ, она отвечаетъ:

Нѣтъ, русскій, пѣтъ!
Она исчезла, жизни сладость,—
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропаль и слѣдъ.
Возможно-ль, ты любилъ другую!..
Найди ее, люби ее.

Прости! любви благословенье Съ тобою будеть каждый часъ. Прости—забудь мон мученья, Дай руку миъ... въ послъдній разъ.

Ей не надо неполнаго, сомнительнаго чувства,—она не можетъ повърить Плъннику, и твердо отвергаетъ его увлечение. Если-же въ ел жалобахъ на судьбу прорываются слова: "ты могъ-бы обмануть мою неопытную младостъ", то ихъ надо понимать не буквально,—они ничто иное, какъ стонъ сожальнія внезанно разбитаго сердца о невозможности счастья, на которое ему подавали надежды.

Черкешенка утопилась. Можеть быть въ этомъ эффектномъ заключени ея романа выразилась неопытность, пезрѣлость таланта поэта; но въ немъ сказался также и идеализмъ молодой души, оскорбленной въ своихъ лучшихъ вѣрованіяхъ и чувствахъ.—Пушкинъ, увлекаясь Байрономъ, не можетъ еще сознательно осудить своего Плѣнника; не можетъ еще понять, что сердце его больше лежитъ къ Черкешенкѣ, чѣмъ къ герою поэмы; но невольно, инстинктивно правда прорвалась у него въ вдохновенныхъ стихахъ, непосредственно слѣдующихъ за исповѣдью Плѣнника полюбившей его дѣвушкѣ:

Раскрывъ уста, безъ слезъ рыдая, Спдъла дъва молодая. Туманный, неподвижный взоръ Безмолвный выражаль укоръ.

И глубоко правдивъ былъ этотъ безсознательный, дѣтскій укоръ этоисту, рисующемуся своимъ разочарованіемъ и для этого заглушающему въ своей душѣ дѣйствительное чувство, которому онъ не могъ вначалѣ противостоять и которое онъ потомъ подавилъ въ себѣ, разбивши по дорогѣ чужое сердце.

Новая поэма Пушкина, въ которой молодой писатель сдёлалъ такой большой шагъ впередъ по пути своего художественнаго развитія, конечно должна была произвести сильпое впечатлёніе на общество. Въ одной изъ своихъ критическихъ замётокъ позднёйшаго времени (1830 г.) Пушкинъ говоритъ о "Кавказскомъ плённикъ": "Первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принятъ лучше всего, что я ни написалъ, благодаря нёкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ" 1).—Есть и одно, чисто внёшнее обстоятельство, которое свидётельствуетъ о томъ, какой большой успёхъ имёлъ "Кавказскій плённикъ". Первое изданіе этой поэмы, еще неизвёстной публикѣ, было продано авторомъ за 500 руб.; за второе изданіе (вмёстѣ съ поэмой "Русланъ и Людмила") онъ получилъ отъ книгопродавца Ал. Смирдина 7000 рублей.

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина 1881 г. т. V, стр. 132.

Жизнь Пушкина въ Кишинев извъстна какъ время, проведенное поэтомъ бурно и буйно среди увлеченій всякаго рода. Но это не должно относиться къ первой порѣ его пребыванія въ столицѣ Бессарабіи. Вельтмань говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ ¹), что "Пушкинъ велъ себя первые дни по пріѣздѣ такъ тихо и скромно... что объ его пребываніи въ Кишиневѣ узнали,—даже тѣ, которые такъ нетериѣливо ждали его,— нѣсколько дней спустя". Вѣроятно болѣе, чѣмъ нѣсколько дней, жилъ поэтъ тихо и скромно: его увлекали въ это время окончательно формировавшеся въ его душѣ картины и образы поэмы; въ его сердцѣ еще прко горѣли слѣды впечатлѣній чистой любви въ Крыму. (Ими и объясняется, должно быть, свѣтлая и самобытная сторона "Кавказскаго Плѣнника"). Этой любви, конечно, посвящена прекрасная элегія 1821 года "Желаніе", въ которой поэтъ воспоминаетъ "край прелестный", гдѣ опъ любилъ, гдѣ видѣлъ

горъ высокія вершины,
Прозрачныхъ водъ веселыя струн,
И тънь, и шумъ, и красныя долины,
Гдъ бъдныя простыхъ татаръ семьи,
Среди заботъ и съ дружбою взаимной,
Подъ кровлею живутъ гостепримной.

Элегія (страдающая пъсколько длиннотою) оканчивается стихами чудной красоты:

И тамъ, гдѣ миртъ шумитъ надъ тихой урной, Увижу-ль вновь сквозь темные дѣса И своды скалъ, и моря блескъ лазурный, И ясныя какъ радость небеса? Утихнутъ-ли волненья жизни бурной? Минувшихъ лѣтъ воскреснетъ-ли краса?

Чистое чувство вызывало изъ глубины души поэта чистыя стремленія ранней юности, утишало бурные порывы. Стихи эти напоминаютъ намъ позднѣйшіе, еще высшіе стихи его...

И своды скаль, и моря блескъ лазурный-

быть можеть, это зародышь величайшей элегіи Пушкина—"Для береговь отчизны дальной".

Въ это-же время, подъ впечатлѣніями природы юга и остатковъ классическаго міра, окончательно формировалось художественное чувство поэта: онъ рисовалъ съ замѣчательнымъ искусствомъ яркія картины Кавказа въ поэмѣ и писалъ антологическія стихотворенія. Между ними слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на очень извѣстное подъ названіемъ "Муза", въ которомъ онъ съ такою поэтическою силой олицетворилъ свое вдохновеніе, и на то, которое онъ назвалъ "Дѣва":

¹) "Въстн. Европы" 1881 г., № 3. Изъ воспоминаній Вельтмана о времени пребыванія Пушкина въ Кишиневъ. Извлеченіе Е. С. Некрасовой.

Я говориль тебё: страшися дёвы милой! Я зналь: она сердца влечеть невольной силой. Неосторожный другь, я зналь: нельзя при ней Иную замѣчать, иныхъ искать очей. Надежду потерявь, забывь измѣны сладость, Пылаеть близь нея задумчивая младость; Любимцы счастія, наперстники судьбы Смиренно ей несуть влюбленныя мольбы: Но дѣва гордая ихъ чувства ненавидить И, очи опустивь, не внемлеть и не видить.

Вельтманъ въ своихъ восноминаніяхъ предполагаетъ, что это стихотвореніе посвящено Пульхерицѣ Егоровнѣ Вареоломей (дочери кишиневскаго боярина). Дѣвица Вареоломей отличалась замѣчательной красотою; но, останавливаясь мыслью на ея характерѣ, Вельтманъ задается вопросомъ—не была ли она, съ своею "бѣлой лайковою кожей", простымъ автоматомъ? — Стихотвореніе "Дѣва" наноминаетъ другое, позднѣйшее произведеніе Пушкина въ томъ же родѣ, хотя и высшее въ художественномъ смыслѣ,—"Красавица" (1830 г.), посвященное Н. Н. Гончаровой. Оба сочиненія свидѣтельствуютъ о чуткости поэта къ красотѣ и въ то-же время о его наклонности увлечься красотою безъ отношенія ея къ другимъ сторонамъ человѣка: трагическая черта поэзіи и личнаго характера Пушкина. Въ Кишиневѣ онъ былъ еще сравнительно безопасенъ отъ этой черты.

Кишиневское общество, въ которомъ пришлось поэту вращаться по прівздв изъ Крыма, было весьма разнообразно. Главную массу населенія Кишинева составляли молдаване; но туть было и много жидовь, болгаръ, грековъ, турокъ, малороссіянъ, намцевъ, были и караимы, французы, даже итальянцы 1). Собственно общество разд'ялялось на три группы: туземное общество (или бояры молдаваны), чиновничье и военное. Пушкинъ былъ знакомъ и даже близокъ со всёми группами. И это гибельно действовало, въ правственномъ смысле, на его впечатлительную душу.--Нравственная атмосфера Кишинева была очень низка; г. Анненковъ справедливо называетъ ее "душной и сладострастной" и справедливо находить, что "мало эстетическія, но своеобразныя наклонности обитателей" города "дѣйствовали на Пушкина какъ вызовъ" <sup>2</sup>).—Близко знакомый съ Кишиневымъ Липранди отзывается о туземцахъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ. Также относился къ нимъ и Пушкинъ, когда съ ними познакомился; ссорясь съ ними и не въря въ ихъ чувство чести, онь для защиты отъ грубыхъ и тайныхъ нападеній нанятыхъ людей

2) Пушкинъ въ александровскую эпоху, стр. 189—190.

<sup>1) &</sup>quot;Пушкинъ въ Южней Россін". Рус. Арх. 1866 г., стр. 1124—1125.

носилъ всюду съ собою сначала пистолеть, а иотомъ просто желѣзную палку въ осмнадцать фунтовъ вѣсу 1). Впослѣдствіи (въ 1824 году) онъ такъ характеризовалъ мѣсто своей ссылки:

Проклятый городъ Кишиневъ, Тебя бранить языкъ устанеть! Когда нибудь на гръшный кровъ Твоихъ заначканныхъ домовъ Небесный громъ конечно грянеть, И не найду твоихъ слъдовъ.

Далѣе поэтъ сравниваетъ Кишиневъ съ Содомомъ, отдаван даже предпочтеніе послѣднему <sup>2</sup>). (Справедливость требуетъ замѣтить, что тонъ
этого стихотворенія совершенно соотвѣтствуетъ восиѣваемому въ немъ
предмету). Въ бытность свою въ Кишиневѣ Пушкинъ писалъ множество
эпиграммъ на различныхъ лицъ мѣстнаго общества; онѣ очень характерны, тѣмъ болѣе, что увлекавшійся поэтъ самъ въ нихъ только остроуміемъ своимъ подымался выше изображаемой среды. Вотъ, напримѣ ръ
"Описаніе кишиневскихъ дамъ" <sup>3</sup>).

Раззівавшись, отъ об'єдни Къ Катакази ўду въ домъ. Что за Греческій бредни, Что за Греческій содомъ. Подогнувъ подъ платье ноги, За вареньемъ, средь прохладъ, Какъ Етипетскіе боги, Дамы прівоть и молчать.

Здравствуй, круглая сосъдка! Ты бранчива, ты скупа, Ты неловкая кокетка, Ты илъшива, ты глупа. Говорить съ тобой ивтъ мочи. Все прощаю, Богъ съ тобой! Ты съ утра до темной ночи Рада въ банкъ играть со мной.

Ты наказана сегодня, И тебя простиль Амуръ, О, чувствительная сводня, О, краса молдавскихъ дуръ!..

Русскіе люди чиновничьяго и военнаго классовъ, обитавшіе въ Кишиневѣ, стояли, конечно, выше туземцевъ; среди нихъ Пушкинъ находилъ, какъ увидимъ, и добрыхъ знакомыхъ и дѣльныхъ собесѣдниковъ;

<sup>4)</sup> Изъ дневника и воспоминаній Липрапди. "Рус. Арх." 1866 г., стр. 1423—1424.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т. I, стр. 447 ("Городъ Кишиневъ").
<sup>3</sup>) Тамъ-же, т. V, стр. 494 (Дополненія).

но общій характеръ и ихъ жизни быль очень не высокъ: карты, танцы, вино и т. д. были обычными средствами убиванія времени.

Предохраняемый нёкоторое время въ Кишиневё отъ низкихъ увлеченій чувствомъ высокой любви, Пушкинъ однако потомъ поддался вліянію окружавшей его среды. Нъсколько смягчающимъ вину увлеченія обстоятельствомъ служитъ то, что (по справедливому замѣчанію г. Бартенева) 1) "у него были въ Кишиневѣ добрые пріятели, Алексѣевъ, Горчаковъ, Полторацкій и другіе; но не было настоящаго друга... не было и такихъ людей, какъ Карамзинъ и Жуковскій, къ которымъ-бы онъ могъ придти, разсказать все, требовать совъта и, не оскорбляясь, выслушать упреки и наставленія".- Пылкій и впечатлительный, какъ всегда и вездъ, онъ въ Кишиневъ сдълался какимъ-то задорнымъ и до безумія увлекающимся, "вспыльчивымъ иногда до изступленія", какъ выразился, вообще сочувствующій ему, какъ челов'єку, Липранди 2)—В. П. Горчаковъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ 3), что поэтъ чуть не поссорился съ нимъ при первомъ-же знакомствъ изъ-за одного замъчанія на стихотвореніе "Черная шаль". "Какъ-же вы говорите (передаетъ Горчаковъ свой разговоръ съ поэтомъ): въ глазахъ потемнъло, я весизнемогъ, и потомъ: вхожу въ отдаленный покой?-Такъ что-жь. прервалъ Пушкинъ, съ быстротою молніи, вспыхнувъ самъ, какъ зарпица, - это не значить, что я ослѣпь. - Сознаніе мое, что это замівчаніе придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрывъ Пушкина, и мы пожали другь другу руки".—Липранди говорить, что въ разговорахъ о своихъ сочиненіяхъ Пушкинъ вообще въ эту пору обнаруживалъ "неограниченное самолюбіе" и "самоувѣренность" 4). Трудно было предвидъть-отчего онъ можетъ вспылить; такъ, напр., однажды онъ чуть не вызваль на дуэль одного молдаванина за то, что тотъ въ разговоръ о какомъ-то сочинении съ удивлениемъ спросилъ его: какъ! вы поэтъ и не знаете объ этой книгѣ? 5) — Одинъ изъ петербургскихъ знакомыхъ поэта разсказываетъ 6), что онъ въ Кишиневѣ "при своей раздражительности легко обижался какимъ-нибудь словомъ, въ которомъ ръшительно не было ничего обиднаго. Иногда онъ корчилъ лихача, въроятно вспоминая Каверина и другихъ своихъ пріятелей-гусаровъ въ Царскомъ Селъ. При этомъ онъ разсказывалъ про себя самые отчаниные анекдоты, и все вмёстё выходило какъ-то пошло". Какъ ни ръзокъ этотъ отзывъ, но нельзя не признать его справедливымъ, сопо-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Пут. въ Юж. Россіп.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изъ Дн. и восп. Липранди—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1412.

<sup>3)</sup> Нуш. въ Юж. Рос.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1133—1134.

<sup>4)</sup> Рус. Арх. 1866 г., стр. 1446.

<sup>5)</sup> Тамъ-же, стр. 1245.

<sup>6)</sup> Тамъ-же, стр. 1183 (Пушк. въ Юж. Рос.).

ставляя съ другими извъстіями и съ стихотвореніями самого поэта этихъ годовъ.—Въ письмъ къ Я. Н. Толстому (1822 г.) Пушкинъ съ сожалъніемъ и завистью вспоминаетъ о кутежахъ своихъ петербургскихъ товарищей, членовъ общества "Зеленой лампы":

Горишь-ли ты, ламиада наша, Подруга бдёній и ипровъ? Кинишь-ли ты, златая чаша, Въ рукахъ веселыхъ остряковъ? Все тё-же-ль вы, друзья веселья, Друзья Киприды и стиховъ? Часы любви, часы похмёлья По прежнему-ль летятъ на зовъ Свободы, лёни и бездёлья? Въ изгнаньи скучномъ каждый часъ, Горя завистливымъ желаньемъ, Я къ вамъ лечу воспоминаньемъ, Воображаю, вижу васъ.

Къ Пушкину вернулись дурныя увлеченія петербургской жизни. Въ предшествовавшемъ (1821) году онъ писаль брату своему объ "Зеленой ламив" и своимъ письмомъ ввелъ даже брата въ это пошлое общество. "Скажи ему (Всеволожскому, президенту Зеленой ламиы), что я люблю его (писалъ поэтъ Льву Сергъ́ичу), что онъ забылъ меня, что я помню вечера его, любезность его, V. С. Р. его (Veuve Cliquot Pontchadrain, шампанское), L. D. (?) его, Овошникову его, лампу его и все елико друга моего" 1).—Должно быть съ воспоминаніями объ этомъ-же миломъ обществъ связаны и стихи "Изъ письма къ Дельвигу" (1821 г.), въ которыхъ поэтъ такъ цинически выражается про свою музу:

Теперь я, право, чуть дышу, Оть воздержанья муза чахнеть, И рѣдко, рѣдко съ ней грѣшу. Къ молвѣ болтинвой я хладѣю, И изъ учтивости одной Донынѣ волочусь за нею, Какъ мужъ лѣнивый за женой.

Оканчивается стихотвореніе такимъ грязнымъ сравненіемъ, взятымъ изъ петербургской жизни кутящихъ пріятелей поэта, что его невозможно было цёликомъ напечатать.

Вино, кутежи, карты, волокитство, дуэли,—вотъ на что много уходило жизни и силъ Пушкина въ Кишиневъ.

Поэтъ охотно посъщалъ многолюдные вечера богатыхъ бояръ, напр. Вареоломея, Маврогени; здъсь онъ много и съ увлеченіемъ танцовалъ. Балы и представляли ему обширное поприще для ухаживаній.

¹) Пуш. въ Юж. Рос.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1195.

"Пушкинъ любилъ всѣхъ хорошенькихъ, всѣхъ свободныхъ болтуней", разсказываетъ Липранди ¹). Такъ, ему правилась нѣкто Вакаръ,
жена подполковника, женщина маленькаго роста, чрезвычайно живая,
недурная собой. "Пушкинъ находилъ удовольствіе съ ней танцовать и
вести нестѣсняющій разговоръ. Едва-ли (замѣчаетъ Липранди) онъ не
сошелся съ ней ближе, но, конечно, не надолго. Въ этомъ-же родѣ
была очень миленькая дѣвица Аника-Сандулаки". Нравилась поэту и
жена чиновника горнаго вѣдомства Эльфректъ, слывшая красавицей.
Здѣсь Пушкину пришлось соперничать съ Н. С. Алексѣевымъ, своимъ
пріятелемъ, на одной квартирѣ съ которымъ онъ жилъ, выѣхавши отъ
Пизова, у котораго первоначально поселился. Онъ написалъ Алексѣеву
по этому случаю посланіе (1821 г.):

Мой милый, какъ несправедливы Твои ревнивыя мечты! Я позабыль любви призывы И плёнъ опасной красоты.

Далѣе въ стихотвореніи онъ полу-шутливо говорить о своемъ разочарованіи, высказывая въ сущности мысль, что не-высоко ставитъ самъ свои увлеченія:

> Въ толив красавицъ молодыхъ Я, равподушный и ленивый, Своихъ боговъ не вижу въ нихъ.

Этой Эльфректь, которая окружила себя родственниками молдаванами и греками, и желала казаться равнодушной къ русскимъ, ноэтъ посвятиль весьма невысокаго достоинства стихотвереніе:

Ни блескъ ума, ни стройность платья Не могуть васъ обворожить,

оканчивающееся неприличными стихами, которые онъ поэтому и не могъ даже отдать самому предмету пъснопънія <sup>2</sup>).—Подобныхъ мимолетныхъ и легкомысленныхъ увлеченій у Пушкина было много; а объ ихъ характеръ лучше всего свидътельствуетъ его собственное легкомысленное стихотвореніе (1821 г.):

Добра чужаго не желать
Ты, Боже, мит повелтваешь;
Но мтру симь монкт Ты знаешь—
Мить нь ньжнымы чувствомы управлять?
Обидеть друга не желаю
И не кочу его села,
Не нужно мит его вола:
На все спокойно я взираю.

¹) Pycck. Apx. 1866 r. Ct. 1234-1235.

<sup>2) &</sup>quot;Пушкинъ въ Южной Россін". Русск. Арх. 1866. Стр. 1157.

Ни домъ его, ни скотъ, ни рабъ—
Не лестна мив вся благостыня...
Но ежели его рабыня
Прелестна... Госноди, я слабъ!
Но ежели его подруга
Мила какъ ангелъ во-плоти—
О, Боже праведный, прости
Мив зависть ко блаженству друга!
Кто сердцемъ могъ повелввать
Кто рабъ усилій безполезныхъ?
Какъ можно не любить прелестныхъ?
Какъ райскихъ благъ не пожелать?

Есть и еще подобное-же, легкомысленное въ религіозномъ смыслѣ, стихотвореніе 1821 г. <sup>1</sup>), гдѣ поэтъ говоритъ какой-то красавицѣ іудейскаго племени, что нынѣ цалуетъ ее по случаю Воскресенія Христова,

> А завтра къ въръ Монсея За поцълуй твой, не робъя, Готовъ, еврейка, приступить!...

Изъ многочисленныхъ эротическихъ похожденій Пушкина особенно характерны два: съ женой боярина Балша и съ Д—вой.

Марія Балшъ была женщина лѣтъ подъ-тридцать, довольно острая и словоохотливая. Пушкинъ доходилъ съ нею (говоритъ Липранди) 2) "до ръчей весьма свободныхъ, что ей очень нравилось, и она въ этомъ случав не оставалась въ долгу. Действительно ли Пушкинъ имълъ на нее какіе-либо виды или н'ять, сказать трудно: въ такихъ случаяхъ (поясняеть разсказчикь) онъ быль переметчивь и часто безъ всякихъ цѣлей любилъ болтовню и матеріализмъ". Появленіе въ обществѣ нѣкой "Албрехтши" отвлекло внимание поэта отъ Балшъ. Оскорбленная кокетка стала дёлать ему ревнивые намеки. Онъ въ отмщеніе началь ухаживать за ел 12-ти или 13-лётней дочерью Аникой, которую она всюду вывозила съ собою. Липранди думаетъ, что Пушкинъ любезничаль съ Аникой лишь "такъ, какъ можно было только любезничать съ 12-лътнимъ ребенкомъ". Но дъйствительно-ли невинны были эти ухаживанія — Богъ в'єсть: мы увидимъ у Пушкина еще подобную-же исторію. — Чтобы отметить чёмъ-нибудь измённику, Балшъ въ отвётъ на его язвительную насмёшку надъ молдаванами: "экан тоска! хоть-бы кто наняль подраться за себя!" 3) отвътила дерзкимъ и несправедливымъ намекомъ на одну его дуэль: "да вы деритесь лучше за себя, вотъ хоть съ Старовымъ; вы съ нимъ, кажется, не очень хорошо кончили". Вспыльчивый поэть потребоваль за эти слова удовлетворенія отъ мужа

<sup>1) &</sup>quot;Еврейка".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1422—1423.

<sup>3)</sup> Пушкинъ въ Южной Россіи. Рус. Арх. 1866 г., стр. 1168.

своей оскорбительницы; а когда тоть, объяснившись съ женой, сказаль, что Пушкинъ самъ ее оскорбилъ, поэтъ замахнулся на него подсвѣчникомъ. Кончилось дѣло тѣмъ, что Балша уговорили извиниться; но такъ какъ онъ началъ извиненіе въ высокомѣрныхъ выраженіяхъ, то опять вспылившій Пушкинъ далъ ему пощечину.

Д—ва была жена пріятеля Пушкина Александра Львовича Д—ва, человѣка любившаго пожить и покушать, которому Пушкинъ посвятилъ въ 1824 г. стихотвореніе:

Нельзя, мой толстый Аристипь: Хоть я люблю твои бесёды, Твой милый правъ, твой милый хрипъ, Твой вкусъ и жирные обёды; Но не могу съ тобою илыть Къ брегамъ полуденной Тавриды. Прошу меня не позабыть, Любимецъ Вакха и Киприды!

Д-вы были родственники Раевскихъ и владели селомъ Каменкой (Кіевс. губ.), куда Пушкинъ прівзжаль изъ Кишинева. Насколько поэть не уважаль этоть предметь своей любви, видно изъ грубой эпиграммы ("Аглая". 1821 г.), которой онъ наградилъ его. Съ Д-вой поэтъ проделаль, какъ видно, то-же, что съ Балшъ: сталъ ухаживать за ея 12-ти-лътней дочкой. Вотъ что объ этомъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ "петербургскій знакомый" Пушкина (имени котораго, къ сожалънію, не называетъ приводящій его слова въ своемъ сочиненін г. Бартеневъ): "Пушкинъ вообразилъ себъ, что онъ въ нее (т. е. дъвочку-Д-ву) влюбленъ, безпрестанно на нее заглядывался и, подходя къ ней, шутилъ съ ней очень неловко. Однажды за объдомъ онъ сидълъ возлъ меня и, раскраснъвшись, смотрълъ такъ ужасно на хорошенькую девочку, что она бедная не знала, что делать, и готова была заплакать. Мий стало ея жалко, и я сказаль Пушкину вполголоса: посмотрите, что вы дёлаете: вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бъдное дитя. "Я хочу наказать кокетку", отвъчалъ онъ; "прежде она со мной любезинчала, а теперь прикидывается жестокой и не хочетъ взглянуть на меня". Съ большимъ трудомъ удалось мнь обратить все это въ шутку и заставить его улыбнуться". - Можно-бы, казалось, заподозрить истину такого разсказа, по крайней мъръ подумать, что не въ истинномъ свъть представлено здъсь поведение Пушкина; но правда приведенныхъ словъ подтверждается собственными стихотвореніями поэта: "Къ Аглав" (1821 г.) и "Адели" (1822 г.). Въ первомъ поэтъ откровенно характеризуетъ легкость и низменность свое привязанности къ Д-вой и рисуеть характеръ этой последней:

Умы давно въ насъ охладёли (говорить онъ своей возлюбленной),

Въ концъ посланія мы встрѣчаемъ такіе стихи:

Оставимъ юный пыль страстей, Когда мы клонимся къ закату, Вы—старшей дочери своей, Я—своему меньшому брату. Имъ можно съ жизнію шалить... и т. д.

Стихотвореніе "Адели" и посвящено этой "старшей дочери" Д-вой:

А я наперстницу Наташу.

Играй, Адель, Не знай печали. Хариты, Лель Тебя вѣнчали и колыбель Твою качали. Твоя весна Тиха, ясна: Для наслажденья Ты рождена. Часъ упоенья Лови, лови! Мланыя льта Отдай любви, И въ шумѣ свѣта Люби, Адель, Мою свирѣль.

Довольно трудно опредёлить характеръ чувства, вызвавшаго на свётъ это, написанное въ Каменкѣ, слабое и легкомысленное стихотвореніе. Пушкинъ совершенно справедливо сказалъ про себя въ "Кишиневскомъ диевникъ" своемъ 1821 г. 1), что онъ былъ въ ту пору матерьялистъ по чувству ("mon coeur est materialiste").

Другою страстью Пушкина въ эту эпоху была любовь къ карточной игрѣ и кутежамъ. Въ карты играли въ домахъ нѣкоторыхъ молдаванъ, напр. у Маврогени, у Крупянскаго; у послѣдняго игра усилилась особенно послѣ открытія гетеріи въ мартѣ 1821 года, съ наплывомъ въ Кишиневъ множества выходцевъ. Была каждый вечеръ игра (съ слѣдо-

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина, т. V, стр. 7.

вавшимъ за нею ужиномъ) и у старика Разнована; ужины были и у Крупянскаго. — Игра была въ большомъ ходу и въ военномъ кружкѣ; Пушкинъ съ увлеченіемъ игралъ въ карты и кутилъ съ своими пріятелями-офицерами <sup>1</sup>). О своемъ пристрастіи къ кутежамъ, къ вину онъ оставилъ свидѣтельство въ стихотвореніи 1822 года "Друзьямъ (на отъѣздъ Кека изъ Кишинева)":

Вчера быль день разлуки шумной, Вчера быль Вакха буйный пирь, При кликахъ юности безумной, При громѣ чашъ, при звукѣ лиръ.

На этомъ пиру поэта отличили "почетной чашей", которая плѣняла глаза не "честолюбивой позолотой", не "рѣзьбою", а однимъ лишь тѣмъ,

Что, жажду скнескую поя, Бутылка полная вливалась Въ ея шпрокіе края.

Поэтъ пилъ изъ почетной чаши и вспоминалъ былое петербургское веселье:

Я пиль, и думою сердечной Во дии минувшіе леталь, И горе жизни скоротечной И сны любви восноминаль.

Играть началь Пушкинь, кажется, еще въ Лицев <sup>2</sup>); но въ Кишинев в онъ пристрастился къ картамъ, и именно къ азартнымъ играмъ во всю жизнь потомъ онъ не могъ вполн в отстать отъ этой страсти. Онъ писалъ посл о пей:

Страсть къ банку! Ни любовь свободы Ни Өебь, ин дружба, ни пиры, Не отвлекли-бъ въ минувши годы Меня отъ карточной игры. Задумчивый, всю ночь до свёта Бываль готовъ я въ эти лёта Допрашивать судьбы завётъ, Налёво-ль выпадетъ валетъ. Уже раздался звонъ объденъ; Среди разбросанныхъ колодъ Дремалъ усталый банкометь, А я все тотъ-же, бодръ и блёденъ, Надежды полнъ, закрывъ глаза, Гиулъ уголъ третьяго туза.

("Евг. Онёг.", гл. VII).

Обыкновенно играли въ штосъ, въ экарте, но чаще всего въ банкъ, какъ игру наиболъе азартную. Какъ горячо поэтъ относился къ кар-

<sup>1)</sup> Изъ Дн. и воси. Липранди. — Рус. Арх. 1866 г., стр. 1238—1239, 1243—1245, 1251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Пушкинъ въ Южной Россіи.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1160—1161.

тамъ, видно изъ того, что онъ впоследствіи сравниваль ожиданіе замешкавшейся карты съ сномъ передъ поединкомъ.

Поединки были тоже однимъ изъ его горячихъ увлеченій въ Кишиневъ. "Дуэли особенно занимали Пушкина", свидътельствуетъ Липранди 1); онъ "всегда восхищался подвигомъ, въ которомъ жизнь ставилась, какъ онъ выражался, на карту". Онъ сильно интересовался и чужими дуэлями, даже слухами о нихъ, и самъ, можно сказать, напрашивался на поединки, безумно рискул жизнью, не дорожа ею. Поводовъ къ ссорамъ, и притомъ поводовъ ничтожныхъ и низменныхъ, при тогдашнемъ времяпровождении поэта, встречалось много, и онъ пользовался ими. Собственно дуэлей у него въ Кишиневъ было двъ: съ офицеромъ генеральнаго штаба 3. и съ полковникомъ Старовымъ. Третья дуэль, съ Өед. Өед. Орловымъ и А. П. Алекстевымъ, не состоялась.— Съ З. дёло вышло изъ-за картъ. Поэтъ "замётилъ (разсказываетъ г. Бартеневъ)<sup>2</sup>), что 3. играетъ навърное и, проигравъ ему, по окончани игры очень равнодушно и со смёхомъ сталъ говорить другимъ участникамъ игры, что въдь нельзя-же платить такого рода проигрыши. Слова эти, конечно, разнеслись, вышло объяснение и З. вызвалъ Пушкина драться". По свидътельству многихъ, и въ томъ числъ В. Н. Горчакова, Пушкинъ явился на поединокъ съ черешнями и завтракалъ ими, пока 3. стреляль. Этотъ эпизодъ внесенъ вноследствии поэтомъ въ повъсть Бълкина "Выстрълъ", гдъ такъ поступаетъ молодой графъ. Но дуэль Пушкина окончилась иначе, чёмъ въ повёсти: промахнувшійся 3., не дождавшись выстрёла противника, бросился къ нему съ объятіями. Пушкинъ заметилъ ему, что "это лишнее", и не стреляя удалился.— Липранди пъсколько сомпъвается въ истинъ эпизода съ черешнями 3); но ни малъйшему сомнънію не подвергаетъ неустрашимость Пушкина. "Я зналъ (говоритъ онъ) Александра Сергвевича вспыльчивымъ, иногда до изступленія; но въ минуту опасности, словомъ - когда онъ становился лицемъ къ лицу со смертію, когда человѣкъ обнаруживаеть себя вполет, Пушкинъ обладалъ въ высшей степени невозмутимостью". "Эти двъ крайности въ той степени, какъ онъ соединились у Алекс. Сергъевича, должны быть чрезвычайно ръдки". Когда дъло доходило до барьера, "къ нему онъ являлся холоднымъ какъ ледъ". — Безупречная храбрость Пушкина есть, конечно, свътлая черта его характера; но замъчательно, что въ эту эпоху его жизни и она соединялась съ чъмъ-то дурнымъ и безнравственнымъ: невозмутимымъ и хододнымъ на поединкъ оставался поэть, по свидетельству Липранди, даже при "полномъ со-

<sup>1)</sup> Pyc. Apx. 1866 r., crp. 1455, 1453.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, сгр. 1161-1168.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамь-же, стр. 1412.

знаніи своей запальчивости, виновности"; онъ не сознавался въ этой виновности, въ его нравъ было нъчто демоническое и злое.

Другая дуэль, съ полковникомъ Старовымъ, произошла по болѣе еще ничтожному поводу, изъ-за танцевъ 1). На балу въ казино молоденькій офицеръ приказалъ музыкантамъ играть кадриль; Пушкинъ захлопалъ въ ладоши и потребовалъ мазурки; музыканты послушались его. Старовъ подошелъ къ сконфузившемуся офицеру и посовътовалъ потребовать у Пушкина извиненія; тоть колебался; Старовъ отправился объясняться самъ. Должно быть при этомъ объяснении Пушкинъ наговорилъ ему дерзостей (по крайней мъръ Старовъ потомъ, сожалъя уже о своей выходкъ, говорилъ Липранди: "да опъ, братецъ, такой задорный"). Ръшена была дуэль. Оба противника плохо стръляли; но оба были безупречно смѣлы. Липранди, желая предупредить опасность, уговорился съ секундантомъ поэта, чтобы тотъ не соглашался на барьеръ менте 12 шаговъ. Во время дуэли случился страшный морозъ и была сильная метель. Противники промахнулись на 16 шагахъ; они потребовали сближенія барьера до 12 шаговъ; промахнувшись опять, они хотъли еще уменьшить разстояние барьера; но секундантамъ удалось уговорить ихъ отсрочить поединокъ. Онъ не возобновлялся впоследствин, - ихъ примирили (что, по словамъ Липранди, было сдълать очень не-легко); Пушкинъ какъ будто сожалълъ, что не удалось подраться какъ слъдуетъ съ человекомъ, известнымъ своею храбростью; но онъ быль очень доволенъ, когда Старовъ, примирянсь, сказалъ ему: "вы такъ-же корошо стоите подъ пулями, какъ хорошо пишете". Старовъ впоследствии обвиняль себя (по свидѣтельству Липранди) за этотъ поединокъ, называя его канитальною глупостью.

Поводъ къ чуть-чуть несостоявшейся третьей дуэли поэта, уже съ двумя лицами, былъ еще низмениће поводовъ къ двумъ прежнимъ дуэлямъ. Противниками Пушкина здѣсь были: полковникъ А. П. Алексѣевъ (котораго не должно смѣшивать съ пріятелемъ поэта Алексѣевымъ) и Өед. Оед. Орловъ, человѣкъ извѣстный своимъ удальствомъ, тоже полковникъ, потерявшій ногу въ сраженіи. (Впослѣдствіи Пушкинъ котѣлъ его изобразить въ замышляемомъ романѣ). Ссора произошла въ билліардной Гольды, послѣ круговой жжонки, которая особенно сильно подѣйствовала на голову Пушкина. Поэтъ началъ смѣшивать шары игравшихъ Орлова и Алексѣева; первый назвалъ его школьникомъ, а второй прибавилъ, что школьниковъ проучиваютъ. Пушкинъ вспыхнулъ и, смѣшавъ шары, вызвалъ обоихъ игроковъ драться. Возвращаясь домой съ Липранди, онъ опомнился и началъ бранить себя за свою арабскую

<sup>1) &</sup>quot;Пушкнит въ Южной Россіп" и "Изъ дневи, и воспом. Липранди". — Рус. Арх. 1866 г., стр. 1165—1167 и 1417—1421.

кровь, но ни-за-что не соглашался замять дёло, хотя спутникъ и выставлялъ ему на видъ, что причина поединка нехорошая. Онъ, впрочемъ, созналъ, что все это "скверно, гадко", какъ онъ самъ при этомъ выразился. Дѣло уладилось благодаря лишь тому, что Орловъ и Алексѣевъ первые предложили забыть "вчерашнюю жжонку"; да и то поэтъ сомнѣвался и просилъ Липранди сказать ему откровенно: "не пострадаетъ-ли его честь, если онъ согласится оставить дѣло" 1).— Легкомысленно и безумно игралъ своей головою уже начинавшій входить въ славу поэтъ.

Въ такомъ напряжении души и нервовъ жилъ онъ въ Кишиневъ. Фантазія его была въ это время (по справедливому замічанію г. Аннепкова) 2) "въ горячешномъ состояніи", что выразилось, между прочимъ, въ рисункахъ, которыми испещрены его записныя тетради. Знакомый съ этими рисунками, г. Анненковъ разсказываетъ, что они представляють казни, пытки, тюрьмы, чертовщину; напр. на одномъ изъ нихъ, съ подинсью-Балъ у армянскаго епископа (Bal chez l'archevêque arménien), подъ скрипку маленькаго бъса съ хвостикомъ танцуютъ четверо мужскихъ и женскихъ бъсенятъ, надъленныхъ тоже хвостиками; на подяхъ картинки двъ висълицы: подъ одной изъ нихъ, съ повъщеннымъ челов комъ, сидить задумавшись мужчина въ большой круглой шляпь; подъ другой видно колесо и орудія пытки; внизу картинки распростертъ скелеть. Другой рисунокъ изображаеть чортика, лежащаго на желёзной ръщеткъ, подъ которую подложенъ огонь, усердно раздуваемый другимъ, приникшимъ къ землѣ чортикомъ. — Должно быть въ связи съ подобными рисунками находился замыселъ Пушкина написать (въ 1821 г.) большую общественную сатиру, действіе которой должно было происходить въ аду, при дворъ сатаны. Отъ этой сатиры сохранились лишь небольшіе отрывки (можеть быть больше и не было написано) 3).

Совершенно подходить къ мрачному и чувственному образу жизни поэта въ Кишиневъ, къ тогдашнему настроенію его духа самое печальное событіе его литературной дѣятельности — написаніе имъ сладострастной и кошунственной поэмы "Гавриліада" (1823 г.). Въ сочиненіи ея, возбудившемъ противъ него справедливое негодованіе многихъ, онъ горько потомъ расканвался, и она была предметомъ угрызеній его совъсти до конца жизни; онъ всячески истреблялъ ея списки, выпрашивая и отнимая ихъ. Даже по напечатаннымъ въ послѣднемъ изданіи

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pyc. Apx. 1866 r., ctp. 1413-1416.

<sup>2)</sup> Пушкинъ въ александровскую эпоху, стр. 175.

<sup>3)</sup> Соч. Пушкина, 1881 г., т. I, стр. 375—376. Г. Аппенковъ по ошибкъ причислидь къ сатиръ и стихи изъ "Бахчисарайскаго фонтана": "Одинъ въ своихъ чертогахъ онъ", и т. д. Г. Ефремовъ въ текстъ изданія поэта впаль въ ту-же ошибку, но оговорился въ примъчаніяхъ.

сочиненій поэта отрывкамъ видно—какая это грязно-циническая вещь. Замѣчательно, что въ эпоху ея написанія онъ вовсе не былъ певѣрующимъ человѣкомъ, даже не былъ скептикомъ (пору скептицизма онъ пережилъ, какъ увидимъ, позднѣе). "Моп соеиг est matérialiste, mais ma raison s'y refuse" (я матеріалистъ по чувству, но мой разумъ этому противится), записалъ онъ въ своемъ Дневникѣ 9-го апрѣля 1821 года ¹). Съ этимъ совершенно согласуются слова черноваго наброска одного стихотворенія 1822 года:

Ты, сердцу непонятный мракъ, Пріють отчаянья слінаго, Ничтожество, пустой призракъ, Не жажду твоего покрова! Мечтанья жизни разлюбя, Счастливыхъ дней не знавъ отъ віка, Я все не вірую въ тебя, Ты чуждо мысли человіка. Тебя страшится гордый умъ! 2)

Поэтъ не могъ примириться съ мыслью о несуществовании духовнаго міра. — Между его зам'єтками той-же эпохи есть одна о Байрон'є, въ которой онъ пытается оправдать своего любимаго тогда поэта отъ обвиненій въ безв'єріи: "Віра внутренняя (пишеть Пушкинъ з) перевішивала въ душъ Байрона скептицизмъ, высказанный имъ мъстами въ своихъ твореніяхъ. Можетъ быть даже, что скептицизмъ сей былъ только временнымъ своеправіемъ ума, иногда идущаго вопреки убъждепію внутреннему". Можеть быть Пушкина соблазниль отчасти этотъ примеръ, и ему захотелось попробовать пойти вопреки внутреннему убъжденію. Не будучи невърующимъ, поэтъ однако въ это время легкомысленно относился къ религіознымъ предметамъ и върованіямъ, свободно внося ихъ въ шутку. Такъ, напр., владъя даромъ юмористически рисовать физіономіи, онъ на ломберномъ столів мізломъ и на бумагів карандашомъ изображалъ 4) сестру молдаванина Катакази, Тарсису,— Мадонной и на рукахъ у ней младенцемъ генерала Шульмана, съ оригинальной большой головой, въ большихъ очкахъ, съ поднятыми руками". Нѣсколько свысока относился онъ къ Библіи, по крайней мъръ вотъ какъ выразился опъ о пророкъ Гереміи въ одномъ письмъ (къ Бестужеву, 21 іюня 1822 г.): "Читалъ стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудакъ! Только въ его голову могла войти жидовская мысль воспѣвать Грецію, великолѣпную, классическую, поэтическую

<sup>1)</sup> Coq. T. V, ctp. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Пушкинъ въ Южной Россін. Р. Арх. 1866 г. стр. 1189.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, стр. 1149.

<sup>4)</sup> Пэъ дневи, и воси. Липранди. Р. Арх. 1866 г. стр. 1458. пушкинъ въ вго поэзін.

Грецію, Грецію, гдѣ все дышеть мнеологіей и героизмомъ, славянорусскими стихами, цѣликомъ взятыми изъ Іеремін" 1).

Г. Бартеневъ слышаль отъ П. В. Нащокина, В. П. Горчакова, С. Д. Полторацкаго, людей близко знавшихъ Пушкина, что онъ позволилъ себъ сочинить "Гавриліаду" "просто изъ молодаго литературнаго щегольства. Ему захотѣлось показать своимъ пріятелямъ, что онъ можетъ въ этомъ родѣ написать что-нибудь лучше стиховъ Вольтера и Парни" 2). По всей вѣроятности изъ грубаго задора нашъ поэтъ хотѣлъ перещеголять Вольтера въ нѣкогда илѣнившей его "Орлеанской дѣвственницѣ", и къ сожалѣнію достигъ цѣли, ношель, по послѣдовательности русскаго ума, дальше своего бывшаго учителя. Вольтерь, дѣйствительно, въ эту эпоху занималъ умъ и сердце Пушкина, какъ свидѣтельствуетъ онъ самъ въ стихотвореніи "Къ В. Л. Давыдову" (1821 г.), оканчивающемся словами:

Говъетъ Инзовъ—и намедни Я промънять Вольтера бредни И лиру, гръшный даръ судьбы, На часословъ и на объдни Да на сушеные грибы...

Въ этихъ стихахъ ясно видно и легкомысленное отношение къ религизанымъ върованиямъ.

Кстати будеть замѣтить, что виѣстѣ съ возвращеніемъ симпатіи къ Вольтеру у Нушкина пробудилось и былое сочувствіе къ цинической поэиѣ даровитаго Майкова—"Елисей": въ письмѣ къ Бестужеву (13 іюня 1823 г.), говоря объ одной критической статьѣ "Полярной звѣзды", поэтъ выражаетъ недовольство, что тамъ хвалятъ "холоднаго, однообразнаго Осипова", а обижаютъ Майкова, "Елисея" котораго онъ называетъ "истинно смѣшнымъ" произведеніемъ, съ удовольствіемъ выписывая приэтомъ изъ него нѣсколько сальныхъ стиховъ 3).

Можно догадываться, что былыя симпатіи Пушкина къ Вольтеру воскресли не только подъ вліяніємъ окружавшей его въ Кишиневъ среды, но и вслідствіе того также, что Байронъ поэтизироваль личность Вольтера въ своемъ романѣ "Чайльдъ-Гарольдъ", которымъ увлекался, какъ мы знаемъ, Пушкинъ. Вольтеръ, по словамъ Байрона:

непостояненъ
Какъ вѣтеръ былъ, хоть былъ мудрецъ:
То веселъ онъ, то дикъ и страненъ...
Шалунъ, философъ и иѣвецъ,
Протей таланта, онъ не мало
Дивилъ людей, но больше ихъ

<sup>1)</sup> Нушкина въ Южной Россін. Р. Арх. 1866 г. стр. 1201.

<sup>· &</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 1179.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, стр. 1209—1210.

Его пасившки острой жало Всегда казнило въ шуткахъ злыхъ. Насмышки той ужасна спла: Онъ съ ней повсюду проникалъ— И эпиграммой поражалъ То тупоумнаго зоила, То убивалъ ей пошляка, То тронъ покачивалъ слегка 1).

Самъ Байронъ вліяль въ это время на Пушкина не протестомъ своимъ противъ пошлости и могучимъ изображеніемъ личной энергіи, а стороною темной—поэтизированьемъ чувственности, гордости, ненависти и злобы, т. е. мрачныхъ сторонъ исключительно-личной жизни.

Въ возгрѣніяхъ Пушкина въ это время замѣтно презрѣніе къ людямъ. (Вполнъ-ли искренно это презръніе другой вопросъ). Въ наставленін брату, Льву Сергиччу, поэть пишеть: "Теби предстоять столкновенія съ людьми, которыхъ ты не знаешь. Прежде всего постарайся думать объ этихъ людяхъ какъ можно хуже: тебф не часто придется поправлять свое сужденіе... Презирай ихъ какъ можно вѣжливѣе: въ этомъ заключается лучшее средство уберечься отъ ничтожныхъ предразсудковъ и ничтожныхъ страстишекъ, которые ждутъ тебя при появленіи въ свътъ... Не будь угодливъ и подавляй въ себъ чувство доброжелательства, къ которому можетъ быть склоненъ" 2).—Поэтъ думалъ въ эту пору, что и великіе историческіе д'вятели обыкновенно презираютъ человъчество. Въ своихъ "Историческихъ замъчаніяхъ" 1822 года <sup>3</sup>) онъ такъ говоритъ о Петрѣ Великомъ: "Петръ не страшился народной свободы и неминуемаго дъйствія просвъщенія, ибо довъряль своему могуществу и презираль человъчество, можеть быть, болье, чымь Наполеонъ".

Весьма въролтно, что подобнымъ идеямъ поэтъ нашъ учился у Байрона, такъ воспъвшаго Наполеона въ "Чайльдъ-Гарольдъ":

Въ дни бъдствій больше, чѣмъ въ дни счастья, Ты быль великъ. Тогда не зпалъ
Ты къ людямъ добраго участья
И къ нимъ презрѣнья пе скрывалъ.
Ихъ знать нельзя не презпрая;
Но ты былъ тѣмъ лишь виноватъ,
Что, это чувство не скрывая,
Его въ глаза бросать былъ радъ.
И ты паденьемъ поплатился! 4)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Соч. Байропа, въ пер. рус. поэтовъ.—Чайльдъ-Гарольдъ, пъснь III, стр. СVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Пушк. въ Алекс. эпоху, стр. 182.

<sup>3)</sup> Соч. т. V, стр. 14.

<sup>4) &</sup>quot;Чайльдъ-Гарольдъ", пъс. III, стр. XL.

Сочиная "Кавказскаго плѣнника", Пушкинъ, какъ мы видѣли, былъ знакомъ уже съ "Корсаромъ" Байрона и даже, вѣроятно, увлекался имъ (по крайней мѣрѣ можно думать, что изъ "Корсара" заимствоваль онъ часть фабулы своей поэмы); но онъ былъ свободенъ тогда отъ вліянія мрачнаго духа и характера этого произведенія англійскаго генія: подъ дѣйствіемъ чистыхъ впечатлѣній, просвѣтленный высокой любовью, поэтъ нашъ нарисовалъ свою Черкешенку личностью совершенно непохожей на героиню "Корсара" Гюльнару, личностью совершенно противоположной ей.—Гюльнара убила человѣка изъ чувства горячей любви къ корсару Конраду. Когда Конрадъ увидѣлъ на лбу ея каилю крови,

Въ глазахъ его на-въкъ та капля черной мглой Одъла красоту Гюльнары молодой.

Но эта печать преступленья на челѣ нисколько не останавливаетъ Байрона отъ идеализированія своей героини, напротивъ—даже способствуеть ея возвеличенію:

какъ-бы ни были гръхи ел велики

(говоритъ поэтъ),

Конрадъ не забывалъ, что тотъ ударъ сразилъ Врага его, и тъмъ его освободилъ; Что страсти ею всъмъ ножертвовано было, Чъмъ только красенъ міръ, что въ жизни сердцу мило, И что изъ-за него, прекрасная, она Небесной и земной надежды лишена.

Принесеніе въ жертву своей страсти и своему милому спокойствія сов'єсти на землів и надежды блаженства на небів—придають въ глазахъ Байрона особую поэтическую прелесть характеру Гюльнары. Пушкинъ такъ не думаль.

Но послѣ "Кавказскаго плѣнника", поддавшись инымъ впечатлѣніямъ жизни, онъ увлекся и темной стороной байронизма. Наиболѣе яркимъ слѣдомъ этого увлеченія осталась поэма 1821 года "Братья разбойники" 1). Поводомъ къ ея написапію послужило истинное происшествіе. "Не помню—кто замѣтилъ мнѣ (писалъ Пушкинъ въ 1830 г.) 2), что не въроятно, чтобы скованные вмѣстѣ разбойники могли переплытъ рѣку. Все это происшествіе справедливо и случилось въ 1820 г., въ бытность мою въ Екатеринославлѣ". То-же самое писалъ поэтъ ранѣе, 11 ноября 1822 г., кн. Вяземскому, прибавивъ еще: "ихъ отдыхъ на островкѣ, потопленіе одного изъ стражей мною не выдуманы" 3). Но,

<sup>4)</sup> Написана въ конце 1821 г. См. Соч. т. І, примет., стр. 559 (собств. указаніе Пущенна въ письме къ кн. Вяземскому).

<sup>2)</sup> Соч. т. V, Критическія зам'ятки, стр. 133.

Соч. т. І, примѣчанія, стр. 559.

оспованная на дъйствительно случившемся событи, поэма тъмъ не менъе написана подъ несомнъннымъ вліяніемъ "Корсара" и быть можеть—"Шильонскаго узника".

Не мѣшаетъ привести нѣсколько фактовъ, свидѣтельствующихъ объ интересѣ Пушкина къ этимъ двумъ произведеніямъ Байрона. Въ одномъ письмѣ 1822 г. изъ Кишинева онъ, между прочимъ, говоритъ: "Кстати о стихахъ: то, что я читалъ изъ Ш. У. (т. е. Шильонскаго узника) прелесть". Въ другомъ письмѣ (отъ 6-го окт. того-же года) поэтъ пишетъ: "Другъ мой, попроси И. В. Сленина, чтобы онъ, за вычетомъ остальнаго долга, прислалъ мнѣ 2 экз. Людмилы, 2 экз. Плѣнника, одинъ Шильонскаго узника". Въ поздиѣйшемъ письмѣ изъ Одессы (отъ 25 августа 1823 г.) встрѣчаются такія слова: "Кажется и хорошо—да новая печаль мнѣ сжала грудь,—мнѣ стало жаль моихъ покинутыхъ цѣпей" 1),— поэтическое выраженіе, заимствованное, усвоенное себѣ Пушкинымъ изъ "Шильонскаго узника".—О "Корсарѣ" не разъ упоминается въ "Евгеніи Онѣгинъ": такъ, рисуя образъ жизни героя романа въ деревнѣ, Пушкинъ разсказываетъ, что Онѣгинъ утромъ

отправлялся на-легкѣ Къ бѣгущей подъ горой рѣкѣ; Пѣвцу Гюльнары подражая, Сей Геллесиоптъ переплывалъ!.. (гл. 4, строф. XXXVI, XXXVII)

Говоря о томъ, какія сочиненія увлекали Татьяну, поэтъ называетъ между прочимъ и "Корсара" (гл. 3, стофа XII).

"Шильонскій узникъ" повліяль, кажется, на содержаніе поэмы Пушкина: въ немъ повъствуется о смерти двоихъ изъ трехъ братьевъ, заключенныхъ въ тюрьму; особенно подробно описываетъ Байронъ чувства старшаго брата при видъ смерти младшаго. Таково же содержаніе и "Братьевъ разбойниковъ", съ тою лишь разницею, что тутъ являются два, а не три брата, и младшій больетъ и умираетъ не въ тюрьмь, а посль побъга, на воль, въ льсу (внышнее измыненіе, внесенное Пушкинымъ въ произведеніе Байрона изъ дыйствительнаго событія). Должно замытить, что горе старшаго брата о младшемъ анализировано у Байрона глубже и выражено сильнье, чымъ у нашего поэта. — Форму изложенія своей поэмы Пушкинъ, можетъ быть, заимствовать изъ "Корсара": начинается произведеніе тымъ, что разбойники пируютъ, чарка пыннаго вина переходить изъ рукъ въ руки, и одинъ изъ собесъдниковъ разсказываетъ съ сокрушеннымъ сердцемъ о смерти своего брата, товарища по разбою. Это сильно напоминаетъ два по-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) "Русск. Стар." 1879 г., августь, стр. 679, 681 п 686.

слѣдніе куплета пѣсни разбойниковъ, начинающей собою поэму Байрона <sup>1</sup>):

Насъ море покроеть своей пеленой, Любовь подарить неподкупной слезой, А дружба товарищей чашей помянеть, Когда обходить ихъ всивненная станеть. И скажуть, добычу двля межь собой, Добытую сталью, ръшающей бой, Съ горящими тихой печалью очами: Погибше братья, зачёмъ вы не съ нами?

Но главнымъ образомъ вліяніе "Корсара" на Пушкина сказалось не въ этомъ, а въ выборѣ имъ героевъ своего произведенія и въ очеркѣ ихъ характеровъ.

Поэма Байрона есть выраженіе рѣзкаго протеста противь общества. Герой ея, Конрадъ,—человѣкъ съ высокой душою, съ глубокимъ чувствомъ, сильный волею; но онъ обманутъ людьми "въ благихъ своихъ мечтахъ",—и потому мстить людямъ:

Онъ созданъ былъ

(говоритъ поэтъ)

для него и мирных наслажденій, Но увлечень быль зломь во пучину преступленій: Онь слишкомо рано ядь предательства узналь, И слишкомо много зла и горя испыталь 2)

Самъ Конрадъ такъ выражается про себя:

Давно я сталь другимь—и сердцемь, и душою! Растоптанный, какь червь, я сдёлался змёсю <sup>3</sup>).

Онъ возсталъ зломъ на зло: онъ сдѣлался разбойникомъ, чтобы отплатить людямъ за ихъ безсердечіе. Его образъ—одинъ изъ многихъ примѣровъ, какъ Байронъ въ своей поээіи казнитъ безнравственность общества безнравственностью-же.

У Пушкина тоже герои поэмы сдѣлались разбойниками вслѣдствіе озлобленія на порочное общество.

Нашу младость

(разсказываетъ одинъ изъ нихъ)

Вскормила чуждая семья. Намь, дьтямь, жизнь была не въ радость: Уже мы знали нужды гласъ, Спосили горькое презрънье, И рано волновало насъ Жестокой зависти мученье.

<sup>1)</sup> Соч. Байрона въ пер. рус. поэтовъ, т. III, стр. 6.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 18.

Не оставалось у спротъ
Ни бъдной хижинки, ни поля,
Мы жили въ горф, средь заботъ.
Наскучила намъ эта доля,
И согласились межь собой
Мы жребій испытать иной:
Въ товарищи себъ мы взяли
Булатный ножъ да темиу ночь;
Забыли радость и печали,
А совъсть отогнали прочь.

Подобно Байрону, и Пушкинъ идеализируетъ своихъ героевъ. Его братъя разбойники—не простые грабители и убійцы, а—люди, любящіе свободу, красоту Божьяго міра, они—отважные юноши, у которыхъ

Душа рвалась къ лъсамъ и воль, Алкала воздуха полей.

## Одинъ изъ нихъ говоритъ:

Ахъ, юность, юность удалая! Житье въ то время было намъ, Когда, погибель презпрая, Мы все дълили пополамъ.

Зимой, бывало, въ ночь глухую Заложимъ тройку удалую, Поемъ и свищемъ, и стрълой Летимъ надъ сивжной глубиной.

Другой брать такъ вспоминаеть въ предсмертномъ бреду о своей прошлой жизни:

Зачёмъ мой братъ меня оставилъ Средь этой смрадной темноты? Не онъ-ли самъ отъ мирныхъ пашенъ Меня въ дремучій лёсъ сманиль, И почью тамъ, могущъ и страшенъ, Убійству первый научилъ? Теперь онъ безъ меня на волё Одинъ гуляетъ въ чистомъ полъ, Тяжелымъ машетъ кистенемъ, И позабылъ въ завидной долё Онъ о товарищё своемъ!...

Въ этихъ, вдохновенныхъ къ сожалѣнію, словахъ мы видимъ—какъ ни странно сказать, но это несомнѣнно—идеализированіе убійства и чувствъ убійцы. По безтрепетной послѣдовательности русской души въ ея увлеченіяхъ, Пушкинъ, подражая Байрону, пошелъ здѣсь дальше своего оригинала. (Можно замѣтить кстати, что онъ пошелъ въ этомъ случаѣ и дальше Шиллера въ его "Разбойникахъ"). У Байрона Копрадъ по

крайней мъръ грабитъ и ръжетъ своихъ враговъ, мусульманъ; у Пушкина его герои не щадятъ никого.

Идеализированіе Байрономъ корсара понятно: англійскому поэту жизнь не дала идеала, во имя котораго онъ могъ-бы казнить зло, и онъ возстаеть противъ безнравственности общества зломъ-же. Но онъ дѣлаетъ это (по справедливому замѣчанію нашего критика) съ горькой проніей и тоской по идеалѣ.—Пушкинъ былъ въ иномъ положеніи: возвеличивать разбойниковъ онъ могъ не по недостатку въ русской жизни идеаловъ, а лишь вслѣдствіе увлеченія подражаніемъ, и потому въ его поэмѣ не слышится ни горькой ироніи, ни тоски безнадежной. Его произведеніе есть, вслѣдствіе этого, явленіе съ правственной стороны болѣзненное, съ логической точки зрѣнія—нелѣпое.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что если русская природа Пушкина выразилась въ безпощадной послѣдовательности сочувственнаго изображенія зла, то она-же сказалась и въ другомъ, можетъ быть, пока помимо воли самого поэта, по крайней мѣрѣ безсознательно. Корсара Байропа не мучитъ совѣсть, или, если и мучитъ, то тѣмъ пе менѣе онъ убѣжденъ, что иначе поступать, какъ поступаетъ, онъ не можетъ, что мученія совѣсти — неизбѣжная его судьба. У Пушкина, напротивъ, пробужденіе совѣсти въ душѣ умирающаго разбойника сопровождается яснымъ сознаніемъ, что онъ могъ-бы въ жизни своей и не идти противъ нея. Вопль совѣсти умирающаго, просившаго брата въ предсмертномъ бреду сжалиться надъ старикомъ, не смѣяться надъ его сѣдинами, не мучить его,—

авось мольбами Смягчить за насъ онъ Божій гифвъ!..

этотъ воиль пробудилъ совъсть и въ другомъ братъ:

иногда щажу морщины-

(говорить онъ своимъ товарищамъ)

Миѣ страшно рѣзать старика, На беззащитныя сѣдины Не подымается рука.

Въ затаенной глубинъ души своей Пушкинъ не върилъ, самъ того не сознавая, своему идеализированію зла и смутно чувствоваль, что его герои достойны нравственной кары. Впослъдствіи, когда онъ это созналь, онъ прибавиль къ поэмъ пъсколько стиховъ 1), противоръчащихъ ея общему тону и содержанію:

Въ ихъ сердиъ дремлеть совъсть, Она проснется въ черный день.

<sup>4)</sup> Соч. т. I, приміч., стр. 559. Послідніе 16 стиховь поэмы впервые явились вы посмертномы пэд. Соч. Пушкина,

Въ письмѣ къ кн. Вяземскому (отъ 11-го ноября 1823 г.) <sup>1</sup>) Пушкинъ называетъ "Братьевъ разбойниковъ" — отрывкомъ. Изъ другаго его письма (къ Бестужеву, отъ 13-го іюля 1823 г.) <sup>2</sup>) мы узнаемъ, что была цѣлая поэма "Разбойники" и что онъ ее сжегъ. "Разбойниковъ я сжегъ (говоритъ поэтъ) и по дѣломъ. Одинъ отрывокъ уцѣлѣлъ въ рукахъ у Николая Раевскаго". Художественной-ли стороною своего произведенія, или его нравственнымъ смысломъ недоволенъ былъ Пушкинъ— мы не знаемъ. Но дорого-бы далъ поэтъ впослѣдствін за возможностъ такъ-же сжечь свою кошунственную поэму, — только для нея было упущено, время.

Какъ объяснить непостижимую странность противоръчія между чувственной жизнью Пушкина въ Кишипевъ и возбужденными этой жизнью нечистыми произведеніями его пера съ одной стороны—и чистыми вдохновеніями его въ Крыму и въ первое время пребыванія въ Бессарабіи съ другой стороны? На разстояніи нъсколькихъ мъсяцевъ цълый рядъ прямо противоръчащихъ другъ другу созданій поэта. Отчего идеальночистая любовь не удержала его отъ грубъйшихъ увлеченій?

Многое объясняють въ Пушкинѣ, и отчасти, конечно, основательно, его огненной натурой, арабской кровью. Но нельзя ставить духъ, его жизнь и развите въ полную зависимость отъ какой-бы то ни было крови.—Не было-ли въ самой любви поэта, въ его отношеніяхъ къ любимому существу чего-нибудь такого, что его мучило, что не давало ему возможности сосредоточиться на чистыхъ помыслахъ и идеалахъ? Не былъ-ли его кишиневскій разгулъ сознательной или безсознательной попыткой забыться, смутнымъ порывомъ нѣкотораго отчаннія? — Трудно положительно отвѣтить на такіе вопросы, потому что поэтъ скрылъ отъ насъ всю фактическую сторону своей чистой любви. Онъ даже скрылъ—была-ли это любовь къ одному лицу, или послѣдовательно къ двумъ лицамъ (на что указывалъ впослѣдствіи самъ, какъ увидимъ). Но стихотворенія его даютъ однако-жь нѣкоторые намеки, позволяющіе думать, что былъ какой-то разладъ, вышло какое-то несогласіе или непониманіе другъ друга между имъ и любимымъ человѣкомъ.

Поэтъ хотълъ оставить для насъ тайною -- былъ-ли онъ любимъ:

есть одна межь ихъ толною... Я долго быль ильненъ одною... Но быль-ли я любимъ, и къмъ, И гдъ, и долго-ли?.. Зачъмъ Вамъ это знать? не въ этомъ дъло!

<sup>4)</sup> Соч. т. I, примъч., стр. 559. Последніе 16 стиховь поэмы впервые явились вы посмертномь изд. Соч. Пушкина.

<sup>2)</sup> Пушкинь въ Южной Россіп.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1210.

говорить онъ въ пропущенной изъ "Евгенія Онѣгина" 3-й строфѣ 4-й главы. Но онъ былъ любимъ,—это несомнѣнно и изъ приведенныхъ уже раньше стихотвореній и изъ всего вообще ряда элегій его, вдохновленныхъ этимъ чувствомъ. Самъ онъ любилъ искренно и глубоко,—это тоже не подлежитъ сомнѣнію. Вотъ, напр., какъ цѣломудренно-просто, сдержанно, и вмѣстѣ горячо выразилась его любовь въ коротенькой элегіп 1821 года:

Зачвив безвременную скуку
Зловвщей думою интать
И неизбъжную разлуку
Вь уныны робкомъ ожидать?
И такъ ужь близокъ день страданья!
Одинъ, въ тиши пустыхъ полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянныхъ тобою дией:
Тогда изгнапьемъ и могилой,
Несчастный, будешь ты готовъ
Купить хоть слово дъвы милой,
Хоть легкій шумъ ел шаговъ

Но что-то такое помѣшало счастью любящихъ другъ друга людей, что-то прошло между ними. Съ глубокой тоскою говоритъ объ этомъ Пушкинъ въ позднѣйшемъ (1824 г.) стихотвореніи "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ":

Одпа была-предъ пей одной Дышаль я чистымь упоеньемь Любви поэзіп святой. Тамъ, тамъ, гдъ тънь, гдъ листъ чудесный, Гдѣ льются вѣчныя струи, Я находиль отонь небесный, Сторая жаждою любви. Ахъ, мысль о той душъ завялой Могла-бы юность оживить, И сны поэзін бывалой Толною снова возмутить! Она одна-бы разумъла Стихи неясные мои; Олна-бы въ сердцъ пламенъла Лампадой чистою любви. Увы! напрасныя желанья! Она отвергла заклинанья, Мольбы, тоску души моей: Земныхъ восторговъ изліянья, Какъ божеству, не нужно ей.

Она одна могла разумъть вполнъ творческія думы поэта, одна могла вполнъ понимать и любить его (и любила, какъ можно догадываться)— и она отвергла его. Дополненіемъ къ этому его признанію можеть слу-

жить одно четверостишіе 1825 года, неотділанное, должно быть, но вылившееся изъ сердца:

"Все кончено: межь нами связи пѣтъ". Въ послъдній разъ обнявъ твои кольни, Произносиль я горестныя пѣни; "Все кончено"—я слышу твой отвѣтъ.

Когда послѣдовалъ этотъ разрывъ—послѣ отъѣзда поэта изъ Кишинева или раньше—мы не знаемъ. Но возможность его замѣтна уже въстихотвореніяхъ 1821 года, и самъ Пушкинъ это чувствовалъ. Эти стихотворенія намекаютъ и на причины разрыва.

Не бойся вътренных невъждъ, Не бойся клеветы ревнивой, Не обмани моихъ надеждъ Своею скромностью пугливой.

Такими словами высказаль онъ свою ревнивую боязнь за любимую женщину, т. е. недостатокъ вѣры въ нее, а слѣдовательно и то, что онъ стоялъ ниже ея. Свое сознаніе въ этомъ послѣднемъ, свою боязнь за себя, за то, что былыя нравственныя паденія могутъ помѣшать чистому чувству и чистому счастью, онъ выразиль въ глубокой элегіи:

Мой другь, забыты мной слёды минувшихъ дётъ И младости моей мятежное теченье. Не спрашивай меня о томъ, чего ужь нётъ, Что было мнё дано въ печаль и въ наслажденье, Что я любилъ, что измёнило миё;

Пускай я радости вкушаю не вполнѣ; Но ты, невинная, ты рождена для счастья, Безпечно вѣрь ему, летучій мигъ лови: Душа твоя жива для дружбы, для любви,

Для поцёлуевь сладострастья. Душа твоя чиста: унынье чуждо ей; Свётла, какъ ясный день, младенческая совёсть. Къ чему тебе внимать безумства и страстей

Незанимательную повъсть?
Она твой тихій умъ невольно возмутить.
Ты слезы будешь лить, ты сердцемъ содрогнешься; Довърчивой души безпечность улетить,
И ты моей любви, быть можеть, ужаснешься.
Быть можеть навсегда... Нъть, милая моя,
Іпшиться я боюсь послъднихь наслажденій,—
Не требуй отъ меня опасныхъ откровеній:
Сегодня я люблю, сегодня счастливъ я!

"Сегодня счастливь я!"—поэть хочеть воспользоваться хоть однимь днемь истинной радости, боясь, что открытіе тайнъ его прошлой жизни лишить его счастья, какъ будто счастье можно строить на тайнъ и

какъ будто можно отъ той, кто все понимаетъ въ насъ и "требуетъ откровеній", скрыть наше прошлое. —Было темное прошлое... по оно-ли послужило причиной разрыва? Едва-ли. Прошлое можетъ быть прощено и забыто. Да и одна позднѣйшая элегія намекаетъ намъ, что разрывъ былъ не полный, не "навсегда", какъ поэтъ боялся; слѣдовательно, отъ него ждали возрожденія. Его мольба—не прерывать "томленья страшнаго разлуки" этой разлуки не остановила; но любимый человѣкъ звалъ его въ "край иной", говорилъ ему:

въ день свиданья, Подъ небомъ вѣчно голубымъ, Въ тѣни оливъ любви лобзанья Мы вновь, мой другъ, соединимъ.

Не крылась-ли причина разлуки (сначала временной, а потомъ обратившейся въ вѣчную) не въ прошломъ, а въ настоящемъ поэта, въ связяхъ его съ прошлымъ, въ неумѣньи его въ ту пору бурнаго кипѣнія силъ, въ 20-хъ годахъ, порвать связи съ порочными увлеченіями былой жизни? Онъ самъ, кажется, свидѣтельствуетъ объ этомъ въ стихотвореніи 1821 г.:

Ты правъ, мой другъ! напрасно я презрѣтъ Дары природы благосклонной.

Эта элегія служила отвётомъ на сдёланные ему кёмъ-то упреки; она оканчивается стихами:

Я зналъ и трудъ и вдохновенье,
И сладостно мив было жаркихъ думъ
Уединенное волненье!
Но все пропало!.. ръзвый нравъ:..
Душа часъ отъ часу нъмветъ.
Въ ней чувства пътъ. Такъ легкій листъ дубравъ
Въ ключахъ кавказскихъ каменветъ.

Пушкинъ чувствовалъ поэтической душою своей чистоту ожидавшаго его счастья; но онъ не смогъ подняться до этой чистоты: его чувство не просвътилось настолько, чтобы не быть "изліяніемъ" "земныхъ восторговъ", какъ онъ выразился. Да н въ самой элегіи "Мой другъ, забыты мной слѣды минувшихъ лѣтъ", не смотря на всю нѣжность и кротость ея чувства, на всю искренность раскаянія въ прошломъ, слышится нѣкоторая рисовка этимъ прошлымъ, своей горькой опытностью, своими страданіями отъ паденій и самыми паденіями, слышится нѣчто байроновское и демоническое, то, что впослѣдствіи съ такою страшной силой выразилось въ Лермонтовъ, подорвавши его титаническій геній.— Поэтъ стоялъ въ ту пору ниже овладѣвшаго душой его свътлаго чувства; оно вдохновляло его, оно осталось и потомъ душою его творчества до конца жизни; но въ Кишиневъ онъ не смогъ самъ стать въ-уровень

съ своимъ чувствомъ. Вотъ почему и не удержался онъ на высотъ идеала.

Это обстоятельство и зависѣвшій отъ него разрывъ— съ одной стороны возбуждали въ немъ мечты о смерти, съ другой стороны—можетъ быть вели его къ попыткамъ забыться въ окружавшей дѣйствительности. Отсюда главнымъ образомъ его кишиневскій (тогда непонятный, должно быть, для него самого) задоръ и разгулъ.

Два стихотворенія 1821 года свид'єтельствують о желаніи поэтомъ смерти: элегія "Умолкну скоро я" и "Гробъ юноши". Въ первой онъговорить о "долгихъ мученьяхъ" своей любви, о томъ, что "прощальный звукъ" его лиры будеть одушевленъ

Завѣтнымъ именемъ любовницы прекрасной,

и выражаеть надежду, что любимое существо съ "умиленьемъ промолвить" надъ его урной:

Онъ мною быль дюбимь; онъ мив быль одолженъ И ивсенъ и любви послёднимь вдохновеньемь.

Другая элегія, "Гробъ юноши", по миѣнію г. Анпенкова, вызвана извѣстіемъ о смерти лицейскаго товарища Пушкина — Корсакова, скончав-шагося во Флоренцін. Но въ это стихотвореніе поэтъ внесъ субъективное чувство,—оно слышится въ словахъ:

Изъ милыхъ женъ, его любившихъ, Одна, быть можетъ, слезы льетъ, И память радостей почившихъ Привычной думою зоветъ... Къ чему?

Гораздо больше было личнаго начала въ прекрасномъ стихотвореніи 1822 г. "Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный". Въ первоначальномъ своемъ видѣ ¹) элегія начиналась съ того, что поэту чужда и противна идея о смертности духа; затѣмъ говорилось, что онъ не можетъ примириться съ мыслью, будто въ вѣчномъ мірѣ "нетлѣнной славы и красы" онъ забудетъ тоску любви своей. Если не любовь, то что-же еще можетъ пережить меня за могилой? спрашиваетъ поэтъ.

Но если духъ безсмертенъ мой... Онъ мой, онъ въченъ образъ милой, Что безъ него душа моя?..

И оттого ему милы мечты поэтовъ, что тѣни умершихъ слетаютъ на землю, утѣшаютъ въ сновидѣніяхъ

Сердца покинутыхъ друзей

<sup>4)</sup> Соч. т. I, стр. 559—561 п т. V, стр. 499.

и, вкушая безсмертіе, поджидають ихъ въ свой блаженный міръ.—Затьмъ Пушкинъ измѣнилъ идею, порядокъ мыслей и затемнилъ смыслъ произведенія: въ послѣдней редакціи элегіи 1) онъ говорить въ началѣ, что любитъ мечты поэтовъ, увѣрившихъ насъ въ сношеніяхъ загробнаго міра съ міромъ земнымъ; далѣе высказываетъ мысль, что можетъ быть съ "гробовой ризой" человѣкъ бросаетъ всѣ земныя чувства, и душа тамъ,

гдѣ все блистаетъ Неглѣнной славой п'красой,

не сохранить "минутшихъ впечатлѣній" земной жизни. Быть можетъ за гробомъ, говоритъ поэтъ,

Не буду вёдать сожалёній, Тоску любви забуду я...

Стало неясно — забвенія-ли своего чувства хочеть онь, или желаль-бы и по смерти нав'єщать

Мфста, гдф было все мплфй?

Върнъе—первое, т. е. онъ хочетъ смерти любви своей, смерти въ высшей жизни духа. Только, кажется, этой высшей жизнью духа онъ себя обманываетъ, и за жаждою ея у него въ данную минуту кроется просто отчаянье.

Несправедливо было-бы думать, что въ эпоху увлеченій своихъ пошлой и матерьяльной жизнью Кишинева поэтъ весь отдавался этой жизни, всею душою. По справедливому замѣчанію г. Бартенева, Пушкинъ "быль неизиѣримо выше и несравненно лучше того, чѣмъ казался, и чѣмъ даже выражаль себя въ своихъ произведеніяхъ". Близкіе друзья его отзывались, что "его задушевныя бесѣды стоили многихъ его печатныхъ сочиненій, и что нельзя было его не полюбить, покороче узнавши" 2). Со всѣмъ этимъ совершенно соглашается Липранди 3), который, не понимая (по собственному сознанію) поэзіи Пушкина, высоко ставилъ поэта какъ человѣка, такъ высоко, что даже въ своихъ запискахъ не придаетъ особеннаго значенія его увлеченіямъ картами, кутежами, балами, объясняя ихъ пылкостью натуры. Липранди думаетъ, что "Пушкинъ всему предпочиталъ бесѣду съ людьми, его понимающими" 4). Пушкинъ самъ (въ статъѣ своей о Байронѣ) объясняетъ причину противорѣчія между тѣмъ, чѣмъ онъ казался, и тѣмъ, чѣмъ былъ па самомъ дѣлъ.

<sup>1)</sup> Соч. т. І, стр. 397.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Пушкинъ въ Южной Россін.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1412 п 1445—1447.

<sup>4)</sup> Тамъ-же, стр. 1239.

"Какъ судить о свойствахъ и образъ мыслей человъка по наружнымъ его дъйствіямь? (пишеть поэть). Онъ можеть по произволу надъвать на себя притворную личину порочности, какъ и добродътели. Часто по какому-либо своенравному убъждению ума своего, онъ можетъ выставлять на позоръ толив не самую лучшую сторону своего нравственнаго бытія; часто можеть бросать пыль въ глаза черни однѣми своими странностями" 1). Такъ дъйствовалъ Байронъ, такъ, увлеченный отчасти его примъромъ, поступалъ и Пушкинъ. Нельзя сказать, что онъ совсвмъ не быль такимъ, какимъ казался; но онъ несомнънно преувеличивалъ свои недостатки во вибшнемъ образъ своихъ дъйствій. Это-же было замътно и въ его одеждъ, въ его манерахъ. Кишиневское общество никакъ не могло простить ему его небрежнаго наряда, его архалука и бархатныхъ шароваровъ, въ которыхъ разгуливалъ онъ съ генералами, неприбранный и нечесаный, размахивая железною дубинкою, готовый всякую минуту сказать дерзость кому угодно 2). И въ то-же время вотъ какъ описываеть его наружность В. П. Горчаковь, впервые увидъвшій поэта въ ноябръ 1820 года въ Кишиневскомъ театръ: "въ числъ многихъ особенно обратиль мое внимание вошедшій молодой человікь, небольшаго роста, но довольно плечистый и сильный, съ быстрымъ и наблюдательнымъ взоромъ, необыкновенно живой въ своихъ пріемахъ, часто смѣющійся въ избыткъ непринужденной веселости, и вдругъ неожиданно переходящій къ дум'в, возбуждающей участіе. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хот влось-бы спросить: что съ тобою? какая грусть мрачить твою душу? Одежду незнакомца составляли черный фракъ, застегнутый на всв пуговицы, и такого-же цввта шаровары".

Мы уже видѣли настоятельно указываемую близко знавшимъ Пушкина въ Кишеневѣ Липранди свѣтлую черту характера поэта—безукоризненную смѣлость и самообладаніе въ рѣшительную минуту жизни. Тотъ-же свидѣтель говоритъ, что Пушкинъ постоянно искалъ случаевъ обогатить себя познаніями. Запальчивый и рѣзкій, особенно въ спорахъ, "онъ смирялся, когда шелъ разговоръ о какихъ-либо наукахъ, въ особенности географіи и исторіи, и легкимъ, ловкимъ споромъ какъ-бы вызывалъ противника на обогащеніе себя свѣдѣніями... Въ такихъ бесѣдахъ, особенно съ В. О. Раевскимъ, Пушкинъ хладнокровно переносилъ иногда довольно рѣзкія выходки со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя свѣдѣніями, продолжалъ обсужденіе предмета" з). Петербургскій знакомый Пушкина, цитируемый г. Бартене-

<sup>4</sup>) Тамъ-же, стр. 1170.

3) Pyc. Apx. 1866 r.—Crp. 1446—1447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Пушкинь въ Южной Россіп.—Стр. 1185 (Рус. Арх. 1866 г.).

вымъ (Якушкинъ?), встрътившій поэта въ Каменкъ и ръзко отозвавшійся объ его поведеніи, прибавляеть однако: "зато, когда заходилъ разговорь о чемъ-инбудь дъльномъ, Пушкинъ тотчасъ просвътлялся. О произведеніяхъ словесности онъ судиль върно и съ особеннымъ какимъ-то достоинствомъ. Не говоря почти никогда о собственныхъ сочиненіяхъ, онъ любилъ разбирать произведенія современныхъ поэтовъ, и не только отдаваль каждому изъ нихъ справедливость, но въ каждомъ изъ нихъ умѣль отыскать красоты, какихъ другіе не замѣтили" 1).

Военный кружокъ, въ которомъ вращался Пушкинъ въ Бессарабіи, быль весьма разнообразень: кром' товарищей жутежа и игроковь въ карты, поэтъ находилъ между офицерами и людей дельныхъ, просвещенныхъ, даже ученыхъ, съ которыми онъ и велъ серьезные беседы и споры. Такими людьми были напр. упомянутый Раевскій, Вельтманъ, Охотниковъ, Липранди. Раевскій отличался горячностью въ спорахъ съ Пушкинымъ; но поэтъ смирялъ свою "строптивость", когда желалъ удовлетворить своей любознательности. Вельтманъ, напротивъ, былъ хладнокровенъ; но "онъ (говоритъ Липранди) безусловно не ахалъ каждому произнесенному стиху Пушкина, могъ и дёлалъ свои замечанія, входилъ съ нимъ въ разборъ, и это не неправилось Александру Сергъевичу, не смотря на неограниченное его самолюбіе". Охотниковъ извёстенъ былъ своими страпностями, молчаливостью; въчно углубленный въ книги, онъ былъ "въ полномъ смыслъ слова человъкъ высшаго образованія и начитанности". Пушкинъ шутилъ пногда падъ нимъ, но уважаль его и "не разъ обращался къ пему съ серьезнымъ разговоромъ". Пушкинъ встръчалъ его у М. О. Орлова, а чаще у Липранди, у котораго сбирались названныя лица и другіе его знакомые ежепедёльно и по нѣскольку разъ въ недѣлю; на этихъ вечернихъ собраніяхъ не было ни картъ, ни танцевъ, а шли беседы и споры, и обыкновенно о дельныхъ предметахъ; Пушкинъ принималъ въ нихъ очень дъятельное участіе, и результатомъ всего этого было его влеченіе къ занятію исторіей и географіей. Липранди разсказываетъ, что Пушкинъ неоднократно, послѣ такихъ споровъ, на другой или третій день бралъ у него книги, "касавшіяся до предмета, о которомъ шла рѣчь". <sup>2</sup>) Обогащенію поэта познаніями и дальнъйшему ходу его умственнаго развитія способствовалъ также домъ Мих. Өед. Орлова, начальника 16 дивизіи, стоявшей въ Кишиневъ; Пушкинъ былъ принятъ здъсь какъ свой человъкъ. Орловъ, носившій въ обществъ лестное названіе "цвъта русскихъ генераловъ", участникъ 1812 года и заграничныхъ войнъ, первый изъ русскихъ вступившій въ Парижъ и договаривавшійся объ его сдачь, былъ

<sup>4)</sup> Pyc. Apx. 1866 r.—Crp. 1183—1184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pyc. Apx. 1866 r. crp. 1248—1250, 1251, 1252—1253, 1255—1256.

человѣкъ просвѣщенный и гуманный. Онъ женился въ 1821 году на Екатеринѣ Николаевнѣ Раевской, пріятельницѣ Пушкина по Юрзуфу, что еще болѣе сблизило поэта съ его домомъ, гдѣ онъ встрѣчался и съ Раевскими и съ Давыдовыми.—Наконецъ полезенъ былъ для Пушкина, если не въ умственномъ, то въ нравственномъ отношеніи, добрый старикъ Инзовъ, начальникъ его, чувствовавшій къ поэту искреннюю симпатію. "Инзовъ меня очень любилъ и за всякую ссору съ молдаванами объявлялъ мнѣ комнатный арестъ и присылалъ мнѣ скуки ради—французскіе журналы... Генералъ Пизовъ—добрый, почтенный... Онъ русскій въ душѣ", писалъ Пушкинъ въ своихъ запискахъ въ 1825 или 1826 году ¹). Онъ и жилъ у Инзова въ домѣ до переѣзда (по случаю пострадавшей отъ землетрясенія квартиры) къ Н. С. Алексѣеву.

Самообразованіемъ, чтеніемъ поэтъ поправляль въ Кишиневѣ недостатки своего лицейскаго воспитанія. О своихъ серьезныхъ занятіяхъ онъ самъ говоритъ въ прекрасномъ посланіи "Чаадаеву" (1821 г.): вспомнивъ о Петербургѣ, гдѣ оставилъ

шумпый кругъ безумцевъ молодыхъ,

## онъ продолжаетъ:

сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣиу, Для сердца новую вкушаю тишину. Въ уединеніи мой своенравный геній Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій. Владѣю днемъ монмъ; съ порядкомъ друженъ умъ; Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ; Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы Мятежной младостью утраченные годы, И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ паравиѣ.

Г. Анненковъ справедливо замѣчаетъ <sup>2</sup>), что "спокойный тонъ" этого посланія "находится въ совершенномъ противорѣчіи со всѣмъ, что мы знаемъ о бѣшеной жизни Пушкина въ эту эпоху".

Пушкинъ много читалъ, особенно въ первую половину своей жизни въ Кишиневъ; во вторую половину, съ наплывомъ въ городъ различныхъ выходцевъ съ юга, онъ, знакомясь съ ними, собиралъ отъ нихъ преданія, пъсни.—Книги поэтъ бралъ у Инзова, Орлова, Пущина, у Липранди 3). Послъдній занимался тогда "розысканіями и сводомъ повъствованій разныхъ историковъ, древнихъ и имъ послъдовавшихъ, вообще о пространствъ, занимающемъ Европейскую Турцію"; у него была большая спеціальная библіотека по этому предмету. Пушкинъ, по словамъ Липранди, интересовался многими сочиненіями, которыя и бралъ

¹) Соч. т. V, стр. 46-47.

<sup>2)</sup> Пушкинь въ Алекс. эпоху, стр. 156.

<sup>3)</sup> Пушкинъ въ Южной Россіи. Р. Арх. 1866 г., стр. 1140., пушкинъ въ его поэзіи.

у пего. Первое, имъ взятое, былъ-Овидій (во французскомъ переводъ), потомъ Валерій Флаккъ (Аргонавти), Страбонъ, Мальтебрюнъ, и другія, "особенно относящіяся до исторіи и географін". Іныя сочиненія онъ возвращалъ скоро, другія держаль долго 1). Должно быть Пушкинъ читалъ и русскія лътописи; на это указываеть сочиненіе имъ "Итсии о въщемъ Олегъ" и письмо къ брату (въ началъ 1823 года), гдъ опъ осуждаетъ Рылъева за помъщение, въ одной изъ его думъ, герба Россіи на щитъ Олега: "Во время Олега герба русскаго не было, а двуглавый орелъ есть гербъ византійскій и значить разділеніе имперіи на зап. и вост.; у насъ же опъ ничего не значить". Черезъ два года, когда Рылвевъ выпустилъ въ свътъ собрание своихъ думъ Пушкинъ писалъ ему: "Древній гербъ, св. Георгій, не могъ находиться на щитъ язычника Олега. Новъйшій, двуглавый орель, есть гербъ византійскій и принять у насъ во время Іоанна III-го, не прежде. Летописецъ говоритъ: тоже повеси щитъ свой на вратехъ, на показаніе поб'єды" 2). Здієсь кстати будеть сказать, что быть можеть это настоятельное указаніе Пушкина на историческую ошибку Рылбева, указаніе, подкрѣпляемое выпискою изъ лѣтописи, выражаетъ вообще его взглядъ на декабристовъ: поэтъ подмётилъ въ одномъ изъ главныхъ дъятелей тайнаго общества диллетантизмъ въ вопросахъ русской исторіи.—Древніе, классическіе писатели интересовали Пушкина; мы это знаемъ не только потому, что онъ бралъ ихъ у Липранди, но и изъ другихъ обстоятельствъ; такъ, наприм., пришлось ему однажды, проъзжая съ Липранди черезъ Измаилъ, познакомиться съ генераломъ Тучковымъ, у котораго въ библютекъ онъ увиделъ "вежхъ классиковъ и выписки изъ нихъ"; это привело его въ насмурное настроеніе, онъ сказаль своему спутнику, что охотно "остался бы здёсь на мёсяць, чтобы просмотрёть все то, что ему показывалъ генералъ" 3).

Очень естественно, что изъ древнихъ писателей болѣе всѣхъ занималъ его воображеніе поэтъ Овидій, тѣмъ болѣе, что Пушкинъ видѣлъ нѣкоторое сходство въ своей судьбѣ съ его судьбюю, и одинъ и тотъ-же край былъ мѣстомъ ссылки обоихъ. Свой интересъ къ римскому изгнаннику Пушкинъ выразилъ въ нѣсколькихъ изъ своихъ поэтическихъ созданій. Но едва-ли можно думать, что Овидій (какъ у насъ часто говорятъ) спльно повліялъ на развитіе генія Пушкина и на его творчество. Самъ поэтъ говоритъ объ Овидіи въ стихотвореніи "Желаніе" (1821 г.), сравнивая свою "лиру" съ лирой римскаго писателя:

Въ монхъ рукахъ Овидієва лира, Счастливая півица красоты,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. Apx. 1866 r., ctp. 1261.

<sup>2)</sup> Пушкнить въ Южной Россіп. Р. Арх. 1866, стр. 1206, прим. 107.

<sup>3)</sup> P. Apx. 1866 r., crp. 1281.

Пъвида иътъ, изгнанья и разлуки, Найдетъ-ли вновь свои живые звуки?

Но не-трудно замѣтить, что указываемое сходство—чисто внѣшнее и временное. Затѣмъ Пушкинъ посвятилъ древнему поэту большую и прекрасную элегію "Къ Овидію" (1821 г.). По справедливому замѣчанію г. Бартенева, стихотвореніе это вышло плодомъ изученія. Пушкинъ любилъ его. "Каковы стихи къ Овидію? (писалъ онъ брату). Душа моя, и Русланъ, и Плѣнникъ, и Noël, и все дрянь въ сравненіи съ ними" 1). Въ стихотвореніи онъ вспоминаетъ участь римскаго изгнанника, сравнивая ее со своею, выражаетъ сочувствіе его горю и удивляется его генію, скромно ставя свой даръ ниже.

Увы, среди толны затерянный пѣвецъ, Безвѣстенъ буду я для повыхъ поколѣній И, жертва темная, умретъ мой слабый геній Съ печальной жизнію, съ минутною молвой!.. Но если обо-миѣ потомокъ поздній мой Узнавъ, придетъ искать въ странѣ сей отдаленной Близь праха славнаго мой слѣдъ уединенный, Бреговъ забвенія оставя хладну сѣнь, Къ пему слетить моя признательная тѣнь, И будетъ мило миѣ его воспомпианье. Да сохранится же завѣтное преданье: Какъ ты, враждующей покорствуя судьбѣ, Не славой, участью я равенъ былъ тебѣ.

Но здёсь-же поэтъ указываетъ и различіе между собой и Овидіемъ: передавая его мольбы и горькія жалобы друзьямъ на свою судьбу, онъ говоритъ:

Чье сердце хладное, презрѣвшее харить,
Твое уныніе и слезы укорить?
Кто въ грубой гордости прочтеть безъ умиленья
Сіп элегіи—послѣднія творенья,
Гдѣ ты свой тщетный стонъ потомству передаль?
Суровый славянинъ, я слезъ не проливаль,
Но понимаю ихъ.

Далъе идетъ сравнение впечатлъний обоихъ поэтовъ въ новомъ для нихъ краю,—и впечатлъния оказываются совершенно различны:

Здёсь, ожививъ тобой мечты воображенья, Я повториль твои, Овидій, пфснопенья, И ихъ печальныя картины поверяль; Но взоръ обманутымъ мечтаньямъ измёнялъ. Изгнапіе твое пленяло втайнё очи, Привыкшія къ снёгамъ угрюмой полуночи.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) P. Apx. 1866 r., crp. 1164.

Наконець, образь Овидія является въ прекрасномъ, поэтическомъ преданін о немъ, которое разсказываеть старикъ-цыганъ въ поэмъ "Цыганы". Можетъ быть Пушкинъ дъйствительно въ народъ подслушалъ эту повъсть о римскомъ изгнанникъ. Овидій изображенъ здъсь без надежно тоскующимъ о своей родинъ, кроткимъ, незлобивымъ старцемъ, съ душою полной еще жизни, плъняющимъ людей своими разсказа ми, своимъ "дивнымъ даромъ пъсенъ"; слабый и робкій какъ дъти, онъ не можеть привыкнуть къ заботамъ той бедной жизни, въ которую бросила его судьба (черта, зам'втимъ мимоходомъ, совершенно не свойственная Пушкину).—Вотъ и все, или почти все, что можно найти у нашего поэта объ Овидін <sup>1</sup>). Къ этому можно еще прибавить, что онъ интересовался опредёленіемъ мѣста ссылки римскаго писателя 2).—Конечно, пластическая красота поэзін древняго автора не осталась безъ вліянія на музу Пушкина и способствовала усиленію художественности его поэзін. Но нельзя даже и сравнивать силы этого вліянія съ вліяніемъ Байрона.

Кром'в чтенія книгъ Пушкинъ интересовался и народной поэзіей и историческими преданіями и памятниками. Такъ, онъ записываль сербскія п'єсни, пользуясь знакомствомъ своимъ, черезъ Липранди, съ сербскими воеводами, поселившимися въ Кишиневъ: Вучичемъ, Ненадовичемъ, Живковичемъ, двумя братьями Македонскими и другими; Липранди говоритъ, что поэтъ часто при немъ спрашивалъ ихъ "о значеніи тёхъ или другихъ словъ для перевода" <sup>3</sup>). Въ бытность свою (проъздомъ) въ Пзмаилъ, поэтъ записалъ со словъ свояченицы негоціанта Славича, у котораго останавливался, какую-то славянскую пъсню, разсказываетъ Липранди <sup>4</sup>); онъ не понималъ нѣкоторыхъ словъ иллирійскаго нарвчія въ этой піснь, а продиктовавшая ее не могла ихъ объяснить, потому что, кромъ роднаго языка, знала лишь итальянскій; и Пушкинъ хлопоталъ найти человека, который-бы ихъ растолковалъ.— Вотъ съ какихъ поръ Пушкинъ интересовался славянской поэзіей и вотъ гдъ объяснение удивительной върности написанныхъ имъ виослъдствіи "Пісент западныхъ славянъ" духу народности.—Очень извістное, хотя довольно слабое, стихотвореніе "Черная шаль", пріобрѣтшее славу въ Кишиневъ и нравившееся въ то время самому поэту, было переложеніемъ одной изъ пъсенъ молодой молдаванки Маріониллы <sup>5</sup>).—Знаменитая пъсня Земфиры (въ "Цыганахъ")—"Ръжь меня, жги меня"—

¹) См. еще: "Чаадаеву" (1821 г.). "Баратынскому наъ Бессарабін" (1822 г.), "Наъ письма въ Н. П. Гибдичу" (1821).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Пат дневн. и восп. Липрандп. Р. Арх. 1866 г., стр. 1267—1269, 1276.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, стр. 1266—1267.

<sup>4)</sup> Тамъ-же, стр. 1279.

<sup>5)</sup> Изъ Зап. В. Г. Тенлякова (Пушк. въ Юж. Рос.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1130).

есть подражание молдавско-цыганской пъснъ "ардема, фридема"; поэтъ слышаль ее, вийсти съ другими писнями, отъ цыганъ, домашнихъ музыкантовъ боярина Варооломея, славившихся въ Кишиневѣ и приглашавшихся на вст вечера, гдт они, въ промежуткахъ между танцами, ивли, акомпанируя себв на скрипкахъ, кобзахъ и тростянкахъ, которыя Пушкинъ называль цавницами. Поэтъ попросилъ кого-то положить эту цыганскую песню на поты, которыя и были напечатаны впослъдстви (въ 1825 г.) въ "Московск. Телеграфъ" съ примъчаніемъ: "прилагаемъ ноты дикаго напъва сей пъсни, слышаннаго самимъ поэтомъ въ Бессарабіи" 1). — Липранди разсказываетъ 2), что поэтъ записалъ еще двъ современныя историческія народныя пъсни, которыя въ 1821 году безпрерывно слышались на улицахъ Кишинева и особепно занимали Пушкина. Въ одной изъ нихъ аллегорически разсказывалось о предательскомъ умерінвленій главы пандурскаго возстанія Тодора Владимірески по распоряженію князя Ипсиланти; въ другой-о такой-же предательской смерти храбраго Бимъ-баши-Саввы, родомъ Болгарина, подготовившаго движение болгаръ, которымъ Ипсиланти не умѣлъ воспользоваться. -- Поэть составиль въ это время и двѣ историческія повѣсти изъ молдавскихъ преданій, по разсказамъ гетеристовъ (Каравія, Дуки и Пендадеки). Онъ обработалъ ихъ позже, уже въ Одессѣ; онѣ назывались: "Дука, молдавское преданіе XVII вѣка" и "Дафна и Дабижа, молдавское преданіе 1663 года" 3).—Должно зам'єтить, что, интересуясь народной поэзіей, Пушкинъ сталъ, кажется, съ тъхъ поръ и вообще наблюдать сознательно народную жизнь; такъ, въ стихотвореніи 1821 года "Примъты" онъ указываеть, какъ на примъръ, достойный подражанія, на народное умёнье узнавать погоду по небу, облакамъ, по солнцу, по крику и плесканью въ водъ лебедей.

Историческія мѣстпости очень занимали Пушкина, по свидѣтельству Липранди; такъ напр. его волновали Бендеры, Измаилъ, Кагульское поле. Однажды темною ночью ему пришлось проѣзжать мимо послѣдняго; онъ дремалъ; но когда спутникъ назвалъ ему знаменитое поле, онъ встрепенулся и горячо пожалѣлъ, что не день и что ничего не видно; онъ заговорилъ о битвѣ при Кагулѣ, и оказалось, что онъ читалъ о всѣхъ подробностяхъ ея. Станція Клушаны (близь Бендеръ) "взбудоражила Пушкина (говоритъ Липранди): это бывшая до 1806 года столица Буджацкихъ хановъ"; поэтъ "никакъ не хотѣлъ вѣрить, что тутъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ, все разнесено, не то, что въ Бакчи-Са-

<sup>2</sup>) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1407—1408.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Разсказъ В. И. Горчакова.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1158.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, 1408—1411. Г. Бартеневъ почему-то говоритъ въ примъч.: отъ себя Пушкинъ ничего не прибавилъ тутъ.

рав; года черезъ полтора онъ могъ убъдиться и самъ въ томъ, что ему всъ говорили; до того-же времени оставался неспокойнымъ" ¹).

О серьезности умственныхъ интересовъ Пушкина въ эту эпоху свидътельствуетъ между прочимъ и то обстоятельство, что онъ началъ въ 1821 году свою автобіографію, которою и продолжалъ заниматься нѣсколько лѣтъ сряду. Эта автобіографія, къ сожалѣнію, истреблена <sup>2</sup>).

Въ нравственномъ отношеніи поэтъ стоялъ тоже гораздо выше, чёмъ какимъ выказывался и порой рисовался. —Мы видёли, какъ онъ совётоваль брату презирать людей; но въ томъ-же самомъ наставленіи, подрывая самъ подобные совёты, онъ писалъ: "хотёль-бы я предостеречь тебя отъ обольщеній дружбы, но у меня не хватаеть духу черствить твою душу въ пору ея сладчайшихъ мечтаній. Все, что я могъ-бы сказать тебё относительно женщинъ, было-бы совершенно безполезно. Замѣчу только, что чёмъ менѣе любятъ женщину, тёмъ вёрнѣе обладаніе ею. Но такое наслажденіе прилично старой обезьянѣ XVIII вѣка" 3). — Видя величіе Петра въ томъ, между прочимъ, что онъ будто-бы "презираль человѣчество", и сочувствуя, подобно Байрону, этому презрѣнію къ людямъ въ Наполеонѣ, Пушкинъ въ превосходномъ стихотвореніи "Наполеонъ" (1821 г.) вдохновенно выражаетъ совершенно иныя идеи, рисуя гордаго властителя совсѣмъ не по-байроновски. Онъ понимаетъ обаятельную красоту его личной энергіи и силы:

Давно-ль орлы твои летали Надъ обезславленной землей? Давно-ли царства упадали При громахъ силы роковой? Послушны волъ своеправной, Бъдой шумъли знамена, И налагалъ премъ державный Ты на земныя племена.

Но онъ обвиняетъ Наполеона именно за презрѣніе его къ человѣчеству, за его гордое самовластіе; онъ говорить съ возвышеннымъ негодованіемъ:

въ волнены бурь пародныхъ, Предвида чудный свой удваъ, Въ его надеждахъ благородныхъ Ты человъчество презрълъ. Въ свое погибельное счастье Ты дерзкой въровалъ душой... Тебя плънило самовластье Разочарованной красой.

<sup>1)</sup> Рус. Архивъ 1866 г., стр. 1271, 1279, 1281 п 1282.

<sup>2)</sup> Рус. Арх. 1866 г., стр. 1141 (Пушкинъ въ Юж. Рос.).

<sup>3) &</sup>quot;Рус. Старина" 1879 г. авг., стр. 683.

Военную славу, данную Наполеономъ Франціи, онъ называетъ "блистательнымъ позоромъ"; онъ сочувствуетъ народной Немезидъ, покаравшей тирана:

Европа свой расторгла плѣнъ; Вослѣдъ тпрану полетѣло, Какъ громъ, проклятіе племенъ, И длань народной Немезиды Подъяту видитъ великанъ. И до послѣдней всѣ обиды Отплачены тебѣ, тиранъ!

Но, считая низкимъ презрительно гордиться надъ падшимъ, поэтъ высказываетъ великодушную мысль примиренія и забвенія прошлаго:

Искуплены его стяжанья И эло воинственныхъ чудесъ Тоскою душною изгнанья Подъ сѣнью чуждою небесъ.

Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто въ сей день Безумнымь возмутить укоромь Его развѣнчанную тѣпь! Хвала!... Онъ Русскому народу Высокій жребій указаль И міру вѣчную свободу Изъ мрака ссылки завѣщаль.

Простымъ и добрымъ русскимъ человѣкомъ является намъ Пушкинъ въ этомъ своемъ сочинении.—Такимъ сознавалъ онъ себя и самъ порою; простымъ и добродушнымъ рисуетъ онъ себя, напр., въ стихотвореніи "Къ моей чернильницъ" (1821 г.):

Я весело клеймилт Зопла и невѣжду Иятномъ твоихъ чернилъ... Но ихъ пе разводилъ Ни тайной злости ивной, Ни ядомъ клеветы— И сердца простоты Ни лестью, ни измѣной Не замарала ты.

Далъе онъ съ сердечной теплотой вспоминаетъ друзей своихъ и переписку съ ними.—Въ Кишиневъ настоящихъ друзей у него не было, и это его тяготило. Въ 1821 г. онъ написалъ:

Всегда такъ будетъ и бывало, Таковъ издревле бълый свътъ: Ученыхъ много, умныхъ мало; Знакомыхъ тьма, а друга иътъ. Въ письмъ къ брату, 24 января 1822 года 1), онъ жалуется на молчаніе своихъ петербургскихъ друзей:

"письма твои слишкомъ коротки: ты или не хочешь, или не можешь миъ говорить открыто обо всемъ. Жалѣю: болтливость братской дружбы была-бы миъ большимъ утѣшеніемъ. Представь себѣ, что до моей пустыни не доходить ни одинъ дружескій голосъ, что друзья мои какъ нарочно рѣшились оправдать мою элегическую мизантропію, — и это состояніе песносно".

Вопреки Байрону, безконечно высоко поднимавшему гордую силу личности, Пушкинъ въ превосходной балладъ "Пъснь о въщемъ Олегъ" проводитъ идею, что личная гордость человъка должна уступать нравственному закону, волъ Бога. Доблестный, могучій, и гордый этимъ, Олегъ встръчаетъ кудесника, проситъ его предсказать ему судьбу и находитъ нужнымъ высокомърно ободрить служителя боговъ словами:

Открой мив всю правду,—пе бойся меня. Въ награду любаго возьмешь ты коня.

Кудесникъ наносить ударъ его гордости спокойнымъ, полнымъ возвышеннаго достоинства отвътомъ:

Волхвы не боятся могучих владыкъ, А княжескій даръ имъ не пуженъ; Правдивъ и свободенъ ихъ вѣщій языкъ И съ волей небесною друженъ.

Онъ предсказываетъ киязю смерть отъ любимаго коня. Олегъ гордо усмъхается, считая унизительнымъ для себя повърить, что судьба восторжествуетъ надъ его могучею силой. Онъ, правда, сдерживаетъ сейчасъ-же свое высокомъріе — и отдаетъ коня отрокамъ; но когда онъ узнаетъ потомъ, что конь умеръ раньше его, онъ даетъ полную волю своему тщеславію, и, гордо наступивши на черепъ своего былаго "слуги" и "товарища", говоритъ съ презрительной насмъшкой:

Такъ вотъ гдё танлась погибель моя? Миѣ смертію кость угрожала!

Но въ эту самую минуту кажущагося торжества его гордости сбывается воля боговъ: князь вскрикиваетъ, смертельно ужаленный выползшей изъчерена змѣей.

Въ "Пъснъ о въщемъ Олегъ" и въ одъ "Наполеонъ" Пушкинъ является намъ совершенно самостоятельнымъ, самобытнымъ поэтомъ и вполнъ русскимъ человъкомъ. Опъ и былъ въ эту пору русскимъ въ глубинъ души, не смотря на свои увлеченія байронизмомъ. Онъ любилъ

<sup>1)</sup> Pyc, Apx. crp. 1195.

все русское, хотя иногда и казалось иначе, хотя можетъ быть изъ кишиневской его жизни и не мало можно привести случаевъ, повидимому свид тельствующих о противномъ; напр. онъ никакъ не могь согласиться съ В. О. Раевскимъ, что въ русской поэзіи не должно приводить именъ изъ миоологін и изъ древней исторіи Грепіи и Рима, потому что у насъ и то и другое есть свое 1). Но онъ-же въ 1822 году писаль брату: "хочу съ тобою побраниться, — какъ тебъ не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо; ты не московская кузина" 2). Еще раньше (въ іюнъ 1821 года), тоже въ письмъ къ брату, онъ выразился: "пиши мнѣ по-русски, потому что, слава Богу, съ моими конституціонными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку 3). Нѣсколько нозже, въ Одессъ, Пушкинъ пришелъ въ восторгъ, когда генералъ Сабанъевъ явился на маскарадный вечеръ графа Воронцова во фракъ, на который нацъпилъ всъ имъвшіеся у него иностранные ордена и ни одного русскаго, что возбудило неудовольствие иностранныхъ консуловъ, увидъвшихъ въ этомъ желаніе оскорбить значеніе ихъ орденовъ въ глазахъ русскихъ. Пушкинъ восторгался (можеть быть нъсколько и легкомысленно) именно тёмъ, что иностранные ордена употреблены какъ маскарадный костюмъ. — О любви Пушкина къ родинъ и ея обычаямъ поэтически свид втельствуетъ коротенькое стихотворение 1822 г. "Итичка".

Въ чужбинѣ свято наблюдаю Родной обычай старины: На волю итичку выпускаю При свѣтломъ праздникѣ весны. Я сталь доступенъ утѣшенью; За что на Бога мнѣ роптать, Когда хоть одному творенью Я могъ свободу даровать.

Въ соблюденіи прекраснаго и простаго народнаго обычая нашелъ отраду изгнанникъ самовольный, И свътомъ, и собой, и жизнью недовольный <sup>4</sup>).

Весною 1821 года началось греческое возстаніе. Пылкое и благородное сердце Пушкина отозвалось горячимъ сочувствіемъ на народное движеніе. Онъ враждебно относился къ Турціи еще ранѣе, напр. въ 1820 году, когда писалъ стихотвореніе "Дочери Карагеоргія":

<sup>1)</sup> Изъ Дн. и восп. Липранди.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pyc. Apx. 1866 r., crp. 1195.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Рус. Стар. 1879 г., авг., стр. 674.

<sup>4) &</sup>quot;Къ Овидію", т. І, стр. 386.

Гроза луны, свободы воннъ, Покрытый кровію святой, Чудесный твой отецъ, преступникъ и герой, И ужаса людей и славы быль достопнъ.

Теперь онъ върилъ въ успъхъ возстанія, можеть быть болье самихъ грековъ, по крайней мъръ многихъ изъ нихъ. Въ своемъ дневникъ 1821 года онъ записалъ:

"2-го апръля вечеръ провелъ у Н. Д. Прелестная гречанка. Говорили объ А. Ипсиланти; между пятью греками я одинъ говорилъ какъ грекъ; всъ отчанвались въ успъхъ предпріятія этеріи. Я твердо увъренъ, что Греція восторжествуеть, и 2.500,000 турокъ оставятъ цвътущую страну Эллады законнымъ наслъдникамъ Гомера и Өемистокла" 1).

Пушкинъ съ глубокимъ интересомъ следилъ за ходомъ движенія и вель дневникъ его 2). Въ "Письмъ о началъ греческой революціи" 3), въ спокойномъ, объективномъ разсказъ поэта слышится его внутреннее одушевленіе. "Я вид'яль (говорить онь) письмо одного инсургента. Съ жаромъ описываетъ онъ обрядъ освященія знаменъ и меча князя Ипсиланти, восторгъ духовенства и народа: прекрасная минута надежды и свободы". Съ глубокимъ сочувствіемъ разсказываетъ Пушкинъ далъе о волненіи и приготовленіяхъ грековъ въ Одессь, о томъ, какъ "вев продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты; всѣ говорили о Леонидѣ, о Өемистоклѣ, всѣ шли въ войско счастливца Ипсиланти". Описавъ возникновение тайнаго общества, имъвшаго цълью освобождение Греціи, поэтъ прибавляеть свое замічаніе: "съ одной стороны просвёщеніе, съ другой глубокое невёжество-все покровительствовало вольнолюбимымъ патріотамъ. Всв купцы, все духовенство, до последняго монаха, считались въ обществе, которое ныпе торжествуетъ... Странная картина! Два народа <sup>4</sup>), давно падшихъ въ презрительное ничтожество, въ одно время возстаютъ отъ долгаго усыпленія и возобновляются, являются на политическомъ поприщѣ міра. Первый шагъ Инсиланти прекрасенъ и блистателенъ! Онъ счастливо началъ! —28 лътъ, оторванная рука, цёль великодушная! отнынё онъ принадлежить исторін. Завидная участь!" Письмо оканчивается вопросомъ: "что станеть дълать Россія?.. перейдемъ-ли мы за Дунай союзниками грековъ и врагами ихъ враговъ?" — Поэту очень хотѣлось вмѣшательства Россіи; онъ мечталь о войнь и самъ хотьль принять въ ней участіе; онъ даже написаль стихотвореніе "Война", въ которомъ обращается къ судьбѣ своей съ такими вопросами:

<sup>1)</sup> Cou., T. V, ctp. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Матер. г. Анненкова, стр. 95.—Соч. т. V, стр. 11—12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Соч., т. V, стр. 8—10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Греки и итальящы.

Родишься-ль ты во мий, слипая славы страсть, Ты, жажда гибели, свириний жарь героевь? Винока-ли мий двойной достанется на часть, Кончину-ль темную судиль мий жребій боевь?

Можно подумать, что все это подтверждаеть мысль Липранди, что Пушкинъ "созданъ былъ для поприща военнаго, и на немъ, конечно, былъ-бы лицемъ замѣчательнымъ" 1). Но, вникнувъ въ стихотвореніе, не трудно увидѣть, что жажда Пушкина участвовать въ бою—напускная, вызванная, должно быть, подражаніемъ Байрону: стихотвореніе въсущности холодно и напыщенно; да и окончаніе его обнаруживаетъ совсѣмъ не то, что поэтъ хотѣлъ въ немъ выразить. Онъ задается въ послъднихъ стихахъ вопросомъ—неужели умретъ съ нимъ и любовь его?

Ужель ни бранный шумь,
Ни ратные труды, ни ропоть гордой славы—
Ничто не заглушить монхъ привычныхъ думъ?
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бъжить меня.

Что-жь медлить ужась боевой? Что-жь битва первая еще не закипьда?

Въ этихъ слабыхъ стихахъ (довольно явномъ подражаніи монологу Орлеанской дѣвы Шиллера) сказывается (безсознательно, конечно) не одушевленіе дѣломъ свободы, а субъективное желаніе смерти, недовольство своей судьбою, то самое, что, какъ мы видѣли, вызвало у поэта стихотвореніе

"Умолкну скоро я" и другія.

Скоро Пушкину пришлось разочароваться въ надеждахъ па усивхъ возстанія, потому что онъ разочаровался въ нравственной доблести его дѣятелей. Вотъ что писалъ онъ объ этихъ послѣднихъ въ 1823 или 1824 г.: "Константинопольскіе нищіе, карманные воришки (coupeurs des bourses), бродяги безъ смѣлости, которые не могли выдержать перваго огня даже плохихъ турецкихъ стрѣлковъ—вотъ что они... Что касается до офицеровъ, то они еще хуже солдатъ... ни малѣйшей иден о военномъ искусствѣ, никакого понятія о чести, никакого энтузіазма... французы и русскіе, которые здѣсь живутъ, пе скрываютъ презрѣнія къ нимъ, вполнѣ ими заслуженнаго; да они все и переносятъ, даже палочные удары, съ хладнокровіемъ, по истинѣ достойнымъ Өемистокла. Я не варваръ и не апостолъ Корана (заключаетъ поэтъ), дѣло Греціи меня живо трогаетъ: вотъ почему я и негодую, видя, что на долю этихъ несчастныхъ (misérables) выпала священная обязанность быть защитниками свободы" 2). Должно

¹) Pyc. Apx. 1866 r., crp. 1454.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т. V, стр. 18—19.

быть подобныя мысли Пушкинъ высказываль открыто, и онѣ были перетолкованы въ смыслѣ несочувствія его дѣлу свободы Греціи. По крайней мѣрѣ ему пришлось оправдываться въ этомъ передъ кѣмъ-то изъ своихъ друзей: "что-бъ тебѣ ни говорили (писалъ поэтъ), ты не долженъ быль вѣрить, чтобы когда-нибудь сердце мое не доброжелательствовало благороднымъ усиліямъ возрождающагося народа". И онъ совершенно правъ: онъ искренно написалъ въ посланіи "Къ Овидію" стихъ—

Великодушный грекъ свободу вызываль,

искренно назваль Грецію, въ письмѣ къ брату (въ 1822 г.), "великолѣнной, классической, поэтической" страной, гдѣ "все дышетъ миоологіей и героизмомъ" ¹). Позднѣе, въ Одессѣ, въ 1823 году, онъ написалъ опять одушевленное воззваніе къ ней:

> Возстань, о Греція, возстань! Не даромъ напрягаеть силы, Не даромъ потрясаеть брань Олимпъ и Пиндъ, и Өермопилы.

Страна героевъ и боговъ, Расторгии рабскія вериги, При изньи иламенныхъ стиховъ Тиртея, Байрона и Риги!

Греческое возстаніе, участіе въ немъ Байрона, одушевленное сочувствіе Байрона свободѣ вообще, тайное общество у насъ на югѣ Россіи, съ представителями котораго поэтъ былъ близко знакомъ, встрѣчаясь главнымъ образомъ въ Каменкѣ 2), все это вызывало въ немъ вольнолюбивыя идеи и мечты, выразившіяся въ цѣломъ рядѣ литературныхъ произведеній.

Въ 1822 г. Пушкинъ написалъ (не для печати) весьма интересныя "Историческія замѣчанія". Здѣсь онъ развѣнчиваетъ отъ окружавшей ее тогда громкой славы дѣятельность императрицы Екатерины II. Онъ говоритъ, что Екатерина "заслуживаетъ удивленія потомства" лишь въ томъ случаѣ, "если царствовать значитъ знать слабость души человѣческой и ею пользоваться". Онъ считаетъ знаменитую императрицу человѣкомъ хитрымъ и лицемѣрнымъ. "Современемъ исторія оцѣнитъ (говоритъ поэтъ) вліяніе ея царствованія на нравы, откроетъ жестокую дѣятельность ея деспотизма подъ личиной кротости и терпимости; народъ угнетенный намѣстниками, казну расхищенную любимцами... ничтожность въ законодательствѣ, фиглярство въ сношеніяхъ съ философами". "Фарса нашихъ депутатовъ (прибавляетъ онъ), столь непристойно ра-

Русскій Архнет 1866 г., стр. 1201.
 Имѣніе Давыдовыхъ въ Кіевской губ.

зыгранная, имъла въ Европъ свое дъйствіе. "Наказъ" ея читали вездъ и на всёхъ языкахъ. Довольно было, чтобы поставить ее на-ряду съ Титами и Траянами. Но, перечитывая сей лицем врный Наказъ, нельзя воздержаться отъ праведнаго негодованія". (Интересно, что дальше Пушкинъ обвиняетъ русскихъ писателей въ "подлости" за преклоненіе передъ Наказомъ, выгораживая Вольтера, потому что ему будто-бы "простительно было превозносить добродътели Тартюфа", лицемъріемъ котораго онъ былъ "обольщенъ", —слъдъ увлечения поэта Вольтеромъ: онъ готовъ признать "Фернейскаго философа" наивнымъ, только-бы не обвинить его). Пушкинъ уличаеть имп. Екатерину въ возмутительныхъ противоречіяхъ: уничтоживъ названіе рабства, она "раздарила около милліона государственных крестынь, т. е. свободныхь хлебопашцевь, и закрѣпостила вольную Малороссію и польскія провинцін"; она "уничтожила пытку, а тайная канцелярія процебтала подъ ея патріархальнымъ правленіемъ"; она "любила просв'єщеніе, а Новиковъ, распространившій первый лучь его, перешель изъ рукъ Шешковскаго (домашній палачь кроткой Екатерины) въ темницу, гдъ и находился до самой ея смерти; Радищевъ былъ сосланъ въ Сибирь, Княжнинъ умеръ подъ розгами". (Здёсь поэтъ впалъ въ извёстную ошибку относительно автора осужденной пьесы "Вадимъ"). Наконецъ Пушкинъ обвиняетъ императрицу и за то, что она, "угождая духу въка" и изъ властолюбія "гнала духовенство"; "ограничивъ монастырскіе доходы, она нанесла сильный ударъ просвъщению народному; семинарии пришли въ совершенный упадокъ". Последняя мысль пе совсёмъ ясна и отзывается парадоксомъ; но по поводу ея Пушкинъ высказываеть весьма замъчательную по своему времени идею: бъдность и невъжество духовенства лишаютъ его вліянія на народъ, а это очень печально, потому что "въ Россіи вліяніе духовенства столь-же было благотворно, сколько пагубно въ земляхъ римско-католическихъ"; тамъ духовенство, подчиненное напъ, не завися отъ гражданскихъ законовъ, "вѣчно полагало суевърныя преграды просвъщению"; у насъ, напротивъ, завися, какъ и вев сословія, отъ единой власти, но "огражденное святыней религи", оно было всегда "посредникомъ между народомъ и государствомъ". Пушкинъ подозрѣваетъ, что императрица знала, что "мы обязаны монахамъ нашей исторіей, слъдственно и просвъщеніемъ", потому и гнала ихъ, имъя "свои виды". (Здъсь поэтъ, увлекаясь, придаетъ Екатеринъ слишкомъ ужь большую прозорливость). Тутъ-же высказываеть онъ и еще замъчательную мысль о нашемъ народъ: "папраспо почитаютъ русскихъ суевърпыми; можетъ быть нигдъ болбе, какъ между нашимъ простымъ народомъ, не слышно насмъщекъ насчетъ всего церковнаго. Жаль! (замѣчаетъ поэтъ) ибо греческое вѣроисповиданіе, отдильное отъ всёхъ прочихъ, даетъ намъ особенный національный характерь". Пушкинъ высказываетъ, такимъ образомъ, еще въ Кишиневъ, одну изъ важнъйшихъ идей будущаго славянофильства. —Замътимъ мимоходомъ, что интересно, по своему остроумію, еще одно соображеніе Пушкина: "самое сластолюбіе" Екатерины "утверждало ен владычество. Производя слабый ронотъ въ народъ, привыкшемъ уважать и пороки своихъ властителей, оно возбуждало — соревнованіе въ высшихъ состояніяхъ, ибо не нужно было ни ума, ни заслугъ, ни талантовъ для достиженія втораго мъста въ государствъ. Много было званныхъ и много избранныхъ". —Впрочемъ, поэтъ призпалъ и заслуги за царствованіемъ Екатерины: "униженная Швеція и уничтоженная Польша вотъ великія права Екатерины на благодарность русскаго народа"; Потемкинъ (по справедливому его замъчанію) "раздълитъ съ Екатериною часть воинской ен славы, ибо ему обязаны мы Чернымъ моремъ" 1).

Не мало вѣрнаго въ приведенныхъ мысляхъ Пушкина, котя онъ и преувеличиваетъ темныя стороны дѣятельности знаменитой императрицы.— Во всякомъ случаѣ всѣ эти историческія разсужденія Пушкина несомнѣнно свидѣтельствуютъ о серьезности его размышленій и чтеній въ Кишиневѣ. Передъ нами, очевидно, не тотъ легкомысленный юноша, какимъ былъ поэтъ, выѣзжая въ маѣ 1820 года изъ Петербурга, а серьезно образованный человѣкъ. Быстрая перемѣна, объясняемая могучими умственными силами его и его доброю волей и любовью къ просвѣщенію!

Писатели, упомянутые Пушкинымъ въ "Псторическихъ замѣчаніяхъ",— Радищевъ, Княжнинъ, очень его занимали. Такъ, въ писымѣ къ Бестужеву (отъ 13-го іюня 1823 года) онъ говоритъ: "какъ можно въ статъѣ о русской словесности забытъ Радищева? Кого-же мы будемъ помнитъ? Это молчаніе непростительно ни тебѣ, ни Гречу, а отъ тебя его не ожидалъ" 2).

Преслѣдуемый при Екатеринѣ "Вадимъ" Княжнина навелъ поэта, быть можетъ, на мысль самому избрать это лице героемъ своего поэтическаго сочиненія. Впрочемъ, Вадимъ и возстаніе Новгорода противъ власти первыхъ князей могли интересовать еще Пушкина и вслѣдствіе сношеній его съ членами тайнаго общества, которые, какъ мы знаемъ, занимались вопросами древней русской исторіи. На это есть и фактическое указаніе. 5-го февраля 1822 года былъ арестованъ въ Кишиневѣ В. Ө. Раевскій и отвезенъ въ Тираспольскую крѣпость. Онъ прислаль оттуда Пушкину, черезъ Липранди, довольно длинную пьесу въ стихахъ: "Пѣвецъ въ темницѣ". Липранди разсказываетъ, что Пушкинъ очень много разспрашивалъ его о Раевскомъ и, "начавъ читать "Пѣвца въ темницъ", замѣтилъ, что Раевскій упорно хочетъ брать все изъ русской исторіи, что и тутъ онъ нашелъ возможность упоминать о Новго-

¹) Соч. Цушкина, т. V, стр. 13—18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1209.

род'в и Исков'в, о Маре'в Посадниц'в и Вадим'в ". Особенно понравились Пушкину въ пьес'в Раевскаго стихи:

Какъ истуканъ нѣмой народъ Подъ игомъ дремлетъ въ тайномъ страхѣ: Надъ нимъ бичей кровавый родъ И мысль и взоръ казнитъ на плахѣ.

"Какъ это хорошо, какъ сильно! (воскликнулъ поэтъ) мысль эта мив нигдъ не встръчалась; она давно вертълась въ моей головъ; но это не въ моемъ родъ, это въ родъ Тираспольской кръпости, а хорошо". Повторивъ послъднюю строчку приведеннаго отрывка, онъ прибавилъ вздохнувъ: "послъ такихъ стиховъ не скоро-же мы увидимъ этого Спартанца" 1). Ему представился вскоръ случай повидаться съ Раевскимъ въ заключени; но поэтъ отказался отъ этого, боясь, что Раевскій при свиданіи будетъ говорить неосторожно, и тъмъ повредить себъ 2).

"Это не въ моемъ духъ" — сказалъ Пушкинъ. Но воображение его не могло разстаться съ образами Вадима, древняго Новгорода Великаго, и онъ задумаль трагедію "Вадимъ", для которой и написалъ, дошедшія до насъ, программу и одну сцену. Трагедія, должно быть, не удавалась, и поэтъ перешелъ къ поэмѣ того-же названія. Для нея онъ тоже оставилъ программу 3). Какъ видно, ему хотѣлось изобразить картину заговора и возстанія славянскихъ племенъ противъ иноплеменнаго ига. Но и поэма не пошла на-ладъ; мы имъемъ отъ нея только отрывокъ, довольно впрочемъ значительнаго объема. Не трудно догадаться о причинахъ неудачи Пушкина: во 1-хъ, онъ не былъ готовъ къ изображенію исторической жизни древней Руси, не настолько еще быль знакомь съ исторіей, чтобы переносить ее въ свое творчество; во 2-хъ, сама исторія выбранной имъ эпохи не могла дать ему достаточныхъ матерьяловъ для ен воспроизведения въ трагедии или поэмъ. Потому поэтъ сразу попалъ на ложную дорогу. Характеръ Вадима (насколько онъ виденъ изъ сохранившихся отрывковъ) оказывается байроническимъ. Вотъ наружность вождя славянскаго заговора:

> Влистаетъ младость Въ его лицѣ; какъ вешній цвѣтъ Прекрасенъ онъ; но минтся, радость Его не знала съ дѣтскихъ лѣтъ; Въ глазахъ потупленныхъ кручина.

Какъ Корсаръ или какой другой герой Байрона, Вадимъ презираетъ людей; онъ говоритъ про Новгородцевъ:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Pyc. Apx. 1866 r., ctp. 1450-1451.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 1470.

<sup>3)</sup> См. примъч. г. Ефремова въ I т. Соч. Пушкина, стр. 561-562.

Везумпые! Давно-ль они въ глазахъ монхъ Встръчали съ торжествомъ властителей чужихъ, И вольныя главы подъ иго преклопяли? Теперь зовутъ меня, а завтра, можетъ, вновь... Невърна пхъ вражда, невърна пхъ любовь.

Народныя массы, какъ видно изъ этихъ словъ, представлялись еще Пушкину, въ эпоху сочиненія неудавшейся трагедіи, легкомысленными, слѣпыми и неразумными; а отдѣльныя личности, вродѣ Вадима, стояли, по его представленію, высоко надъ толпою своимъ сознаніемъ и твердою волею. Это замѣтно отчасти и въ приведенномъ выше мнѣніи его объ императрицѣ Екатеринѣ: она (какъ мы видѣли) является у него ужь слишкомъ сознательно-хитрой.

Свою любовь къ свободѣ поэтъ выражалъ, при случаѣ, мимоходомъ, и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ. Такъ, въ стихотвореніи "Изъ письма къ Н. И. Гиѣдичу" (1821 г.) мы читаемъ стихи:

Все тотъ-же я, какъ быль и прежде: Съ поклономъ не хожу къ невѣждѣ, Съ Орловымъ спорю, мало пью, Октавію—въ слѣпой надеждѣ— Молебновъ лести не пою.

Въ одъ "Наполеонъ" Пушкинъ назвалъ день торжества французской революціи "великимъ, неизбъжнымъ, свътлымъ днемъ свободы", днемъ—

Когда, надеждой озаренный, Отъ рабства пробудился мірь, И гадль десницей разъяренной Низвергнуль ветхій свой кумирь.

Вольнолюбивыя мечты и чувство недовольства развивались, конечно, въ душѣ Пушкина и подъ вліяніемъ его тяжелаго гражданскаго положенія ссыльнаго, хотя онъ и не терпѣлъ притѣсненій, какъ мы знаемъ, отъ своего ближайшаго начальства. Но все-таки онъ не могъ, напр., уѣхать въ Петербургъ, хотя бы на короткое время; а ему этого хотѣлось сильно, особенно лѣтомъ и осенью 1822 года, когда онъ задумалъ издать свои стихотворенія 1). Почти все время своей кишиневской жизни онъ разсчитывалъ, и постоянно тщетно, что ссылка скоро кончится, какъ это видно изъ его писемъ къ брату 2). Онъ хлопоталъ объ этомъ, писалъ письмо къ гр. Нессельроде (министръ иностран. дѣлъ),—и все было безуспѣшно. А между тѣмъ въ Кишиневѣ онъ (по выраженію князя Вяземскаго въ одномъ письмѣ къ Тургеневу) 3) "пропадалъ отъ тоски, скуки

<sup>1)</sup> Рус. Арх. 1866 г. стр. 1174-1175.

<sup>2)</sup> Пушкинь въ Южной Россів.—Рус. Арх. 1866 г. стр. 1190.

з) "А. С. Пушкинъ по докум. остаф. архива", І, стр. 53.

и нищеты". Что онъ нуждался въ матерьяльныхъ средствахъ, мы это знаемъ и изъ словъ Липранди, которому поэтъ поручилъ, когда тотъ ѣхалъ въ февралѣ 1822 года въ Петербургъ, дать понять отпу о его нуждѣ въ деньгахъ. Тогда-же Пушкинъ поручилъ Липранди передатъ довольно толстый пакетъ, заключавшій въ себѣ нѣсколько писемъ, брату Льву Сергѣичу, но передать не иначе, какъ лично, точно такъ-же, какъ и два письма, Вяземскому и Чаадаеву, въ Москвѣ, такъ какъ Липранди предполагалъ проѣзжать черезъ этотъ городъ. Когда-же Липранди неожиданно долженъ былъ измѣнить путь и не могъ быть въ Москвѣ, то Пушкинъ, котораго онъ извѣстилъ объ этомъ, писалъ ему въ Кіевъ, прося привезти письма къ Чаадаеву и Вяземскому назадъ въ Кишиневъ, если ему не случится на возвратномъ пути побывать въ древней столицѣ. Изъ этого видно, что поэтъ былъ стѣсненъ и въ перепискѣ, по крайней мѣрѣ не рѣшался довѣряться почтѣ ¹). Все это волновало его и бѣсило, и вызывало порой изъ души такіе стихи, какъ "Узникъ":

Сижу за решоткой въ темнице сырой. Вскормленный на воле орель молодой 2), Мой грустный товарищь, махая крыломь, Кровавую инщу клюеть подъ окномь, Клюеть и бросаеть, и смотрить въ окно, Какъ будто со мною задумаль одно. Зоветь меня взглядомь и крикомъ своимь, И вымолвить хочеть: "давай улетимь! "Мы вольныя итицы; пора, брать, пора! "Туда, гдъ за тучей бъльеть гора, "Туда, гдъ синьють морскіе края, "Туда, гдъ синьють морскіе края, "Туда, гдъ гуляемь... лишь вътеръ да я!"

Свои вольнолюбивыя идеи Пушкинъ въ обыкновенной жизни, конечно, при живости своего характера, высказывалъ, вольно и невольно, въ разговорахъ, въ письмахъ. Онѣ и составляли, зачастую, истинную соль его извѣстнаго остроумія. Липранди передаетъ 3), напр., такой анекдотъ: однажды за обѣдомъ у Орлова зашелъ разговоръ о георгіевскихъ крестахъ (такъ какъ случайно замѣтили, что три четверти изъ числа присутствующихъ были георгіевскіе кавалеры), заговорили о значеніи этого ордена. Пушкинъ вдругъ, указавъ на есаула и Липранди, имѣвшихъ только солдатскаго Георгія, сказалъ, что ихъ кресты имѣютъ болѣе преммуществъ, чѣмъ всѣ другіе, и когда его спросили—почему, отвѣтилъ: лиотому что избавляютъ отъ тѣлеснаго наказанія". Это вызвало общій

<sup>1)</sup> Рус. Арх. 1866 г., стр. 1481—1482.

<sup>2)</sup> Въ изд. соч. Пушкина подъ ред. г. Ефремова напечатано "на воль". Едва-ли это върно, котя г. Ефремовъ и имълъ въ рукахъ подлинную рукопесь поэта. (Соч. I, 562). Не правильите-ли было-бы: "въ неволт"?

<sup>3)</sup> Рус. Арх. 1866 г., стр. 1260. пушкинь въ его поэзи.

смѣхъ; но послѣ обѣда поэтъ созналъ всю неосторожность своей выходки. Подобные же примѣры остроумія встрѣчаются и въ его письмахъ. "Кланяйся отъ меня цензурѣ, старинной моей пріятельницѣ (писалъ Пушкинъ Бестужеву 21 іюня 1822 г.). Кажется, голубушка еще не поумнѣла. Не понимаю, что могло встревожить ея цѣломудренность въ моихъ элегическихъ отрывкахъ... Старушку, повидимому, настращали моимъ именемъ; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи подъ именемъ кого вамъ угодно... Главное дѣло, чтобъ имя мое до нея не дошло, и все будетъ слажено" 1). Параллельно съ такими остротами поэта въ разговорахъ и письмахъ ходили по рукамъ его, эпиграммы, вродѣ написанной немного позднѣе, въ 1824 году, въ Одессѣ:

Тимковскій <sup>2</sup>) царствоваль—и всё твердили вслухъ, Что врядъ-ли гдё ословъ пайдешь подобныхъ двухъ. Явился Бируковъ, за нимъ во слёдъ Красовскій: Ну, право, ихъ умнёй покойный былъ Тимковскій.

Неосторожность рѣзкаго остроумія была, вѣроятно, одною изъ причинъ, почему Пушкину не удалось и на югѣ попасть, какъ прежде въ Петербургѣ, въ члены тайнаго общества: недовѣряли сдержанности его пылкой, впечатлительной натуры (быть можетъ считая такою натуру всякаго поэта).

Липранди, оправдывая Мих. Өед. Орлова отъ обвиненій въ участіи въ заговоръ, говоритъ, что Пушкинъ съ его неосторожнымъ языкомъ уцълъль отъ обвиненій и ареста благодаря именно тому, что попалъ въ общество Орлова, у котораго въ бесъдахъ не "питали молодежь заразительными утопіями", какъ, напр., это было въ Тульчинъ. Липранди думаеть, что Пушкинъ могъ-бы пострадать именно только за невоздержпость языка: "благородныя правила Пушкина (говорить онъ), его умъ песомивнию не сдвлали-бы его двятелемъ" 3). Фактической сторонв этого предположенія противоръчить свидътельство декабриста И. Д. Якушкина. Онъ въ своихъ запискахъ разсказываетъ <sup>4</sup>), что Пушкинъ присутствоваль въ деревив Каменкв, у Давыдовыхъ, на совъщании членовъ революціоннаго общества, когда обсуждался вопросъ о томъ, нужны или нъть тайныя общества въ Россіи. Не смотря на то, что поэтъ далъ утвердительный отвътъ, онъ не былъ принятъ въ число членовъ; тогда онъ въ сильномъ волиении чувства воскликнулъ: "я уже видълъ жизнь свою облагороженной, и все это оказалось злой шуткой!" Трудно согласовать съ этимъ разсказомъ мивніе Липранди о поэтъ; но его пельзи

<sup>1)</sup> Рус. Арх. 1866 г., стр. 1200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Цензоръ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1443—1444.

<sup>4)</sup> Пушк. въ алексан. эпоху, г. Анненкова, стр. 180.

и отвергнуть. По всей в роятности истина на-серединъ: по впечатлительности своей и способности увлекаться Пушкинъ могъ вступить въ общество, если-бы его приняли; по едва-ли бы онъ сдёлался тамъ дёятельнымъ членомъ: есть основанія думать, что онъ, по-временамъ по крайней мъръ, скептически относился къ будущимъ декабристамъ. Выше приведены были его отзывы о думахъ Рылбева и его ироническое выражение въ письм' къ брату: "слава Богу, съ моими конституціонными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку" 1). Прибавимъ теперь къ этому, что ему не понравился Пестель, игравшій въ обществ'є такую роль, хотя онъ и призналъ его умнымъ человѣкомъ. Въ дневникѣ своемъ въ 21 году онъ записалъ: "9 апръля. Утро провелъ съ Пестелемъ; умный чедовёкъ во всемъ смыслё этого слова. Mon coenr est matérialiste, mais ma raison s'y refuse. (Можно догадываться, замётимъ мимоходомъ, что эта мысль была вёроятно однимъ изъ предметовъ ихъ разговора и спора). Мы съ пимъ имѣли разговоръ метафизической, политической. нравственной и проч. Онъ одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, которыхъ я знаю... " 2) Таково впечатлъніе, произведенное Пестелемъ на поэта, съ одной стороны; а вотъ его другая сторона: "Я очень хорошо помию (говорить Липранди) 3), что когда Пушкинъ въ первый разъ увидёль Пестеля, то, разсказывая о немъ, говорилъ, что онъ ему не нравится и, не смотря на его умъ, который онъ искалъ вызывать философскими сентенціями, никогда-бы съ нимъ не могъ сблизиться".

Идеи Пушкина о вольности, о свободѣ съ одной стороны граничатъ съ темной стороной байронизма, съ оправданіемъ пенависти и кровавой расправы во имя свободы; съ другой стороны сближаются съ его былыми, русской деревней, русской народной жизнью навѣянными мыслями объ освобожденіи крестьянъ.

Непріятнымъ диссонансомъ среди возвышенныхъ сочувственныхъ отношеній поэта греческому освободительному движенію, звучатъ слова, сказанныя цмъ по поводу мысли объ опасности для князя Ипсиланти отъ измѣнническаго кинжала Али-паши: "признаюсь, я-бы посовѣтовалъ кн. Ипсиланти предупредить престарѣлаго злодѣя: правы той страны, гдѣ онъ теперь дѣйствуетъ, оправдываютъ политическія убійства" 4). Эти слова—предложеніе въ чистое дѣло (какимъ тогда представлялось Пушкину дѣло Ипсиланти) вмѣшать низкій способъ расправы съ врагами.— Такъ-же мало сочувственно и стихотвореніе 1821 года "Кинжалъ", на-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., авг., стр. 674.—Интересно, что поэть заподозриль присутствіе народности въ характерахъ заговорщиковъ. Въ этомъ, говорятъ, сомелся съ нимъ въ наше время гр. Л. Н. Толстой.—Такъ, должно быть, думаль и авторъ "Горя отъ ума".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т. V, стр. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1258.

<sup>1)</sup> Cou. T. V, crp. 10.

писанное въ честь Занда, убійцы Коцебу. Н'екоторыя строки его, д'ей-ствительно, звучать энергіей, какъ напр.:

Шумитъ подъ Кесаремъ завътный Рубиконъ, Державный Римъ упалъ, главой поникъ законъ, Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый...

или последній куплеть:

Въ твоей Германіи ты (т. е. Зандъ) вѣчной тѣнью сталъ, Грози бѣдой преступной силь—
И на торжественной могиль
Горитъ безъ надинси кинжалъ.

Но въ-цёломъ стихотвореніе нёсколько напыщенно, потому что проводить ложную идею, будто кинжаль— "свершитель проклятій и надеждь", "тайный стражъ свободы",

Последній судія позора и обиды-

тамъ,

Гдъ Зевса громъ молчить, гдъ дремлеть мечъ закона.

Съ другой стороны мысли о свободъ, появившіяся въ душъ Пушкина подъ вліяніемъ политическихъ событій и замысловъ, напомнили ему его былое сочувствие къ тяжелому положению русскаго крестьянина, сочувствіе, которое онъ съ такою силою высказаль въ 1819 г. въ стихотвореніи "Деревня".—Поэтъ задумаль теперь написать комедію изъ кръпостническаго и шулерскаго міра, которая должна была изображать ужасы кръпостнаго права. Къ сожалънію комедія не была написана (вёроятно потому, что поэть не могь еще совладать съ подобнымъ сюжетомъ). Изъ дошедшей до насъ программы ея 1) мы видимъ, что тамъ предполагалась сцена, въ которой дворянинъ проигрываетъ въ карты своего стараго слугу, въ его присутствии. Отвлеченно свои мысли о кръпостномъ правъ Пушкинъ высказаль въ 1822 г. въ "Историческихъ замъчаніяхъ" 2). Мысли эти достойны полнаго вниманія. Сочиненіе начинается съ сочувственнаго отзыва о реформъ Петра; далъе поэтъ высказываетъ мысль о ничтожествъ его преемниковъ, которые съ "суевърною точностію", безсознательно подражали ему во всемъ, и только благодаря этому "производили добро", "ненарочно"; затёмъ переходитъ къ разсуждению о попыткахъ у насъ аристократии ограничить самодержавіе.

"Къ счастію (говорить онъ) хитрость государей торжествовала надъчестолюбіемъ вельможъ и образъ правленія остался неприкосновеннымъ.

<sup>4)</sup> Соч. т. V, стр. 7—8. Г. Анненковъ предполагаетъ (п по всей въроятности справедливо), что къ этой именно комедін относится одинъ сохранившійся стихотворный отрывокъ комедін (см. Соч. I, 399).

<sup>2)</sup> Соч. т. V, стр. 14.

Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ. Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и проч. совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостнаго состоянія, ограничили-бы число дворянъ и заградили-бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло-бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; ныньче-же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду съ просвѣщенными народами Европы".

Таковы мысли Пушкина въ Кишиневѣ о крѣпостномъ правѣ, объ аристократіи и феодализмѣ. Какъ противорѣчитъ все это мнѣнію объ аристократическихъ тенденціяхъ великаго поэта и его высокомѣрномъ отношеніи къ народу <sup>1</sup>).

Пушкинъ высказалъ въ своихъ "Историческихъ замѣчаніяхъ," еще задолго до разцвѣта славянофильскаго ученія, одно изъ его важнѣйшихъ и справедливыхъ положеній. Можетъ быть, нѣкоторыя изъ этихъ мыслей появились въ его умѣ подъ вліяніемъ чтенія Радищева, Новикова, писателей, которыхъ онъ тогда такъ уважаль; во всякомъ случаѣ онѣ свидѣтельствуютъ о его знакомствѣ съ русской исторіей и о серьезности его размышленій.

Между тъмъ какъ поэтъ отдавался самымъ разнообразнымъ увлеченіямъ, дурнымъ и хорошимъ, и задумывалъ большія произведенія такого рода, которыя потомъ приходилось сжигать, или которыя онъ еще не въ силахъ былъ выполнить, въ душѣ его зрѣло, можетъ быть долгое время невѣдомо для него самого, сочиненіе, зерно котораго запало въ нее еще давно, въ Крыму, въ эпоху перваго разцвѣта его чистой любви. Это сочиненіе—"Бахчисарайскій фонтанъ"; на немъ и лежитъ от-

Соединеніе возвышеннаго ума съ богатствомъ и знатнымъ родомъ поэть считаетъ здісь случайной ошибкой судьбы.

<sup>4)</sup> Насколько онь быль далекь отъ аристократизма, видио даже въ мелочахъ, напр. въ (довольно, впрочемъ, странномъ) стихотвореніи "Къ портрету ки. Вяземскаго" (1821 г.):

Судьба свои дары явить желала въ немъ, Въ счастливомъ баловив соединивъ ошибкой Богатство, знатный родъ съ возвышеннымъ умомъ, И простодущие съ язвительной улыбкой.

печатокъ чистаго чувства. Фонтанъ въ развалинахъ Бахчисарайскаго дворца, когда поэтъ увидалъ его, поразилъ и пленилъ его воображение.

Фонтанъ любви, фонтанъ живой! Принесъ я въ даръ тебѣ двѣ розы. Люблю немолчный говоръ твой И поэтическія слезы.

Твоя серебряная пыль Меня кропитъ росою хладной: Ахъ, лейся, лейся, ключъ отрадимй! Журчи, журчи свою мнѣ быль... 1).

Эта быль, поэтическое преданіе о Маріи и Заремѣ, связанное съ фонтаномъ, до глубины души взволновала поэта. Воображеніе, сердце и мысльего увлекъ идеально-чистый образъ Маріи.

Фонтанъ любви, фонтанъ печальный! И я твой мраморъ вопрошалъ:

Хвалу странъ прочелъ я дальной;
Но о Марін ты молчалъ...

Свътило блъдное гарема!
И здъсъ ужель забвенно ты?
Или Марія и Зарема
Однъ счастливыя мечты?
Иль только сонъ воображенья
Въ пустынной мглъ нарисовалъ
Свои минутныя видънъя,
Души пеясный идеалъ?

Преданіе о Маріи Пушкинъ слышалъ (по его словамъ) <sup>2</sup>) отъ одной женщины. Кто была она? "Я прежде слыхалъ о странномъ памятникѣ влюбленнаго хана. К\* поэтически описывала мнѣ его, называя "la fontaine des larmes" (говоритъ поэтъ въ письмѣ изъ Тавриды). "Радуюсь, что мой Фонтанъ шумитъ (писалъ онъ позднѣе, въ 1824 году). Недостатокъ плана не моя вина. Я суевѣрно перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой женщины:

Aux douces lois des vers je pliais les accents De sa bouche aimable et naïve...

Впрочемъ и писалъ его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны". Въ этихъ небрежныхъ (и должно быть намѣренно небрежныхъ) словахъ поэта слышится намекъ на его душевную тайну. Можно догадываться, что та, чей разсказъ онъ "суевѣрно", т. е. благоговѣйно, переложилъ въ свои стихи, не измѣняя его и не передѣлывая, была—тотъ самый человѣкъ, одной мыслью котораго онъ дорожилъ, по

¹) Соч. т. I, стр. 320—321.

<sup>2)</sup> Соч. т. І, прим'яч. стр. 564—565. См. также матер. г. Анненкова стр. 97—98.

его словамъ, болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ, тотъ человѣкъ, котораго одного онъ любилъ свято и пеизмѣнно, про кого онъ сказалъ поздиѣе:

Одна была... Предъ пей одной Дышалъ я чистымъ упоеньемъ Любви поэзіп святой.

Она и вдохновила его изобразить чистьйшій идеаль человька вь образь Маріи "Бахчисарайскаго фонтана".—Поэма эта страдаеть многими недостатками. Самъ Пушкинъ сказаль про нее впосльдствін: "Бахчисарайскій фонтанъ" слабье "Пльпника" 1). Она (опять-таки по справедливому замьчанію самого поэта) 2), "отзывается чтеніемъ Байрона", отъ котораго онъ тогда "съ-ума сходилъ". Въ ней неопредъленно, нереально еще очерчени характеры, и характеры эти далеки, какъ и въ "Кавказскомъ пльнникъ", отъ русской дъйствительности. Но не только правъ кн. Вяземскій, выразившійся про нее въ одномъ письмъ: "Фонтанъ брызнетъ на васъ поэзіей" 3); а можно даже сказать, что, при всъхъ недостаткахъ поэмы, ръдко потомъ Пушкинъ, и въ своихъ болье совершенныхъ въ художественномъ смысль созданіяхъ, подымался до такой поэзіи, до такого высокаго идеала, до такой гармоніи и прелести стиха.

На "Бахчисарайскомъ фонтанъ" замътно вліяніе Байрона, по признанію самого поэта. Можно даже опредълительно указать—какое изъ произведеній англійскаго генія отразилось на поэмъ Пушкина: это— "Гнуръ". — Объ поэмы повъствують о гаремной жизни, о любви, нарушившей ея законы, объ измънъ, ревности, страданіяхъ, объ убійствъ и мщеніи. Только у Байрона измъняетъ владыкъ гарема одна изъ женъ, полюбившая гнура; а у Пушкина измъняетъ самъ властелинъ, полюбившій христіанку Марію. — Оба поэта рисуютъ роскошь южной природы, ея сады, розы, соловьиныя пъсни; сходными чертами изображаютъ они дворецъ, запустъвшій послъ разыгравшейся въ немъ драмы; у обоихъ разсказывается, какъ сокрушенный сердцемъ властелинъ ищетъ забвенія горя въ бурной жизни (у Байрона—въ охотъ, у Пушкина—въ войнъ). Оба сходно обрисовываютъ наружность одалисокъ:

Кто красоту ел очей Опишеть? Что сравнится съ ней? Газели очи не чернъй И не прекрасиъе: порой Они темнъе милы ночной, Норою томны, какъ печаль,

<sup>1)</sup> Соч. т. V, 132, Критач. замётки (1830 г.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же

<sup>3) &</sup>quot;А. С. Пушкинъ. По документамъ Остафьевск. архива", ч. I, стр. 55.

Порою искры сынлють въ даль, И въ искрахъ тёхъ ел душа Горитъ, какъ Джамшидъ хороша ¹)

Такъ изображаетъ Байронъ свою Леилу. Зарема Пушкина напоминаетъ ее:

кто съ тобою,
Грузинка, равенъ красотою!
Вокругъ лилейнаго чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительныя очи
Яснее дня, чернее ночи.
Чей голось выразить сильней
Порывы пламенныхъ желаній?
Чей страстный поцелуй живей
Твоихъ язвительныхъ лобзаній?

Но главное сходство поэмъ—въ характерахъ Глура и Заремы. Оба они—люди огненной страсти, не знающей предъла, не останавливающейся ни передъ чъмъ, не отступающей передъ преступленіемъ. Когда погибла Леила, любившій ее Глуръ не можетъ не упиться кровавымъ мщеніемъ: оно дороже ему душевнаго спасенія. Любовь моя (псповъдуется онъ монаху передъ смертью),

- какъ жаркая струя
Изъ груди Этны огневой,
Испепеляетъ все собой.
Я не умѣю говорить,
О нѣжной страсти слезы лить,
Но если блѣдиость на щекахъ
И дрожь порою на устахъ,
Но если сердца страстный жаръ,
И мозгъ въ огнѣ, и смѣлость дѣлъ,
И стали мстительный ударъ,
И все, что сдѣлать я хотѣлъ,
И что я чувствовалъ, чѣмъ жилъ—
Была любовь, то я любилъ.

Опа мнѣ сердце отдала— Одно, чего у ней отнять Чужая воля не могла; Я отдаль все, что могь отдать: Я даль могнлу палачу. Онъ вѣчнымъ сномъ въ долинѣ сиптъ; Но смерть его не тяготитъ Моей души—и я молчу... 2)

<sup>1)</sup> Соч. Байрона, въ пер. русск. поэтовъ, т. I, стр. 104. Джамшидъ—знаменитый рубинъ султана Джамшида.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, стр. 114, 113.

Такой-же безпредѣльной, безпощадной страстью дышетъ и знойная любовь Заремы: "Я для страсти рождена" (говорить она Маріи),

ты любить, какъ я, не можешь, Зачёмь-же хладной красотой Ты сердце слабое тревожишь? Оставь Гирея мив-онъ мой, На мит горять его лобзанья, Онъ клятвы страшныя мнъ далъ, Давно всѣ думы, всѣ желанья Гпрей съ монми сочеталъ; Меня убъетъ его измѣна... Я плачу!.. Видишь, я кольна Теперь склоняю предъ тобой, Молю, винить тебя не смѣя, Отдай мнъ радость и покой, Отдай мив прежняго Гпрея!.. Не возражай мнв ничего-Онъ мой; онъ ослепленъ тобою. Презрѣньемъ, просьбою, тоскою, Чемъ хочешь, отврати его. Клянись...

и она требуеть отъ Маріи клятвы вѣрою, она грозить:

слушай: если я должна Тебъ... кинжаломъ я владѣю,— Я близь Кавказа рождена.

Она потомъ и исполняеть свою угрозу, быть можеть сознавая, что заплатить за это жизнью. Все это—сходство поэмъ Пушкина и Байрона.

Справедливость требуеть сказать, что страсть сильнье, ярче, огненнье выражена у Байрона, чымь у нашего поэта. Воть, напр., съ какою глубиной и силой нарисовано чувство Глура, когда страданія любви довели его до самозабвенія и до видыній: онъ обращается къ умершей со словами:

Ужели правда, ангелъ мой,
Что ты являешься ко мив
Изъ грота темпаго на див
Просить о мъсть нодъ землей,
Чтобъ тамъ найти себъ покой?
Коснись холодною рукой
Моихъ пылающихъ ланитъ—
И жаръ миновенно съ нихъ сбъжитъ;
Иль положи, мой другъ, ее
На сердце бъдное мое.
Но кто-бъ ты ин былъ, ангелъ дия,
Молю, не покидай меня,
Иль унеси меня съ собой
Туда, гдъ царствуетъ покой,

Въ твой вѣчно-тихій, свѣтлый кровъ, Гдѣ нѣть ни вѣтра, ни валовъ...  $^{1}$ )

Сердце замираеть при чтеніи этихъ строкъ. У Пушкина мы пе найдемъ въ поэмѣ такого тонкаго анализа ощущеній, такого пламеннаго ихъ выраженія.—"Гяуръ" стонтъ выше "Бахчисарайскаго фонтана" и еще въ одномъ отношеніи: онъ свободенъ отъ того недостатка, на который указалъ въ своемъ произведеніи самъ Пушкинъ. "Молодые писатели (читаемъ мы въ "Критическихъ замѣткахъ" поэта, написанныхъ въ 1830 г.) <sup>2</sup>) вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрогаются, кохочутъ дико, скрежещутъ зубами и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама". Слова эти относятся къ стихамъ, повѣствующимъ о томъ, какъ Гирей послѣ смерти Марін

часто въ свчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,
Блёдньетъ, будто полный страха... и т. д.

Въ "Гяуръ" Байрона нътъ мелодраматизма 3).

Но есть въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ" такая черта, которая, при всъхъ недостаткахъ поэмы, ставитъ ее безконечно выше "Глура" Байрона; это—изображеніе свътлаго образа Маріи. Байронъ не зналъ такихъ образовъ. Чистая и кроткая, полная глубокой въры, Марія чужда вполнъ той жизни, которая ее окружаетъ въ гаремъ; "и мнится" (говоритъ поэтъ), что въ ен жилищъ, гдъ позволено ей быть одинокой, гдъ она "плачетъ и груститъ",

Сокрылся нѣкто неземной.
Тамъ день и ночь горитъ ламиада
Предъ ликомъ Дѣвы Иресвятой;
Души тоскующей отрада,
Тамъ унованье въ тишинѣ
Съ смиренной вѣрой обитаетъ,
И сердцу все напоминаетъ
О близкой, лучшей сторонѣ...
Тамъ дѣва слезы проливаетъ
Вдали завистливыхъ подругъ;
И между тѣмъ какъ все вокругъ
Въ безумной нѣгѣ утопаетъ,
Святыню строгую скрываетъ
Сиасепиый чудомъ уголокъ.

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т. V, стр. 133.

<sup>3)</sup> Впрочемъ, этотъ недостатокъ нашего поэта объясняется его молодостью.

Въ знойномъ чувствъ Заремы, которымъ однимъ живетъ она, вполнъ ему отдавшись, есть нъчто темное, сладострастное, жестокое. Жизнь Маріи—совершенно духовная. Когда Зарема открываетъ ей свою страсть, свою ревность, ея невольная исповъдь ужасаетъ Марію:

Невинной дѣвѣ непонятепъ Языкъ мучительныхъ страстей, Но голосъ ихъ ей смутно внятенъ, Онъ страненъ, онъ ужасепъ ей.

Не угрозъ смерти испугалась она, а чистая душа ея оскорблена присутствиемъ страсти въ человъкъ; ее пугаетъ грозящая ей участь, ужасаетъ ожидающее ее поруганье. Она хотъла-бы умереть, уйти отъ земнаго, грязнаго міра.

Съ какою-бъ радостью Марія Оставила печальный світь! Мгновенья жизни дорогія Давно прошли, давно ихъ ніть! Что ділать ей въ пустыні міра? Ужь ей пора, Марію ждуть, И въ пебеса, на лоно мира, Родпой улыбкою зовуть.

Глубокое увлеченіе поэта чистотою Марін сказалось въ томъ, что эта чистота составляеть духъ всего произведенія, основную идею поэмы. Предъ нею преклоняется все. Суровый и сладострастный татаринъ Гирей перерождается подъ ея могучимъ дъйствіемъ; онъ, считающій обычнымъ дъломъ безпрекословное ему повиновенье, привыкшій къ насилію, смиряется передъ плѣнною дъвушкой:

Ея унынье, слезы, стоны Тревожать хана краткій сонь, И для нея смягчаеть онь Гарема строгіе законы.

Сама Зарема побъждена чистотой своей сопершицы; прійдя къ Маріи, она застаеть ее спящей:

Спорхнувшій съ неба, сынъ Эдема, Казалось, Ангель почиваль, И сонный слезы проливаль О бёдной илённицё гарема...

и одалиска смутилась-

Стъснилась грудь ел тоской, Невольно клонятся колъни, И молитъ: сжалься надо мной, Не отвергай моихъ моленій!

А между тѣмъ она пришла не умолять, а упрекать и грозить,—мольбы явились неожиданно для нея самой, пораженной свѣтлой невинностью той, кого она злобно и завистливо пенавидѣла.

Не жгучая страсть Заремы, а чистота, нѣжная грусть Маріи дають общій тонъ поэмѣ, и оттого она вся чиста съ перваго стиха до послѣдняго. Чисты въ ней и изображеніе гаремной жизни, и картины сна и купанья ханскихъ женъ, — во всемъ этомъ нѣтъ ничего сладострастнаго и мутнаго, все свѣтло и ясно. Этому способствуетъ, конечно, и необычайная красота картинъ и музыка стиха. Но до такой красоты и гармоніи поэтъ могъ дойти опять-таки потому, что идеально чиста идея произведенія.

Эта идея—просвътлъніе и возрожденіе человъка, погрузившагося въ матерьяльную, животную жизнь, силою чистой, духовной любви. Въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ" Пушкинъ, по молодости своей и незрълости таланта, еще неумъло выразилъ эту идею (такъ въ образъ Маріи есть что-то романтическое, мечтательное, напоминающее Жуковскаго); но, заставивши въ своей поэмъ татарина, чувственнаго по обычаямъ своего племени, по своей въръ и привычкамъ жизни, пощадить чистоту дъвушки и благоговъйно преклониться передъ нею, поэтъ поднялся этимъ до такой въры въ духовность человъка, до такой высоты идеала, до какой потомъ, въ зрълые годы, при полномъ разцвътъ таланта, стремился, горячо и съ душевной тоской порывался, но ръдко могъ подниматься.

Высота идеала въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ" тъсно связана съ субъективной стороной этого произведенія. Изобразивъ чистое уедипенное жилище Маріи среди сладострастной роскоши гарема, Пушкинъ прибавляетъ поэтическое сравненіе:

Такъ сердце, жертва заблужденій, Среди порочныхъ упосній Хранпть одипь святой залогь, Одно божественное чувство!

Едва-ли можно сомнѣваться въ личномъ, по отношенію къ поэту, характерѣ этихъ стиховъ, тѣмъ болѣе, что въ концѣ поэмы онъ и говоритъ о своемъ собственномъ чувствѣ. Во дворцѣ Бахчисарая передъ его взволнованнымъ воображеніемъ "летучей тѣнью" мелькалъ нѣжный образъ дѣвы,

Неотразимый, неизбѣжный.

Онъ вызвалъ изъ души другой образъ...

ониоп В

(говорить поэть)

столь-же милый взглядъ И красоту еще земную; Всь думы сердца къ ней летять, Объ ней въ изгнаніл тезкую... Безумець! полно, перестань,

Не растравляй тоски напрасной! Мятежнымъ снамъ любви несчастной Заплачена тобою дань— Опоминсь! долго-ль, узникъ томной, Тебѣ оковы лобызать, И въ свѣтѣ лирою нескромной Свое безумство разглашать?

Эти стихи, при отсылкѣ поэмы въ печать, Пушкинъ исключилъ ("выкинулъ весь любовный бредъ", какъ онъ выразился) 1),— внѣшнее обстоятельство, указывающее, что они относятся именно къ той его чистой любви, которую онъ хранилъ какъ тайну.

Всѣ думы сердца къ пей летятъ, Объ пей въ изгнаніи тоскую...

Это—очевидно—не кишиневская любовь. Въ следующихъ стихахъ поэтъ не остерется указать и место, куда летять его думы:

Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминаній тайныхъ полный, И вновь таврическія волны Обрадуютъ мой жадный взоръ.

На берегахъ "таврическихъ волнъ" и загорѣлось въ душѣ Пушкина то "божественное чувство", которое потомъ въ Кишиневѣ такъ мучительно боролось съ соблазнявшими его "порочными упоеніями", которое влекло его постоянно къ чистому идеалу, вызвало изъ его творческаго воображенія созданіе "Бахчисарайскаго фонтана", спасло его геній отъ погибели въ окружавшей его грязи, по не могло, однако, спасти отъ того, чтобы онъ не дѣлался по-временамъ втеченіи всей жизни "жертвой заблужденій", изъ которыхъ вырывался благодаря ему-же, но въ которыя впадаль потомъ опять.

Насколько тяжела была для поэта внутренняя борьба въ его душъ свътлаго чувства съ мутными потоками кишиневской его жизни, видно изъ того, что и послъ "Бахчисарайскаго фонтана" онъ не смогъ удержаться на высотъ чистаго идеала и въ слъдующемъ-же году упалъ, правда не надолго, но зато глубоко: "Бахчисарайскій фонтанъ" написанъ въ 1822 году, сочиненіе "Гавриліады" относится къ 1823 году.

Чистое чувство, не уходя никогда изъ души поэта, но скрываясь порой въ ен тайную глубину, когда онъ увлекался мутными страстями, однажды въ эту эпоху уступило первое мѣсто чувству болѣе благородному и серьезному, чѣмъ кишиневскія привязанности: поэтъ полюбилъ какую-то гречанку, какъ это видно изъ написаннаго имъ въ 1822 году

<sup>1)</sup> Соч. І, примѣч. стр. 564.

стихотворенія "Гречанкъ". На этомъ сочиненіи, оканчивающемся выраженіемъ грусти

(... тайной грустію томимъ, Боюсь: певфрно все, что мило),

лежить даже отблескь чистаго чувства. Быть можеть онъ вызвань связанными съ этой любовью двумя обстоятельствами: во-первыхъ, глубокимъ сочувствиемъ поэта возставшей Греціи (предметъ его любви, должно быть, и есть та "прелестная гречанка" "Н. Д.", у которой онъ, какъ мы видѣли въ его запискахъ, бесѣдуя съ пятью греками, одинъ говорилъ какъ грекъ); во-вторыхъ, воспоминаніемъ о Байронъ: поэтъ висказаваетъ въ стихотвореніи предположеніе, что Байронъ съ этой женщины рисовалъ образъ Леилы.

Быть можеть, въ дальной сторонф, Подъ небомъ Грецін священной, Тебя страдалецъ вдохновенный Узналъ иль видѣть какъ во сиф, И скрылся образъ незабвенный Въ его сердечной глубинф.

Г. Бартеневъ говоритъ, что эта гречанка была красавица Калипсо Полихрони, про которую ходили слухи, что въ нее былъ влюбленъ Байронъ. Чувство Пушкина къ ней продолжалось недолго, какъ объ этомъ свидътельствуетъ Вигель (источникъ, замѣтимъ мимоходомъ, сомнительнаго достониства) 1). Липранди не отвергаетъ въ своихъ запискахъ 2), что Пушкинъ могъ увлечься Калипсо, но лишь на короткое время; онъ говоритъ, что Калипсо не была и красавицей 3); онъ прибавляетъ притомъ, что она пѣла на восточный тонъ, въ носъ, турецкія сладострастныя заунывныя пѣсни, съ акомпаниментомъ своихъ огненныхъ глазъ, которымъ "еще болѣе придавала сладострастія употребленіемъ сурьме".

Такъ все это или нѣтъ, но стихотвореніе, довольно высокаго поэтическаго достоинства, несомнѣнно свидѣтельствуетъ объ искреннемъ и сильномъ увлеченіи Пушкина. И грустная черта этого увлеченія та, что чувству, вызванному, какъ можно догадываться, внѣшней красотой и внѣшними обстоятельствами и продолжавшемуся недолго (по крайней мѣрѣ въ дальнѣйшей жизни поэта мы не находимъ никакихъ слѣдовъ его), этому чувству онъ легкомысленно готовъ былъ пожертвовать своею высокой любовью: онъ мечталъ найти ей замѣну въ новой любви,—предположивъ, что увлекшая его теперь женщина платила чувству Байрона взанмностью, онъ говоритъ:

<sup>1)</sup> Рус. Арх. 1866 г. Стр. 1187—1188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 1246.

<sup>3)</sup> Впрочемь Липранди говорить съ субъективной точки зрѣнія; опъ могь и не поинмать красоты, какъ по собственному сознанію, не понималь поэзін.

Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ, мечты ревнивой Питать я пламя не хочу: Миѣ долго счастье чуждо было, Миѣ ново наслаждаться пмъ, И, тайной грустію томимъ, Боюсь: невѣрно все, что мило.

Должно еще замѣтить, что въ этой новой любви поэта было и много нечистаго, мутнаго: онъ говоритъ въ стихотворении о "нескромной ножкѣ" своей красавицы, о томъ, что она

рождена для нѣги томной, Для упоенія страстей.

И на чувство Пушкина къ этой гречанкъ Кишиневъ наложилъ свою темпую печать.

Бѣжать изъ омута Бессарабіи, бѣжать, чтобы спасти свой поэтическій геній, — вотъ что должень быль сдёлать Пушкинь. Онъ въ душъ не прочь быль отъ этого; и ему номогла сама судьба. Съ назначеніемъ гр. Воронцова новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ и нам'встникомъ Бессарабін Пушкина перевели на службу въ Одессу, гді Воронцовъ сосредоточилъ свое управление. Въ Одессу поэтъ стремился и ъзжалъ и раньше. Такъ, онъ былъ въ ней въ мат 1821 года 1). Въ ней-же застало его и назначение поваго Бессарабскаго намъстника. Вотъ что писаль онъ брату объ этой последней своей поездке и о переселени своемъ въ новый городъ: "здоровье мое давно требовало морскихъ ваннъ; я насилу уломаль Инзова, чтобъ онъ отпустиль меня въ Одессу. Я оставиль мою Молдавію и явился въ Европу. Рестораціи и итальянская опера напоминали мит старину и, ей Богу, обновили мит душу. Между тимъ прівзжаетъ Воронцовъ, принимаетъ меня очень ласково; объявляють мив, что я перехожу подъ его начальство, что остаюсь въ Одессв. Кажется и хорошо, да новая печаль мив сжала грудь; мив стало жаль моихъ покинутыхъ ценей. Прівхавъ въ Кишиневъ на несколько дней, провелъ ихъ неизъяснимо элегически, и вытхавъ оттуда навсегда, о Кишиневѣ я вздохнулъ" <sup>2</sup>). Иптересно противорѣчіе чувствъ въ этомъ письмѣ: съ одной стороны мы видимъ самое искреннее желаніе поэта раздёлаться съ азіатской Молдавіей, бёжать изъ нея, чтобы обновить душу; съ другой стороны несомивнио и то, что сильны еще симпатін его къ Кишиневу, къ его душной нравственной атмосферъ, хотя правда, онъ называетъ свое пребывание въ этомъ городъ-жизнью въ цепяхъ, а самый городъ-тюрьмою (пародируя стихъ "Шильонскаго узника": "и о тюрьм' своей вздохнуль").

Кромѣ нравственныхъ и матерьяльныхъ удобствъ европейскаго го-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Пушкина ва Южн. Россін. Рус. Арх. 1866 г., стр. 1151—1152.

<sup>2)</sup> Рус. Арх. 1866 г., стр. 1211-1212.

рода, кром'в морскихъ ваннъ, Одесса должно быть влекла къ себ'в поэта и по другимъ еще, личнымъ причинамъ: въ ней онъ всегда могъ видъть волны того самаго моря, которое омываетъ берега родной душт его Тавриды. Въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ" есть намекъ, что онъ мечталъ побывать и въ самомъ Крыму:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, Забывъ и славу, и любовь, О, скоро васъ увижу вновь, Брега веселые Салгира!

Поэтъ перевхалъ въ Одессу въ началѣ іюля 1823 года <sup>1</sup>).

3.

Переселеніе въ европейскій городъ повліяло, разумѣется, на внѣшнюю жизнь Пушкина, облагородило ен характеръ; но вообще эта внѣшняя жизнь осталась такою-же, какъ прежде: съ одной стороны мы видимъ въ поэтѣ неугомонное стремленіе къ развлеченіямъ всякаго рода (зачастую весьма сомнительнымъ); съ другой стороны онъ попрежнему читаетъ, думаетъ, интересуется исторіей, общественной жизнью; въ головѣ его бродятъ вольнолюбивыя идеи.

Въ письмѣ къ брату поэтъ упомянулъ рестораціи и итальянскую оперу. То и другое его очень занимало въ Одессѣ, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ. Мы это узнаемъ изъ отрывковъ путешествія Онѣ-гина, выкинутаго поэтомъ изъ романа. Вотъ что говорить здѣсь Пушкинъ о своей жизни въ Одессѣ:

Бывало, пушка заревая Лишь только грянеть съ корабля, Съ крутаго берега сбъгая, Ужь къ морю отправляюсь я. Потомъ за трубкой раскаленной, Волной соленой оживленный, Какъ мусульманъ въ своемъ раю, Съ Восточной гущей кофе пью. Иду гулять. Ужь благосклонный Открыть casino; чашекъ звонъ Тамъ раздается; на балконъ Маркеръ выходить полусопный Съ метлой въ рукахъ, и у крыльца Уже сошлися два купца . . . . . . . . . . . . . Дитя разсчета и отваги, Идеть купець взгляпуть на флаги,

<sup>1)</sup> Изъ днев. и воси. Липранди. Рус. Арх. 1866 г. Стр 1445.

Провѣдать, шлютъ-ли небеса Ему знакомы паруса?

. . . . . . . . . . . . Но мы, ребята безъ печали, Среди заботливыхъ купцовъ, Мы только устрицъ ожидали Отъ цареградскихъ береговъ. Что устрицы? Пришли! О радость! Летить обжорливая младость Глотать изъ раковинъ морскихъ Затворницъ жирныхъ и живыхъ, Слегка обрызнутыхъ лимономъ. Шумъ, споры, легкое вино Изъ погребовъ принесено На столъ услужливымъ Отономъ; Часы летять, а грозный счеть Межь тымь невидимо растеть. Но ужь темнветь вечерь синій; Пора намъ въ оперу скоръй. Тамъ упонтельный Россини, Европы баловень-Орфей.

А только-ль тамъ очарованій? А розыскательный лорнетъ? А закулисныя свиданья? А ргіта donna? а балетъ? А ложа, гдѣ, красой блистая, Негоціантка молодая, Самолюбива и томна, Толиой рабовь окружена? Она и внемлетъ, и пе внемлетъ и каватинъ, и мольбамъ, и шуткъ съ лестью пополамъ... А мужъ въ углу за нею дремлетъ,—Въ просонкахъ "фора" закричитъ Зѣвиетъ—и снова захранитъ.

И такъ—морскія купанья и музыка, и въ то-же время обжорство устрицами въ шумной бесъдъ съ пріятелями за виномъ и увлеченія балетомъ и закулисными свиданіями. Это повыше Кишинева, но не много. Есть и еще свидътельство о невысокомъ характеръ внъшней жизни поэта въ это время: два-три стихотворенія изъ небольшаго числа, написанныхъ имъ втеченіи года пребыванія въ Одессъ. О двухъ изъ нихъ говорилось уже выше. (Одно, изъ письма къ Вигелю, характеризуетъ городъ Кишиневъ; другое — посланіе любящему покушать А. Л. Давидову).— Припомнимъ еще стихотвореніе, называемое "Веселый пиръ":

Я люблю веселый пиръ, Гдѣ веселье предсѣдатель, А свобода, мой кумпръ, За столомъ законодатель, Гдѣ до утра слово "пей" Заглушаетъ крики пѣсенъ, Гдѣ просторенъ кругъ гостей, А кружокъ бутылокъ тѣсенъ!

Такое воспъвание попойки подъ-стать хоть-бы и Кишиневу.—По свидътельству Липранди, Пушкинъ "находилъ, что положение его во всъхъ отношеніяхъ было гораздо выносим'є тамъ, нежели въ Одессь "1). Допустимъ, что поэть, высказывая такія мысли, намекаль главнымь образомь на свои служебныя непріятности; но служба не заключала въ себъ всъхъ его отношеній. Да кром'в того Липранди прибавляеть и отъ себя, что онъ замътилъ недовольство Пушкина своимъ пребываніемъ въ Одессъ именно "относительно общества, въ которомъ онъ... болъе или менъе вращался". Липранди не могъ этого понять и недоумъвалъ, почему поэтъ чуждался не только домовъ высшаго круга, напр. гр. Воронцова, Л. А. Нарышкина, Башмакова и другихъ, но и литературныхъ своихъ знакомствъ; такъ, онъ "безъ видимой охоты посъщалъ литературные вечера Казначеевой", на которыхъ встръчалъ одесскаго своего знакомца поэта Туманскаго, родственницу Жуковскаго писательницу Зонтагъ и т. д.— Очень возможно, что въ эту эпоху уже начало смутно зарождаться въ Пушкинъ то возвышенное недовольство суетою общества, которое такъ сильно было въ немъ впослъдствии. Но нельзя не допустить, что онъ тосковалъ нёсколько и о разнузданной свободё кишиневскихъ собраній; не даромъ-же циническое письмо къ Вигелю оканчивается поставленіемъ Одессы ниже "проклятаго города Кишинева".

Интересно, что въ описаніе въ "Онѣгинѣ" своей легкомысленной жизни въ Одессѣ Пушкинъ включилъ и изображеніе молодой, "самолюбивой и томной" негоціантки, окруженной въ своей ложѣ въ оперѣ толной "рабовъ", мольбамъ и льстивымъ шуткамъ которыхъ "она и внемлетъ и не внемлетъ". Эта негоціантка, конечно, та самая Ризничъ, которой поэтъ посвятилъ прекрасное стихотвореніе "Простишь-ли мнѣ ревнивыя мечты". Странно, что свое увлеченіе ею поэтъ поставилъ на-ряду съ "закулисными свиданіями" и "балетомъ"; странно, потому что принято думать, будто къ этой-же женщинѣ относится одна изъ вдохновеннѣйшихъ элегій его—"Подъ небомъ голубымъ страны своей родной", также "Заклинаніе" и даже стихотвореніе "Для береговъ отчизны дальной".

Все это требуетъ болье внимательнаго разсмотрънія. Свъдънія о Ризничь собраль въ Одессь отъ различныхъ лицъ проф. Зеленецкій <sup>2</sup>).— Еще до 1823 года, во время прітвовъ своихъ въ Одессу, Пушкинъ по-

¹) Pyc. Apx. 1866 r., crp. 1471—1474.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Г-жа Ризничь и Пушкинь" "Рус. Въстн." 1856 г., кн. 11.

знакомился съ негоціантомъ Ризничемъ, который былъ родомъ изъ адріатическихъ славянъ. Въ 1822 году Ризничъ убхалъ въ Въну и весной сл'єдующаго года воротился съ молодой женой, дочерью в'єнскаго банкира Риппъ, полу-нѣмкой, полу-итальянкой съ примѣсью, быть можеть, еврейскаго въ крови. Молодая Ризничь, съ пламенными очами и черной косой, была прекрасна собою. Живая и развязная, она вела у себя въ домъ одушевленныя бесъды съ гостями и играла съ страстною охотой въ вистъ. У нея было много поклонииковъ, и она легкомысленно кокетничала съ ними; она всегда носила длинное платье, чтобы скрыть свои большія ноги, ходила въ мужской шляпт и одтвалась въ нарядъ полу-амазонки. Всёхъ более ухаживали за нею-Пушкинъ и некто Исидоръ Собаньскій, не молодой, но богатый пом'ящикъ изъ западныхъ губерній; оба они пользовались ея вниманіемъ и дов'єріемъ. "На сторон'є Пушкина (говоритъ Зеленецкій) были молодость и пылъ страсти, на сторонъ его соперника—золото". Весною 1824 года Ризничъ уъхала заграницу, одна со своимъ ребенкомъ, безъ мужа; вслъдъ за нею поъхалъ и Собаньскій, который настигь ее на пути, проводиль до Віны и вскорів оставилъ навсегда. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ 1825 году (по всей въроятности въ началъ) она умерла, кажется въ бъдности и кажется въ Генуъ, призрънная матерью мужа. Поэтъ Туманскій написаль, въ іюлъ 1825 года, стихотвореніе "На кончину Ризничъ", гдѣ между прочимъ говорить:

Ты на землі была любви подруга,— Твои уста дышали слаще розъ, Въ живыхъ очахъ, несозданныхъ для слёзъ, Горъла страсть, блистало небо юга.

Зеленецкій весьма основательно доказываеть, что элегія "Простишь-ли мив ревнивыя мечты" посвящена Пушкинымь именно ей: въ элегіи есть и намеки на Собаньскаго, и упоминаніе матери красавицы, которал, дъйствительно, нъкоторое время жила съ нею въ Одессъ, и т. д.

Окружена поклонниковъ толпой, Зачѣмъ для всѣхъ казаться хочешь милой, И всѣхъ даритъ надеждою пустой Твой чудный взоръ, то нѣжный, то унылой?

Не видишь ты, когда въ толпѣ ихъ страстной, Бесѣды чуждъ, одинъ и молчаливъ, Терзаюсь я досадой одинокой; Ни слова мнѣ, ни взгляда... другъ жестокой!

Скажи еще: сопернивъ вѣчный мой, Наединѣ заставъ меня съ тобой, Зачѣмъ тебя привѣтствуетъ лукаво?..

Что-жь онъ тебѣ? Скажи, какое право

Имъетъ онъ блъдивть и ревновать?.. Въ нескромный часъ, межь вечера и свъта, Безъ матери, одна, полуодъта, Зачъмъ его должна ты принимать?..

Кром'в этихъ частныхъ намековъ на лица, отношенія и событія, общая характеристика въ стихотвореніи красавицы, возбудившей страсть поэта, совершенно подходить къ личности Ризничь, какою ее изобразиль Зеленецкій.—Посл'єдній ділаеть еще остроумное и весьма віроятное предположеніе, что Пушкинь, считавшій себя въ моменть написанія стихотворенія любимымь безраздільно, потомъ убідняся въ противномъ; оттого и случилось, что въ одномъ изъ посліднихъ стиховъ элегіи выраженіе "но ты вірна" онъ заміниль, при вторичномъ напечатаніи, словами "но я любимъ". Очень можеть быть, что къ этому обстоятельству относится разсказъ Льва Серг. Пушкина 1) про брата: "однажды въ біненстві ревности онъ пробіжаль 5 версть, съ обнаженной головой, подъ палящимъ солнцемъ по 35-градусному жару".

По всей въроятности основательна догадка Зеленецкаго, что и стихотвореніе "Иностранкъ" (1824 г.) посвящено той-же Ризничъ:

На языкѣ тебѣ невнятномъ Стихи прощальные пишу...

Она дъйствительно увхала въ 1824 году и не могла научиться по-русски въ короткое время своего пребыванія въ Россіи,—въ домѣ ея говорили (кромѣ развѣ прислуги) по-итальянски и по-французски. Братъ Пушкина говоритъ: "иностранка, которая, отъѣзжая заграницу, просила поэта написать ей что-нибудь въ память ихъ самыхъ близкихъ двухлѣтнихъ (?) отношеній, и которой написано стихотвореніе "Иностранкъ", очень удивилась, узнавши, что стихи собственнаго его сочиненія". Это соотвѣтствуетъ (поясняеть справедливо Зеленецкій) характеру Ризничъ, настроенію ея чувства и мысли.

Послъ всего этого спрашивается—какимъ образомъ можно думать, что воспоминание о легкомысленной кокеткъ сомнительнаго поведения могло вдохновить Пушкина на создание такихъ возвышенныхъ и чистыхъ стихотворений, какъ "Подъ небомъ голубымъ" и "Для береговъ отчизны дальной"?—Первое изъ нихъ оканчивается словами:

Увы, въ душћ моей Для бъдной легковърной тъни, Дли сладкой памяти невозвратимыхъ дней Не нахожу ин слезъ, ин пъни.

Здёсь ничто не подходить къ Ризничъ: ужь если кто быль "легковёренъ" (или довёрчивъ) въ этой любви, то конечно Пушкинъ, а не она;

і) Въ Москвитянинъ 1853 г.

и какая-же "сладкая намять" могла остаться у него объ измънявшей ему легкомысленной, а можеть быть и корыстной женщинь? - Фактическія доказательства Зеленецкаго, что эта элегія относится именно къ Ризничъ, тоже не выдерживають критики: Ризничъ умерла въ 1825 году (даже въ его началъ), а Пушкинъ пишетъ стихи на ея кончину 29 іюля 1826 года (какъ подписано подъ ними его рукою). Неужели онъ больше года не зналь о смерти любимаго человека? это темъ болъе странно, что Туманскій свою элегію "На кончину Ризничъ", которую онъ написаль вовремя, т. е. вскоръ послъ смерти красавицы, посвятилъ именно ему. Предположение Зеленецкаго, что Туманский могъ посвятить свое стихотвореніе Пушкину не тогда, когда написаль его, а поздне, при отсылке въ печать, причемъ и известилъ поэта о самомъ фактъ смерти, эти предположенія слишкомъ натянуты, равно какъ н догадка, что Пушкинъ, напечатавъ въ собраніи своихъ сочиненій эту элегію подъ 1825 годомъ, хотёль такимъ образомъ отнести ее къ эпохѣ событія, или что слова подъ нею "усл. о см... 25" означають—услыхаль о смерти въ 1825 году. (Гораздо проще: услыхалъ 25 іюля, сочиниль элегію 29-го).—О стихотворенін "Для береговъ отчизны дальной", въ которомъ является такой чистый и свътлый женскій образъ, нечего и говорить. Въ немъ упоминается о скорбныхъ слезахъ разлуки, о горькой тоскъ ноэта; это все такъ противоръчитъ холодному тону стиховъ "Иностранкъ". — То-же можно сказать и о стихотвореніи "Заклинаніе", совершенно неподходящемъ къ характеру Ризничъ.

Если что еще посвятилъ ей Пушкинъ, такъ это одинъ изъ мадригаловъ, предназначавшихся въ "альбомъ Онъгина":

Туманскій правъ, когда такъ вѣрно васъ Сравпиль онъ съ радугой живою: Вы милы, какъ она, для глазъ, И, какъ она, премѣнчивы душою.

Но болье всего сравнение съ ключомъ Мив правится: я радъ ему сердечно! Да, чисты вы, какъ онъ, и сердцемъ и умомъ, И такъ-же колодны, конечно!

Эти стихи выражають, можеть быть, истинное (и весьма невысокое) микніе Пушкина о предметь своего увлеченія (да еще до полнаго ознакомленія съ образомъ дъйствій красавицы) и совершенно гармонирують съ тымь, что онъ нашель возможнымь говорить о ней одновременно съ новъствованіемь про свои симнатіи къ балету.

Поэтъ увлекся опять, какъ это было разъ съ нимъ въ Кишиневѣ, блескомъ виѣшней красоты. Печально-же особенно здѣсь то обстоятельство, что онъ, какъ въ предшествовавшей кратковременной любви сво-

ей къ гречанкъ, обратилъ на это увлечение часть своего чистаго и въчнаго чувства: отблескъ его лежитъ на элегіи: "Простишь-ли мнъ ревнивыя мечты",—оттого она такъ прекрасна и тепла.

Впрочемъ въ этомъ-же году въ Одессъ, несмотря на увлечение ложной любовью, истинное чувство вызвало изъ души Пушкина пъсколько чудныхъ стихотворения. Самое замъчательное изъ нихъ, и по своему поэтическому достоинству, и по отношению къ жизни поэта, — элегія "Ненастный день потухъ" 1).

Все мрачную тоску на душу мнѣ наводить,

говорить онь. Та, кому принадлежить его сердце, далеко отъ него, въстранъ, гдъ

море движется роскошной пеленой Подъ голубыми пебесами.

Воображение поэта рисуеть ее сидящею печально и одиноко "подъ завътными скалами".

Одна... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ; Никто ея кольнъ въ забвенъи не цвлуетъ; Одна... ничъимъ устамъ она не предаетъ Ни плечъ, пи влажныхъ устъ, пи персей бълосивжныхъ.

Никто ея любви небесной не достопнъ.

Чудныя и скорбныя строки эти свидѣтельствуютъ, что совершилось горькое событіе въ любви поэта, произошла уже та разлука, о которой онъ сказалъ впослѣдствіи:

Въ часъ незабвенный, въ часъ печальный Я долго илакалъ предъ тобой. Мои хладивющія руки Тебя старались удержать, Томленья страшнаго разлуки Мой стопъ молилъ не прерывать.

Последніе стихи элегіи показывають—и какъ высоко ставить поэть ту, кого любить, какъ онъ благоговеть передъ нею, какъ верить въ нее, и въ то-же время, какъ зарождаются въ его душе ревнивыя сомнения.—

<sup>4)</sup> Г. Ефремовъ, въ примѣч. къ I т. соч. Пушкина, относить это стих., какъ и "Ночь", къ Ризничъ. Предположение невозможное: во 1-хъ по противорѣчію ихъ съ характеромъ этого лица, во 2-хъ по неимѣнію основаній для такого отнесенія.

Бурный вихрь мыслей и чувствъ, тревожное состояние потрясенной души, облеченное въ гармоническое течение почти-спокойной художественной ръчи!

Должно быть къ тому-же любимому лицу относится и стихотворение

"Ночь".

Близь ложа моего печальная свъча Горитъ; мои стихи, сливаясь и журча, Текутъ, ручъи любви, текутъ, полны тобою.

Въ тяжеломъ горъ разлуки поэтъ вспоминаетъ дни счастья:

Во тьмѣ твон глаза блистаютъ предо мною, Мнѣ улыбаются, и звуки слышу я: Мой другъ, мой нѣжный другъ... люблю... твоя... твоя.

Любовь невольно примиряла поэта съ тяжелой участью изгнанника и привязывала могучими узами къ мѣсту ссылки. Онъ тяготился и въ Одессѣ своей судьбой невольника: въ началѣ 1824 года онъ писалъ брату, что "дважды просилъ объ отпускѣ... и два раза воспослѣдовалъ всемилостивѣйшій отказъ. Осталось одно—писать прямо на имя Государя... не то взять тихонько трость и шляпу и поѣхать посмотрѣть на Константинополь" 1); но онъ и не попытался привести въ исполненіе подобный замыселъ. Почему?—это объясняють двѣ строфы прощальнаго съ югомъ стихотворенія "Къ морю"; поэтъ обращается къ океану:

Не удалось на въкъ оставить Мит скучный, неподвижный брегъ, Тебя восторгами ноздравить И по хребтамъ твоимъ направить Мой поэтическій нобътъ.

Ты ждалъ, ты звалъ... я былъ окованъ, Вотще рвалась душа моя: Могучей страстью очарованъ, У береговъ остался я.

Загадочное стихотвореніе "Давно объ ней воспоминанье" (1823), появившееся въ посмертномъ изданіи сочиненій Пушкина подъ сокращеннымъ заглавіемъ "М. А. Г.", можетъ быть проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на тайну поэта. Впервые напечатано оно въ "Карманной книжкъ для любителей русской старины" 1830 года, подъ заглавіемъ "Кн. Голицыной, урожденной Суворовой". Такимъ образомъ таинственныя буквы "М. А. Г.", соединенныя и съ элегіей 1821 г. "Умолкну скоро я", а слѣдовательно, и съ написанной на другой день послѣ нея "Мой другъ,

<sup>1)</sup> Рус. Стар. 1879 г., авг., стр. 687. Далее следують слова: "Святая Русь мий становится не въ терпежъ. Ubi bene, ibi patria". Ихъ, конечно, нельзя считать проявленіемъ нелюбви поэта къ родине; въ нихъ просто сказалось минутное личное раздражение его.

забыты мной слёды минувшихъ лётъ", означаютъ, вёроятно,—Марія Аркадьевна Голицина 1).—Поэтъ оканчиваетъ стихотвореніе словами:

Въ гордости мосй Я мыслить буду съ умиденьемъ: Я славой быль обязанъ ей, А можеть быть—и вдохновеньемъ.

Серьезность тона всего произведенія, сдержаннаго, но далеко не холоднаго, показываетъ, что слова эти сказаны не на-вѣтеръ, не въ видѣ простой любезности, мадригала. Но они не совсѣмъ понятны, потому что темно (и должно быть Пушкинъ сдѣлалъ это съ намѣреніемъ), темно выраженіе:

> Вновь лирѣ слезъ и тайной муки Опа съ участіемъ вняла— И нынѣ ей передала Свои илѣпительные звуки 2).

Присутствіе въ душѣ чистаго и високаго чувства не давало Пушкину вполнѣ погрузиться въ трактирно-театральную жизнь. Какъ и въ Кишиневѣ, онъ въ Одессѣ продолжалъ серьезныя занятія чтеніемъ. По словамъ г. Анненкова, большая часть его денегъ уходила на пріобрѣтеніе книгъ; въ это время возникло у него стремленіе къ собиранію библіотеки, и онъ самъ живописно сравнилъ себя со стекольщикомъ, раззоряющимся на покушку необходимыхъ ему алмазовъ. Въ Одессѣ онъ принялся за изученіе итальянскаго языка, и, по словамъ отца его, учился вмѣстѣ и по-испански <sup>3</sup>).

Къ изученію языковъ его могло побудить обстоятельство, указанное имъ самимъ въ описаніи (въ "Онѣгинѣ") Одессы:

Тамъ все Европой дышеть, вѣеть, Все блещеть югомъ и нестрѣеть Разнообразностью живой. Языкъ Италіи златой Ввучить по улицѣ веселой, Гдѣ ходить гордый Славянинь, Французь, Испанець, Армянинь, И Грекъ, и Молдаванъ тяжелый...

<sup>1)</sup> См. прим. г. Ефремова къ этимъ стихотвореніямъ (Соч. Пушкина, т. I).

<sup>2)</sup> Весьма въроятно, что французское письмо Пушкина къ неизвъстному лицу (написанное, должно быть, осенью 1823 г. въ Одессъ. См. Соч. Пушкина, т. V, стр. 500—501) нодъ буквами "М. S." также разумъетъ Марію Аркадьевну Суворову. Письмо говоритъ, что она еще не верпулась въ Одессу,—внъшнее обстоятельство, позволяющее, быть можетъ, къ ней-же отнести и стихотвореніе "Ночь", помѣченное "26-мъ октября", и элегію "Непастный день потухъ",— сочиненія по духу вполнѣ подходящія къ несомнъшно посвященнымъ ей вдохновеннымъ и чистымъ созданіямъ поэта.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Матер. г. Анпенкова, стр. 89.

На занятія Пушкина испанскимъ языкомъ быть можетъ указываетъ и написанный въ Одессъ въ 1824 г. "Испанскій романсъ":

Ночной зефиръ, Струнтъ эфиръ, Шумитъ, Бежитъ Гвадалквивиръ.

Очень возможно, что "Испанскій романсь" есть зародышь "Каменнаго гостя". Въ немъ видна уже та изумительная художественность, доступная одному Пушкину, которая сказалась впослъдствіи въ его драматическихъ произведеніяхъ, содержаніе которыхъ онъ бралъ изъ иностранной жизни, перевоплощаясь въ эту жизнь и оставаясь въ то-же время русскимъ человъкомъ и самимъ собою.

Продолжали занимать поэта и историческіе памятники, историческія м'єстности, сл'єды зам'єчательных событій.

Такъ, онъ былъ сильно взволнованъ, когда узналъ отъ Липранди <sup>1</sup>), что одинъ бендерскій казакъ Искра, древній старикъ, хорошо помнитъ Карла XII. Поэтъ вздилъ съ Липранди въ Бендеры, взявши съ собою сочиненія, спеціально говорящія о пребываніи Карла XII около Бендеръ въ Варницъ, познакомился съ Искрой, распрашивалъ его, и былъ очень огорченъ, что тотъ ничего не помпилъ о Мазенъ, хотя очень обстоятельно описывалъ Карла, его лагерь и укрѣпленія. Искра говорилъ даже, что не знаетъ, кто такой Мазена. Пушкинъ тщетно пытался пробудить его восноминанія, поясняя, что Мазена былъ казачій генераль и православный, а не басурманъ; поэтъ надѣялся узнать отъ Искры мѣсто могилы Мазены. Должно быть въ это время въ головѣ его уже мелькала смутная идея будущей поэмы о Петрѣ, Мазенѣ и Карлѣ XII. На возвратномъ пути изъ Бендеръ Пушкинъ, также тщетно, пробовалъ отыскать въ Каушанахъ слѣды ханскихъ дворцовъ съ фонтанами.

Ближайшимъ результатомъ чтеній и размышленій поэта была выработка въ его умѣ критическихъ воззрѣній. Вообще въ эту пору его стала сильно занимать литературная критика. Изъ сохранившихся отрывковъ его записокъ, а также изъ переписки съ братомъ, друзьями и знакомыми (Дельвигомъ, княземъ Вяземскимъ, Бестужевымъ, Рылѣевымъ и другими) мы узнаемъ его критическіе взгляды одесской эпохи.—Такъ, въ отрывкѣ одной замѣтки ²), въ которой онъ хотѣлъ говорить о причинахъ, замедлившихъ ходъ пашей словесности, онъ высказываетъ общій взглядъ на нашу литературу. "У насъ нѣтъ еще (говоритъ поэтъ) ни словесности, ни книгъ". Мы почерпнули познанія наши изъ сочиненій

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) P. Apx. 1866 r., crp. 1459—1464, 1469.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. Пушкина, т. V, стр. 22-23.

иностранныхъ, и даже привыкли мыслить на чужомъ языкъ. "Проза наша еще такъ мало обработана, что даже въ простой перепискъ мы принуждены создавать обороты для понятій самыхъ обыкновенныхъ, и леность наша охотнее выражается на языке чужомь, механическія формы котораго давно уже извъстны". Поэтъ сомнъвается въ томъ, что наша поэзія достигла высокой степени; такія сомнанія возникли въ немъ, въроятно, вслъдствіе близкаго ознакомленія съ иностранными литературами, чему способствовало изучение имъ на югъ языковъ. "Согласенъ (говоритъ онъ иронически, какъ-бы соглашаясь съ панегиристами русской поэзіи), что нъкоторыя оды Державина, несмотря на неправильность языка и неровность слога, исполнены порывами генія, что въ "Душенькъ" Богдановича встръчаются стихи и цълыя страницы, достойныя Лафонтена, что Крыловъ превзошелъ всъхъ намъ извъстныхъ баснописцевъ, исключая, можетъ-быть, того-же самаго Лафонтена, что счастливые сподвижники Ломоносова... (оставленъ пробълъ), что Батюшковъ сдълалъ для русскаго языка то-же самое, что Петрарка италіанцевъ, что Жуковскаго перевели бы на всѣ языки, если-бы онъ самъ менъе переводилъ... " На этомъ прерывается замътка. Можно догадываться, что Пушкинъ хотель высказать въ ней ту мысль, которую черезъ 10 лътъ русское общество прочло въ "Литературныхъ мечтаніяхъ" Бълинскаго: у насъ есть нъсколько хорошихъ писателей, но единичныя явленія еще не составляють литературы.—Это показываеть намъ, что сильно и здраво работала не только художническая фантазія, но и отвлеченная мысль Пушкина.—Интересна еще одна идея въ началъ замътки: поэтъ находитъ, что если у насъ въ жизни въ большомъ употребленіи французскій языкъ, что соединено съ пренебреженіемъ къ русскому, то въ этомъ виноваты сами наши писатели, не выработавш литературнаго языка.

Частные приговоры Пушкина о томъ или другомъ писателѣ отличаются въ это время такою-же строгостью, какъ и общій отзывъ о нашей словесности. Вотъ что пишетъ онъ, напр., кн. Вяземскому объ И. И. Дмитріевѣ: "Всѣ его басни не стоятъ одной хорошей басни Крылова, всѣ его сатиры—одного изъ твоихъ посланій, все прочее—перваго стихотворенія Жуковскаго. По мнѣ, Дмитріевъ ниже Нелединскаго и стократъ ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны въ дурномъ родѣ, холодны и растянуты, а Ермакъ такая дрянь, что нѣтъ мочи...." 1)

Не только къ русскимъ писателямъ, но и къ инымъ иностраннымъ прилагалъ Пушкинъ свой скептическій анализъ. Такъ, мы встрѣчаемъ безпощадную характеристику Расина въ письмѣ 1824 года къ брату

<sup>1)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 220—221.

изъ Одессы 1); осуждая здёсь за дурной языкъ переводъ Расиновой Федры, сдёланный Лобановымъ, поэтъ замёчаетъ: "а чёмъ-же и держится...... Расинъ, какъ не стихами, полными смысла, точности и гармоніи! Планъ и характеры Федры верхъ глупости и ничтожества въ изобрётеніи...... Прочти всю эту хвалебную тираду (т. е. монологъ изъ Федры: D'un mensonge si noir и т. д.) и удостоверишься, что Расинъ понятія не имёлъ объ созданіи трагическаго лица—сравни его съ рёчью молодаго любовника Паризины Байроновой, увидишь разницу умовъ. А Тераменъ, аббатъ и сводникъ — vous même оù seriez vous etc... вотъ глубина глупости!"

Надо упомянуть еще, что Пушкина, какъ критика, очень занималъ въ эту пору вопросъ о романтизмв и классицизмв, который имвлъ для него и личное значеніе, такъ какъ его самого многіе считали главою романтической школы у насъ. Г. Анненковъ справедливо говоритъ 2), что вопросъ о романтизмъ былъ въ то время очень труднымъ и запутаннымъ. Романтизмъ понимали различно: одни какъ накопленіе этнографическихъ чертъ и народныхъ выраженій въ произведеніи; другіе какъ тонкій до мелочей анализъ характеровъ; третьи считали его за проявление необузданной фантазін, пренебрегающей всёми правилами. Пушкинъ, во всъхъ своихъ попыткахъ, не дошелъ до точнаго и правильнаго определенія романтизма; онъ остановился наконецъ на признаніи различія романтическихъ сочиненій отъ классическихъ лишь поформъ, - первыя онъ призналъ свободными отъ условныхъ и стъснительныхъ правилъ. На практикъ поэтъ, однако, ясно чувствовалъ разницу между двумя направленіями поэзіи. Напримірь, онь назваль (въ письмі къ кн. Вяземскому) 3) А. Шенье "изъ классиковъ классикомъ"; онъ говорить: "c'est un imitateur. Отъ него пахнетъ Оеокритомъ и Анакреономъ..... Романтизма нътъ еще во Франціи (читаемъ въ томъ-же письмъ далѣе), а онъ-то и возродилъ умершую поэзію. Помни мое слово--первый поэтическій геній въ отечествъ Буало ударится въ такую свободу, что что твои нѣмцы!"

Приведенные критическіе взгляды Пушкина отличаются скептицизмомъ. Скептицизмъ, сомнѣніе и составляетъ вообще характеристическую черту его личности въ эпоху жизни въ Одессъ. Самымъ яркимъ выраженіемъ такого настроенія духа служитъ знаменитое стихотвореніе 1823 года "Демонъ":

Въ тѣ дни, когда миѣ были повы Всѣ впечатлѣнья бытія—

<sup>1)</sup> Рус. Стар. 1879 г., августь, стр. 688.

<sup>2)</sup> Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 225 и след.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, стр. 228.

И взоры девъ, и шумъ дубровы, И ночью пѣнье соловья, Когда возвышенныя чувства, Свобода, слава и любовь, И вдохновенныя искусства Тамъ сильно волновали кровь,-Часы надеждъ и наслажденій Тоской внезапной осфия, Тогда какой-то злобный геній Сталь тайно навѣщать меня. Печальны были наши встрвчи: Его улыбка, чудный взглядъ, Его язвительныя рѣчи Вливали въ душу хладный ядъ. Неистощимой клеветою Онъ Провиденье искущаль, Онъ зваль прекрасное-мечтою, Онъ вдохновенье презпралъ, Не вфриль онъ любви, свободъ, На жизнь насмѣшливо глядѣль. И ничего во всей природѣ Благословить онъ не хотель.

Сочиненіе это, появившееся въ печати въ 1824 году, произвело впечатлѣніе, возбудило толки; многіе называли его страннымъ, иные видѣли въ немъ намекъ на дѣйствительное лице. Пушкинъ задумалъ поэтому объяснить свое созданіе, и превосходно сдѣлалъ это въ коротенькой замѣткѣ, оставшейся однако не напечатанной при его жизни:

"Не хотѣлъ-ли поэтъ (говоритъ Пушкинъ) олицетворить сомнѣніе? Въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго. Оно легковѣрно и нѣжно. Мало-по-малу вѣчныя противорѣчія существенности рождаютъ въ немъ сомнѣніе: чувство мучительное, но непродолжительное... Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души... Не даромъ великій Гёте называетъ вѣчнаго врага человѣчества—духомъ отрицающимъ... И Пушкинъ не хотѣлъ-ли въ своемъ "Демонѣ" олицетворить сей духъ отрицанія или сомнѣнія и начертать въ пріятной картинѣ печальное вліяніе его на нравственность нашего вѣка?" 1)

Насколько Пушкина мучили скептическіе вопросы о Провидѣніи, вдохновеніи, о загробной жизни, о любви, о прекрасномъ и т. д., видно изъ того, что свои сомнѣнія онъ приписалъ даже Ленскому, образъ котораго создавалъ въ это время (первыя главы "Онѣгина", какъ извѣстно, писаны въ Одессъ). Во второй главѣ романа были примѣры стихотвореній Ленскаго, впослѣдствіи исключенпые поэтомъ; между прочимъ въ

<sup>4)</sup> Соч. Пушкина, т. V, стр. 21. (Также въ примъч. къ I т.).

одномъ изъ нихъ Пушкинъ заставляетъ своего героя высказывать глубокій скептицизмъ; это совершенно не вяжется съ общимъ характеромъ юноши-романтика и очевидно свидѣтельствуетъ о томъ, что происходило въ душѣ самого Пушкина.

Надеждой сладостной младенчески дыша, (пишетъ Ленскій)

Когда-бы вёриль я, что иёкогда душа,
Оть тлёнья убёжавь, уносить мысли вёчны,
И память, и любовь въ пучины безконечны,—
Клянусь! давно-бы я оставиль этоть мірь,
Я сокрушиль-бы жизнь, уродливый кумирь,
И улетёль въ страну свободы, наслажденій,
Въ страну, гдё смерти нёть, гдё нёть предразсужденій,
Гдё мысль одиа живеть въ небесной чистотё.
Но тщетно предаюсь обманчивой мечте!
Мой умь упорствуеть, падежду презираеть...
Ничтожество меня за гробомъ ожидаеть...
Какъ! Ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мий страшно... и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтобъ долго образъ милой

Подобныя мысли и сомнѣнія начинали волновать Пушкина еще раньше, въ Кишиневѣ. Въ первоначальномъ текстѣ извѣстнаго стихотворенія 1822 года "Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный" 1) поэтъ съ ужасомъ говорить о возможности ничтожества человѣка за гробомъ:

Таплен и пылаль въ душь моей унылой.

Ты, сердцу непонятный мракъ, Пріють отчаянья слінаго, Ничтожество, пустой призракъ, Не жажду твоего покрова! Мечтанье жизни разлюбя, Счастинвыхъ дней не знавъ отъ віка, Я все не вірую въ тебя, Ты чуждо мысли человіка, Тебя страшится гордый умъ.

Поэту пріятиве вврить не только существованію загробной жизни, но и "благословеннымъ мечтамъ" поэзіи, что твни умершихъ не разрываютъ связей съ землею:

Онъ уныло посъщають Мъста, гдъ жизнь была милъй, И въ сновидъньяхъ утъщають Сердца покинутыхъ друзей...

<sup>1)</sup> Cou. T. I, ctp. 560-561.

Опъ, безсмертіе вкушая, Въ Элизій поджидають ихъ, Какъ въ праздинкъ ждеть семья родная Замедлившихъ гостей своихъ...

Собственно въ этихъ стихахъ выражается вѣра Пушкина; но сквозъ вѣру пробивается начало иное: горькій скептицизмъ звучить въ вопросахъ:

улетывь въ міры иние, Ужели съ ризой гробовой Всь чувства брошу я земныя? И чуждъ миь станеть міръ земной? п т. д.

Скептицизмъ слышится и въ кишиневскомъ стихотвореніи "Телега жизни" (1823 г.): насмѣшливо-отрицательно, и оттого даже цинически, относится здѣсь поэтъ къ земному существованію человѣка: въ молодости, утромъ нашей жизни, мы смѣло ѣдемъ впередъ и погоняемъ ямщика; въ полдень у насъ нѣтъ уже той отваги,

Порастрясло насъ, памъ страшнѣй И косогоры, и овраги; Кричимъ: полегче, дуралей!

А подъ-вечеръ, къ старости, мы привыкаемъ къ тряскѣ жизненной телеги, становимся равнодушными ко всему и дремлемъ до ночлега, пока

время гонить лошадей.

Въ Одессъ, какъ и въ Кишиневъ, поэтъ сохранилъ въ душъ своей сочувствие къ свободъ: здъсь написалъ онъ стихотворение "Возстань, о Греція, возстань!", эпиграмму на цензуру ("Тимковскій царствовалъ"), злую эпиграмму на придворныхъ льстецовъ, оканчивающуюся ироническимъ совътомъ:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить И въ самой подлости оттѣнокъ благородства.

Но скептицизмъ подорвалъ и его вольнолюбивыя мечты: поэтъ не вѣритъ возможности ихъ осуществленія въ дѣйствительности. Мы видѣли разочарованіе его въ греческомъ возстаніи; оно было поводомъ къ написанію желчнаго стихотворенія "Изыде сѣятель сѣяти сѣмена своя" (1823 г.):

Наситесь, мириые народы, Васъ не пробудить чести кличъ! Къ чему стадамъ дари свободы? Ихъ должно ръзать или стричь; Наслъдство ихъ изъ рода въ роды Ярмо съ гремушками да бичъ.

Въ вдохновенной одѣ "Къ морю" (1824 г.) Пушкинъ высказываетъ безотрадную идею:

Судьба людей повсюду та-же: Гдѣ капля блага, тамъ на-стражѣ Иль самовластье, пль тиранъ.

Въ сочинени, озаглавленномъ въ посл'єднемъ издании словомъ "Отрывокъ", поэтъ заставляетъ императора Александра считать "благомъ" неволю народовъ и говорить:

Давно-ли ветхая Европа свирѣпѣла, Надеждой новою Германія кипѣла, Шаталась Австрія, Неаполь возставаль? За Пиринеями давно-ль судьбой народа Ужь правила свобода, И самовластіе лишь сѣверъ укрываль?

Давно-ль?—и гдё-же вы, зиждители свободы? Ну, что-жь? Витійствуйте, ищите правъ природы, Волиуйте, мудрецы, безумную толиу! Вотъ Кесарь—гдё-же Бруть? О, грозные витіп, Цёлуйте жезлъ Россіи И васъ поправшую желёзную стопу!

Вмѣстѣ съ сомнѣніями политическаго и общественнаго характера возникли въ душт поэта и сомитнія религіозныя. Въ одномъ письмт (къ А. И. Тургеневу, отъ 1-го дек. 1823 г.) онъ комментируетъ стихотвореніе "Изыде съятель..." словами: "написаль на-дняхь подражаніе баснъ умъреннаго демократа" 1). — Сильнье и ярче религіозный скептицизмъ выразился въ другомъ письмъ поэта, которое было перехвачено полиціей и послужило поводомъ къ высылкъ его изъ Одессы въ Михайловское. "Читаю библію (писалъ Пушкинъ), Святой Духъ иногда мнѣ по сердну, но предпочитаю Гёте и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я ділаю?—Пишу пестрыя строфы романтической поэмы и беру уроки чистаго атеизма. Здёсь англичанинъ, глухой философъ и единственный умный атей, котораго я еще встретиль. Онъ написаль листовь тысячу, чтобъ доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent createur et regulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души. Система не столь утъщительная, какъ обыкновенно думаютъ, но къ несчастію, болве чвить правдоподобная" 2). — За это письмо, попавшееся въ руки московской полиціи, поэта обвинили въ атензмѣ, и одновременно съ тъмъ, какъ Воронцовъ отправлялъ донесение о немъ въ Петербургъ, прося о переводъ его изъ Одессы, судьба его ръшалась въ съверной столицъ. Пушкинъ былъ исключенъ изъ службы по Высочай-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Стар." 1880 г., іюль, стр. 542.

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 293.

то поветьню. 11-го іюля 1824 года гр. Нессельроде писалъ Воронцову про поэта: "все доказываеть, къ несчастію, что онъ слишкомь проникся вредными началами, такъ пагубно выразившимися при первомъ вступленій его па общественное поприще" 1).—Анализируя приведенныя слова несчастнаго письма Пушкина не съ административной точки зрѣнія, мы видимъ въ нихъ не атензмъ, а сомнѣніе, скептицизмъ. Оказывается, во 1-хъ, что поэтъ читаетъ Библію и она ему по-сердцу; во 2-хъ, что атенсты, по его мнѣнію, глупы, кромѣ одного, встрѣтившагося ему въ Одессѣ англичанина, и въ 3-хъ, что система атензма не утѣшительна, и если "правдоподобна", то "къ несчастію". Ясно, что поэтъ жаждетъ вѣры, но только не можетъ отдаться ей и пожалуй даже далекъ отъ нея въ данную минуту, потому что переживаетъ періодъ сомнѣній.

Весьма возможно, что въ разладъ Нушкина съ гр. Воронцовымъ, въ непріятностяхъ, возникшихъ у него по службѣ, кромѣ сознанія поэтомъ своего достоинства игралъ значительную роль и его тогдашній скептицизмъ, недовърчивый взглядъ на жизнь вообще и на служебныя отношенія въ-частности. По словамъ г. Анненкова 2), друзья и знакомые Цушкина свидетельствують, что съ первыхъ-же месяцевъ пребыванія поэта въ Одессв въ немъ была заметна внутренняя тревога, мрачное, сосредоточенное въ себъ негодованіе. Между "благоразумными" людьми онъ прослылъ человекомъ потеряннымъ, а со стороны чиновничьяго міра встрётиль въ отношеніи къ себ'я бюрократизмъ и вельможескую гордость. Этой последней противопоставиль онъ гордость знаменитаго писателя и потомка знаменитаго рода, часто поминаемаго въ русской исторіи. Въ письм'я 1824 г. къ Александру Бестужеву онъ говорить: "у насъ писатели взяты изъ высшаго класса общества. Аристократическая гордость сливается у насъ съ авторскимъ самолюбіемъ. Мы не хотимъ быть покровительствуемы равными: вотъ чего W (т. е. гр. Воронцовъ) не понимаетъ. Онъ воображаетъ, что русскій поэтъ явится въ его передней съ посвящениемъ или съ одою, а тотъ является съ требованіемъ на уваженіе, какъ шестисотлітній дворянинъ".--Слова эти отзываются повидимому аристократизмомъ; такъ ихъ и поняли нѣкоторые друзья поэта. Рылбевъ писалъ ему по этому поводу: "ты сдёлался аристократомъ; это меня разсмѣшило. Тебѣ-ли чваниться пятисотлѣтнимъ дворянствомъ? И тутъ вижу маленькое подражаніе Байрону. Будь, ради Бога, Пушкинымъ. Ты самъ по себъ молодецъ" 3). -- Но едва-ли аристократизмъ руководилъ въ это время дъйствіями и словами Пушкина, если даже и допустить въ немъ увлечение байронизмомъ въ смыслъ,

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 293.

<sup>2)</sup> Пушк. въ Александ. эпоху, стр. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, стр. 248-249.

указываемомъ Рылѣевымъ: аристократизиъ такъ противорѣчитъ и мыслямъ, недавно еще высказаннымъ имъ въ исторической запискѣ, и его скептицизму одесской эпохи. Вѣрнѣе будетъ предположить, что поэтъ просто хотѣлъ бороться съ противникомъ его-же собственнымъ оружіемъ: передъ нимъ кичились родовой знатностью—онъ указывалъ на древность своего рода. Впослѣдствіи мы будемъ имѣть случай увидѣть, что аристократизмъ Пушкина былъ ничѣмъ инымъ, какъ уваженіемъ къ заслугамъ предковъ.

Поводомъ къ явному выраженію разрыва между поэтомъ и его высшимъ начальникомъ послужило зачисленіе его въ экспедицію для изслѣдованія саранчи на мѣстахъ ея появленія. Пушкинъ обидѣлся, сочтя такое назначеніе (по словамъ Липранди) местью со стороны гр. Воронцова за ходившія на него по городу эпиграммы. Въ канцеляріи на "дѣлѣ о саранчѣ" поэтъ написалъ экспромитъ:

> Саранча летѣла, летѣла И сѣла Сидѣла, сидѣла—все съѣла, И вновь улетѣла.

А въ письмѣ къ правителю канцеляріи намѣстника, А. И. Казначееву, онъ отказался отъ возложеннаго на него порученія, объясняя отказъ тѣмъ, что

"Семь лѣтъ службою не занимался, не написалъ ни одной бумаги, не былъ въ сношении ни съ однимъ начальникомъ. Мнѣ скажутъ (писалъ Пушкинъ), что я, получая 700 руб., обязанъ служитъ... Я принимаю эти 700 руб. не такъ, какъ жалованіе чиновника, но какъ паекъ ссылочнаго невольника. Я готовъ отъ нихъ отказаться, если не могу быть властенъ въ моемъ времени и занятіяхъ" 1).

Въ другомъ письм $\dot{\mathbf{x}}$  къ тому-же лицу  $^2$ ) онъ выражается гораздо р $\dot{\mathbf{x}}$ зче:

"Вы мнѣ говорите о покровительствѣ и дружбѣ—двухъ вещахъ, по моему мнѣнію, несоединимыхъ. Я не могу, да и не хочу напрашиваться на дружбу съ гр. Воронцовымъ, а еще менѣе на его покровительство (мое уваженіе къ этому человѣку не дозволитъ мнѣ унизиться предънимъ). Ничто такъ не позоритъ человѣка, какъ протекція. Я ниѣю своего рода демократическіе предразсудки, которые, думаю, стоятъ предразсудковъ аристократическихъ. Я жажду одного—независимости... Мнѣ становится не въ мочь зависѣть отъ хорошаго или дурнаго пищеваренія того или другаго начальника, мнѣ надоѣло видѣть, что меня, въ моемъ

<sup>1)</sup> Пушкинъ въ Алекс. эпоху, стр. 254-255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 257. пушкинъ въ его поэзии.

отечествъ, принимаютъ хуже, чъмъ перваго пришлаго пошляка изъ англичанъ (le premier golopin anglais)".

Послѣдними словами Пушкинъ намекалъ на англоманію гр. Воронцова. Онъ былъ вообще несдержанъ относительно намѣстника; такъ напр. въ обществѣ въ разговорахъ называлъ его "милордъ Уоронцовъ", сочинялъ на него эпиграммы. Одна изъ пихъ отличается крайней рѣзкостью:

> Полумилордъ, полукупецъ, Полумудрецъ, полуневъжда, Полунодлецъ, но есть надежда, Что будетъ полнымъ наконецъ.

Все это, или по-крайней-мѣрѣ многое, доходило, конечно, до ушей Воронцова, и озлобляло его. Къ этому присоединились личные счеты другаго рода: по преданіямь поэть влюбился въ жену графа и пользовался ен симпатіей. Дѣло кончилось тѣмъ, что Воронцовъ рѣшился наконецъ хлопотать объ высылкѣ Пушкина изъ Одессы. 23-го марта 1824 года онъ отправилъ донесеніе гр. Нессельроде, управлявшему министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, гдѣ высказывалъ мысль о необходимости удаленія поэта, но только не въ Кишиневъ. Плавный недостатокъ Пушкина честолюбіе (писалъ Воронцовъ) 1):

"Онь прожиль здёсь сезонь морскихь купаній и имѣеть уже множество льстецовь, хвалящихь его произведенія; это поддерживаеть вы немь вредное заблужденіе и кружить его голову тёмь, что онь замѣчательный писатель, въ то время, какъ онь только слабый подражатель писателя, въ пользу котораго можно сказать очень мало" (т. е. Байрона).

Впрочемъ эта баснословная оцънка Пушкина сопровождается въ донесеніи замъчаніемъ намъстника, что онъ не хочетъ жаловаться на поэта: по его словамъ, Пушкинъ даже сталъ сдержаннъе и умъреннъе.

"Я прошу высылки (говорить гр. Воронцовъ) ради него самого; надъюсь, моя просьба не будеть истолкована ему во вредъ".

Но эта, говоря по-справедливости, довольно умѣренная жалоба оказалась заноздалой: судьба Пушкина рѣшилась въ Петербургѣ помимо нея. Въ іюлѣ гр. Воронцовъ получилъ изъ столицы перехваченное письмо поэта и сообщеніе объ увольненіи его со службы по Высочайшему повельнію за дурное поведеніе. Пушкинъ долженъ былъ, не медля, выъхать изъ Одессы въ исковское имѣніе своей матери село Михайловское, давши подписку, что минуетъ Кіевъ и не будетъ нигдѣ останавливаться на пути. Онъ выѣхалъ 30-го іюля и 9-го августа прибылъ въ Михайловское.

Прежде, чемъ перенестись съ поэтомъ на северъ, мы должны оста-

<sup>1)</sup> Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 292.

повиться еще на нѣкоторыхъ произведеніяхъ, писанныхъ имъ втеченіи года пребыванія въ Одессѣ. Это—первыя главы романа "Евгеній Онѣгинъ", поэма "Цыганы" и одно изъ лучшихъ его лирическихъ созданій—"Къ морю".

Въ Одессъ Пушкинъ написалъ двъ первыя главы "Онъгина" (впрочемъ началъ романъ онъ еще въ Кишиневъ) и частъ третьей главы. Мы не будемъ здъсь останавливаться на разборъ романа, оконченнаго значительно позднъе; замътимъ только, что въ изображеніи свътской жизни Онъгина отразилась жизнь самого поэта въ Петербургъ, Кишиневъ и Одессъ; а въ представленіи Онъгина скептикомъ, смотрящимъ на все сомнъвающимися глазами, сказался скептицизмъ, овладъвшій самимъ Пушкинымъ въ Одессъ.

Поэма "Цыганы" окончена въ Михайловскомъ (10 октября 1824 г.), но именно только окончена: и замысломъ своимъ и большею частью вынолненія она принадлежить одесской эпохѣ.—Какъ и всѣ произведенія Пушкина, "Цыганы" сложились подъ впечатлѣніями дѣйствительной жизни: въ Бессарабіи поэтъ близко ознакомился съ цыганами и ихъ бытомъ, даже кочевалъ съ цыганскимъ таборомъ, жилъ его дикой жизнью. Объ этомъ онъ самъ говоритъ въ одной строфѣ поэмы, впослѣдствіи исключенной изъ нея:

За ихъ лѣнивыми толпами Въ пустыцяхъ, праздный, и бродилъ, Простую иншу ихъ дѣлилъ И засыналъ предъ ихъ огнями... Въ походахъ медленныхъ любилъ Ихъ иѣсней радостные гулы, И долго милой Маріулы Я имя иѣжное твердилъ.

Такъ отзывалась чуткая душа Пушкина на всё встрёчавшіяся ему явленія жизни.—Но происхожденіе "Цыганъ" объясняется не однимъ практическимъ путемъ: на поэмѣ несомнѣнно видно вліяніе байронизма, какъ мы видѣли его на первыхъ поэмахъ: на "Кавказскомъ плѣнникъ", "Бахчисарайскомъ фонтанъ", "Братьяхъ разбойникахъ". Только "Цыганы" самобытнѣе этихъ произведеній: нельзя указать ихъ оригинала, или первообраза, ни въ одномъ изъ созданій Байрона. Точно также и герой поэмы, Алеко, личность несомнѣнно байроническая; но и ему нѣтъ опредѣленнаго оригинала въ рядѣ лицъ, созданныхъ англійскимъ поэтомъ; онъ напоминаетъ собою и Корсара, и Чайльдъ-Гарольда и Гяура и мпогихъ другихъ, но самъ онъ—ни тотъ, ни другой, ни третій и вообще никто изъ нихъ.— И въ этой поэмѣ своей Пушкинъ не поднялся еще до полной художественности творчества: Алеко еще не совсѣмъ живое лице, хотя онъ и близокъ къ тому, чтобы быть личностью

типической. Достоевскій назваль его "русскимь скитальцемь", русскимь западникомь, съ широкими, однако, вслёдствіе русской природы своей, требованіями, недовольнымь не только родиной, но и самимь Западомь, которому поклоняется. Это вёрно; но только въ Алеко все это сказалось лишь въ очень общихъ, отвлеченныхъ чертахъ; впослёдствіи его типъ получилъ въ поэзіи Пушкина опредёленный очеркъ, превратившись въ Онёгина и ставши такимъ образомъ вполнѣ русскимъ лицемъ. Самъ-же Алеко хотя и не подражаніе Байрону, а оригинальное созданіе Пушкина, но созданіе въ духѣ байронизма.

Что, однако, оригинально вполнѣ и въ очеркѣ личности Алеко, и вообще въ поэмѣ "Цыганы", это — отношенія Пушкина къ байронизму и къ его типамъ. Свой скептицизмъ одесской эпохи поэтъ перенесъ и на Байрона и на его поэзію; онъ усомнился въ Байронѣ, какъ сомнѣвался въ это время во всемъ, и путемъ сомнѣнія освободился отъ вліянія англійскаго поэта. Въ "Цыганахъ" мы видимъ судъ Пушкина надъ героями Байрона; поэтъ нашъ борется здѣсь съ байронизмомъ и выходитъ изъподъ его былой власти на полную свободу, на свободу самобытнаго творчества.

Личность Алеко нарисована безпристрастно: поэть не только не скрываеть его свётлых сторонь, но даже изображаеть ихъ съ сильнымъ сочувствіемъ. Недовольный цивилизованнымъ обществомъ, Алеко бросиль его и ушелъ къ простымъ людямъ, близкимъ къ природѣ. Среди нихъ нашелъ онъ себѣ подругу по-сердцу и передъ ней высказываетъ благородное негодованіе на зло общества:

О чемъ жальть?

говорить онъ Земфира про свою былую жизнь-

Когда-бъ ты знала, Когда-бы ты воображала Неволю душныхъ городовъ! Тамъ люди въ кучахъ, за оградой Не дышатъ утренней прохладой, Ни вешнимъ занахомъ луговъ; Любви стыдятся, мысли гонятъ, Торгуютъ волею своей, Главы предъ пдолами клонятъ И просятъ денегъ да цѣпей.

Земфиру и новую жизнь свою онъ ставить выше всего прежняго. Презръвь оковы цивилизованнаго общества, онъ теперь воленъ, какъ цытаны,—

Онъ безъ заботъ и сожалѣнья. Ведетъ кочующіе дни.

Онъ безпечно отдалъ себя на волю Бога, не смущается никакими тре-

вогами, не признаетъ власти судьбы. Порой нежданно всиоминаются ему роскошь, забавы прежней жизни, манитъ дальняя звѣзда славы; но онъ гонитъ отъ себя всю эту суету: когда Старикъ-цыганъ разсказалъ ему народное преданіе объ Овидіи, онъ замѣтилъ:

Пъвецъ любви, иввецъ боговъ! Скажи мив, что такое слава? Могильный гулъ, хвалебный гласъ, Изъ рода въ роды звукъ бъгущій, Или подъ свиью дымной кущи Цыгана дикаго разсказъ?

Пушкинъ на-столько еще увлекается байронизмомъ, что готовъ сочувствовать и полному отреченію Алеко отъ цивилизаціи: Алеко высказываетъ въ поэмѣ (это мѣсто, правда, впослѣдствіи выброшено авторомъ) такого рода мечты о будущей судьбѣ своего сына, родившагося отъ Земфиры:

Рости на волѣ безъ уроковъ, Не знай стѣснительныхъ палатъ И не мѣняй простыхъ пороковъ На образованный развратъ.

Подъ сънью мирнаго забвенья Пускай цыгана бъдный внукъ Не знаетъ нъгъ и пресыщенья И пышной суеты наукъ...

О, Боже! если-бъ мать мол Меня родила въ чащѣ лѣса Или подъ юртой Остяка Въ глухой разсѣлипѣ утеса!

Но, сочувствуя многому въ своемъ героѣ, Пушкинъ сомнѣвается, однако, въ его счастъѣ среди первобытной жизни. Еще въ началѣ пребыванія у цыганъ Алеко посѣтило уныніе:

Уныло юноша глядёлъ На опустёлую равинпу, И грусти тайную причину Истолковать себё не смёлъ. Съ нимъ черноокая Земфира, Теперь онъ вольный житель міра, И солнце весело надъ нимъ Полуденной красою блещетъ; Что-жь сердце юноши трепещетъ, Какой заботой онъ томимъ?

Сомивніе поэта идеть и дальше: пылкую страстность Алеко (черта, которую такъ высоко ставить Байронъ въ своихъ герояхъ) Пушкинъ заподозриваетъ въ связи съ темными стремленіями, съ дурными чув-

ствами; Алеко оказывается человѣкомъ мстительнымъ и злобнымъ. Когда Старикъ-цыганъ разсказалъ ему, какъ покинула его жена, полюбивъ другаго, онъ воскликнулъ:

> Да какъ-же ты не посившилъ Тотчасъ во-слъдъ неблагодарной, И хищнику, и ей, коварной, Кинжала въ сердце не воизилъ?... Я не таковъ!

говорить Алеко далье,

Нѣтъ, я не споря
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.
О, пѣтъ! когда-бъ падъ бездпой моря
Нашелъ я сиящаго врага,
Клянусь и тутъ моя нога
Не пощадила-бы злодѣя:
Я въ волны моря, не блѣднѣя,
И беззащитнаго-бъ толкиулъ;
Внезанный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшонъ и сладокъ былъ-бы гулъ!

Мстительный и злобный, Алеко ревнивъ и недовърчивъ. Онъ не можетъ быть счастливъ съ Земфирой, потому что не довъряетъ ея любви, сомнъвается въ ея върности, вспоминая прежнія измъны, которыя испытывалъ и которыя самъ совершалъ. Земфира слышитъ иной разъ, какъ онъ во-снъ хрипло стонетъ, яро скрежещетъ зубами, произнося чье-то "другое имя"; ему снится порой разрывъ и съ Земфирой.

Не втрь дукавимъ сновидтньямъ!

искренно говорить ему она; а онъ отвъчаетъ:

Ахъ, я не върю ничему,— Ни снамъ, ни сладкимъ увъреньямъ, Ни даже сердцу твоему!

Когда Земфира дѣйствительно разлюбила его, можетъ быть именно потому, что онъ страшилъ ее своей злобной недовѣрчивостью,—онъ мститъ кроваво и жестоко: убиваетъ и измѣнницу, и ея любовника.—Справедливость требуетъ сказать, однако, что эта месть стоила ему самому большихъ страданій: когда онъ увидѣлъ, что погребли молодую чету,

Онъ молча, медіенно склонился, И съ камня на траву свалился.

Онъ оказался, такимъ образомъ, нравственно выше, чѣмъ изобразилъ себя самъ въ разговорѣ со Старикомъ: онъ не сопровождалъ гибель враговъ "свирѣпымъ смѣхомъ", и она не была ему "смѣшна" и "сладка". Но, выставляя въ своемъ героѣ такое противорѣчіе слова и дѣла, Пушкинъ этимъ самымъ изобличаетъ Алеко въ томъ, что онъ рисовался въ бесѣдѣ съ цыганомъ своей жестокостью и мстительностью.—Байроническій характеръ развѣнчанъ русскимъ поэтомъ.

Прямая противоположность Алеко—Старикъ-цыганъ, человѣкъ спокойный, просто и благодушно относящійся къ жизни.

О чемъ, безумецъ молодой, О чемъ вздыхаешь ты всечасно?

утъщаетъ онъ Алеко-

Здёсь люди вольны, небо ясно, И жены славятся красой. Не плачь, тоска тебя погубить.

Устами Старика поэтъ осуждаетъ эгоизмъ и жестокость своего героя: Оставь насъ гордый человъкъ!

говорить цыганъ Алеко послѣ совершенія послѣднимъ кровавой расправы.

Мы дики, нѣть у нась законовь, Мы не терзаемъ, не казнимъ, Не нужно крови намъ и стоновъ; Но жить съ убійцей не хотимъ. Ты не рожденъ для дикой доли, Ты для себя лишь хочешь воли; Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ: Мы робки и добры душою, Ты золъ и смѣлъ,—оставь-же насъ, Прости, да будетъ мпръ съ тобою!

Старикъ—представитель въ поэмѣ людей простыхъ и близкихъ къ природѣ. Онъ добръ и кротокъ, незлобивъ, великодушенъ. Онъ отрекается отъ эгоиста Алеко, но въ сердцѣ его нѣтъ злобы противъ убійцы дочери,—онъ говоритъ ему:

Прости, да будеть миръ съ тобою!

Пушкинъ явно болѣе сочувствуетъ Старику-цыгану, чѣмъ Алеко. Въ этомъ сказалась русская природа поэта, выразились, впервые довольно опредѣленно, его стремленія къ народнымъ началамъ. — Но народныя начала онъ еще не совсѣмъ ясно понимаетъ. Онъ заставилъ, напримѣръ, Старика оправдывать измѣну Земфиры, утѣшать Алеко такимъ сравненіемъ:

Взгляни,—подъ отдаленнымъ сводомъ Гуляетъ вольная луна, На всю природу мимоходомъ Равно сіянье льетъ она; Заглянетъ въ облако любое, Его такъ нышно озаритъ, И вотъ ужь перешла въ другое, И то не долго посѣтнтъ. Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ, Примолвя: тамъ остановись! Кто сердцу юной дѣвы скажетъ: Люби одно, не измѣнись!

Въ другомъ мъстъ Старикъ говоритъ по тому-же поводу:

Вольнѣе итици младость. Кто въ-силахъ удержать любовь? Чредою всѣмъ дается радость: Что было, то не будетъ вновь!

Незлобивость сына народа, любовь его къ свободѣ Пушкинъ смѣшалъ съ готовностью оправдывать измѣнчивость чувства по прихоти сердца. Народная мысль, напротивъ, полагаетъ, что любовь должна быть вѣчною.—Но, сознательно заставляя Старика высказывать неподходящія къ его характеру идеи, поэтъ безсознательно рисуетъ его вѣрно: Старикъ до смерти своей не разлюбилъ и не позабылъ измѣнившую ему жену.

Путаясь въ своей первой попыткъ изобразить человъка изъ народа въ лицъ Старика - цыгана, Пушкинъ еще болъе путается въ очеркъ характера Земфиры, придавая ему, безсознательно, непримиримую двойственность. Земфира — дочь дикаго племени, и потому не знаетъ притворства, лжи, любитъ свободу; ее не прельщаетъ роскошь цивилизованной жизни, хотя она и удивляется простодушно огромнымъ палатамъ городовъ, пирамъ, богатымъ женскимъ уборамъ. Живя согласно съ природой, она не понимаетъ тревожной страсти, мрачной ревности Алеко, и потому чуждается его, боится его сонныхъ грёзъ; она жалуется отцу:

О, мой отецъ! Алеко страшенъ,— Послушай, сквозь тяжелый сонъ И стонетъ и рыдаетъ онъ.

Все это совершенно върно подмъчено Пушкинымъ въ характеръ женщины первобытнаго племени; но не эти черты счелъ онъ главными въ образъ Земфиры: основой ен характера призналъ онъ тревожную страсть вродъ страсти Заремы "Бахчисарайскаго фонтана". Ен любовь къ свободъ оказывается своеволіемъ страстной натуры.

Его любовь постыла мнѣ. Мнѣ скучно, сердце воли проситъ...

говорить она отцу. И не смотря на то, что у нея есть ребеновь отъ Алеко, она огненной, тревожной любовью полюбила другаго. Въ ея иъснъ про мужа новая любовь ея выразилась въ перазрывной связи съ страстной ненавистью и злобой къ предмету прежней любви, съ злобой, доходящей до звърства:

Старый мужь, грозный мужь, Рѣжь меня, жги меня, Я тверда, не боюсь Ни ножа, ни огня. Ненавижу тебя, Презираю тебя, Я другаго люблю, Умираю любя!

Страсть приводить Земфиру къ обману, къ хитрости и притворству; она таится до той самой минуты, когда больше скрываться уже нельзя. При видъ убитаго друга въ ней вспыхиваетъ энергія, страстная и злобная:

Нѣтъ, полно, не боюсь тебя! Твоп угрозы презираю, Твое убійство проклинаю!

говоритъ она Алеко, и умираетъ подъ его ножемъ со словами любви и ненависти: "умру любя"!

Когда-то подобный характеръ увлекалъ Пушкина; но теперь онъ его не удовлетворяетъ по-прежнему. Объ этомъ положительно свидътельствуютъ стихи "Эпилога" поэмы:

Но счастья нётъ и между вами, Природы бёдные сыны! И подъ издранными шатрами Живутъ мучительные сны! И ваши сёпи кочевыя Въ пустыняхъ не спаслись отъ бёдъ, И всюду страсти роковыя, И отъ судебъ защиты пётъ!

Поэту безотрадно грустно, какъ видно изъ этихъ словъ, грустно, потому что прежніе идеалы разрушены, а новые еще не найдены.

Онъ развѣнчалъ Алеко, безпристрастно, но и безпощадно, и этимъ покончилъ съ байронизмомъ, переросъ Байрона, если еще не въ искусствѣ творчества, то во всякомъ случаѣ въ сознаніи. Создавъ личность Старика-цыгана, онъ повернулъ на новую дорогу, дорогу народности. Но она далась ему не сразу. На нее влекли его, кромѣ недовольства страстными и эгоистическими характерами, инстинкты его русской природы, воспоминанія о родной деревнѣ, быть можетъ воскрешаемыя собираніемъ народныхъ пѣсенъ, чѣмъ занимался онъ, какъ мы знаемъ, и въ Кишиневѣ и въ Одессѣ; но у него не было еще матеріаловъ для зарождавшагося въ душѣ новаго направленія творчества, не было передъ

его глазами жизни, изъ которой онъ могъ-бы почерпать народные типы. Онъ по необходимости (не сознаван, конечно, этого самъ) взялъ первые образы новаго направленія изъ быта цыганскаго, отчего и пришлось ему невольно спутаться, особенно въ личности Земфиры. Чтобы вступить на дорогу народности, ему надо было сблизиться съ жизнью русскаго народа. Этому помогъ случай (если вообще въ исторіи бываютъ случайности)—ссылка въ село Михайловское; очень тяжелая для поэта, она однако-жь подосивла какъ-разъ кстати,—безъ нея творчество Пушкина должно было-бы остановиться: онъ дошелъ въ своемъ душевномъ развитіи до того момента, когда ему оказалась нужной русская деревня съ ея безъискусственнымъ народнымъ бытомъ.

Поэма "Цыганы" затронула мимоходомъ важный психологическій вопросъ—о ревности. Поэтъ видимо протестуетъ противъ этого чувства, и не трудно замѣтить, что протесть его основанъ на воззрѣніи на любовь какъ на непонятную прихоть сердца: онъ не объясняетъ въ поэмѣ были-ли у Земфиры причины разлюбить Алеко, или почему ея мать, Маріула, покинула мужа.

Такъ говоритъ поэтъ устами Старика-цыгана.—За эту идею ухватился Бѣлинскій и написаль, разбирая поэму, свое знаменитое горячее разсужденіе о нел'вности ревности. Со свойственной великому критику страстною последовательностью мысли онъ до конца провель оправданіе изміны, признавая любовь чувствомъ совершенно невольнымъ, непостижимой "прихотью сердца". Бѣлинскій чутко замѣтилъ, при этомъ, что самъ Пушкинъ не такъ последователенъ въ данномъ случав, какъ онъ: поэтъ, допуская невольную измёнчивость сердца, видить въ ней, однако, дъйствие какой-то "злой судьбы", "роковой страсти", которымъ не можетъ, конечно, сочувствовать.-Мы, отдаленные теперь временемъ и отъ поэта, и отъ его критика, можемъ сказать, что въ непослъдовательности Пушкина было бол'ве правды, ч'ямь въ посл'ядовательности Бѣлинскаго. Ревность безнравственна и нелѣна, но не потому, что любовь есть прихоть сердца, а потому, что она или оскорбительна, какъ выраженіе недов'єрія, или напрасна, если съ одной стороны любовь прекратилась. Объ эти мысли собственно высказаны и у Бълинскаго, но онъ не составляють главной идеи его разсужденія.—Пушкинъ смутно чувствоваль въ "Цыганахъ" неправду пониманія любви какъ своенравнаго и временнаго увлеченія; это выразилось въ его попытк объяснить изм'ту Земфиры идеей, что мужчина любить серьёзно,

горестно и трудно, А сердце женское шутя.

Объяснение это, замѣтимъ мимоходомъ, противорѣчитъ характеру Земфиры и отзывается чѣмъ-то субъективнымъ, свидѣтельствуя о личномъ разочаровании Пушкина въ какомъ-то женскомъ сердцѣ; быть можетъ, объяснение такому факту мы найдемъ въ позднѣйшихъ отношенияхъ его, завязавшихся въ селѣ Михайловскомъ, гдѣ и оканчиваль онъ сочинение "Цыганъ".

Итакъ, сомнѣніе составляетъ отличительную черту внутренней жизни Пушкина въ Одессѣ; оно легло въ основу нѣсколькихъ лирическихъ стихотвореній, выразилось въ его письмахъ, въ начатомъ очеркѣ образа Онѣгина, въ основной идеѣ поэмы "Цыганы", въ разрушеніи поэтомъ байроническаго характера.—Можетъ быть скептицизмъ зародился въ душѣ Пушкина подъ вліяніемъ чтенія Гёте, подъ дѣйствіемъ увлеченія образомъ Мефистофеля; поэтъ самъ говоритъ (въ письмѣ объ атеистѣ англичанинѣ), что онъ читалъ въ Одессѣ Гёте, предпочитая его Библіи, а въ своей попыткѣ объясненія стихотворенія "Демонъ" прямо ссылается на Мефистофеля: "недаромъ (пишетъ онъ) великій Гёте называлъ вѣчнаго врага человѣчества духомъ отрицающимъ". Развитію скептицизма могло способствовать и то обстоятельство, что русская душа Пушкина инстинктивно возмущалась противъ господства надъ нею байронизма.—Но все это лишь поводы къ появленію сомнѣнія въ душѣ поэта, причины-же его лежатъ гораздо глубже.

Какъ всв мы, развившіеся подъ вдіяніемъ западно-европейской цивилизаціи, Пушкинъ не быль человікомъ непосредственнымъ, и потому не быль чуждъ! раздвоенія. Несмотря на поэтическій строй его души, онъ былъ причастенъ рефлексіи и переживалъ различные моменты развитія, когда то та, то другая душевная сила получала перевёсь надъ прочими силами. Когда онъ писалъ "Руслана и Людмилу", въ холодныхъ и красивыхъ звукахъ этой поэмы, въ ен прекрасныхъ и фантастическихъ картинахъ слышалось преобладающее развитіе воображенія. Могучія впечатлівнія юга, зародившаяся тамъ въ душі поэта любовь согрѣли его сердце и дали преобладающее значение въ его жизни и творчествъ чувству. Такъ, самый характерный признакъ поэмы "Кавказскій плънникъ" есть горячее сердечное одушевленіе; теплота молодаго чувства рѣзко отличаетъ эту поэму отъ "Руслана и Людмилы". Преимущественно сердпемъ жилъ Пушкинъ до самой Одессы. Здёсь-же, въ последній годь его пребыванія на юге, наступиль для него (по законамь общаго хода развитія духа, затронутаго рефлексіей) тотъ періодъ жизни, когда силы ума рвутся къ господству надъ другими силами, все подвергая сомнѣнію, разрушая свѣтлые образы дѣтской фантазіи и горячіе порывы юношескаго чувства. Сомнъвающаяся мысль его заподозрила

всякое положеніе и всякое върованіе. Натура гармоническая по-преимуществу и художественная, Пушкинъ не слишкомъ, однако, поддался скептицизму, и этотъ послъдній не быль въ немъ особенно глубокъ; выъзжая въ 1824 году изъ Одессы, поэтъ уже быль близокъ къ освобожденію отъ мучившихъ его сомнѣній.

Высылаемый на сѣверъ, Пушкинъ простился съ южнымъ моремъ, которое успѣлъ горячо полюбить, чуднымъ стихотвореніемъ "Къ морю". Разлуку съ нимъ Пушкинъ уподобляетъ разлукѣ съ любимымъ существомъ:

Какъ друга ропоть заунывный, Какъ зовъ его въ прощальный часъ, Твой грустный шумъ, твой шумъ призывный Услышалъ я въ последній разъ.

Прощаніе съ югомъ есть вмёстё и прощаніе поэта съ прежними идеа лами: въ послёдній разъ воспеваеть онъ Байрона и Наполеона, обращаясь къ морю:

Одинъ предметъ въ твоей пустынъ Мою-бы душу поразилъ.

Одна скала, гробница славы... Тамъ погружались въ хладный сонъ Воспоминанья величавы. Тамъ угасалъ Наполеопъ!

Тамъ онъ почиль среди мученій. И вельдъ за нимъ, какъ бури шумъ, Другой отъ насъ умчался геній, Другой властитель нашихъ думъ.

Исчезъ оплаканный свободой, Оставя міру свой вінець. Шуми, взволнуйся непогодой: Онъ быль, о море, твой півець!

Твой образь быль на немь означень, Онь духомъ создань быль твоимъ: Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ, Какъ ты, инчъмъ не укротимъ.

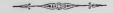
Мірь опустыть...

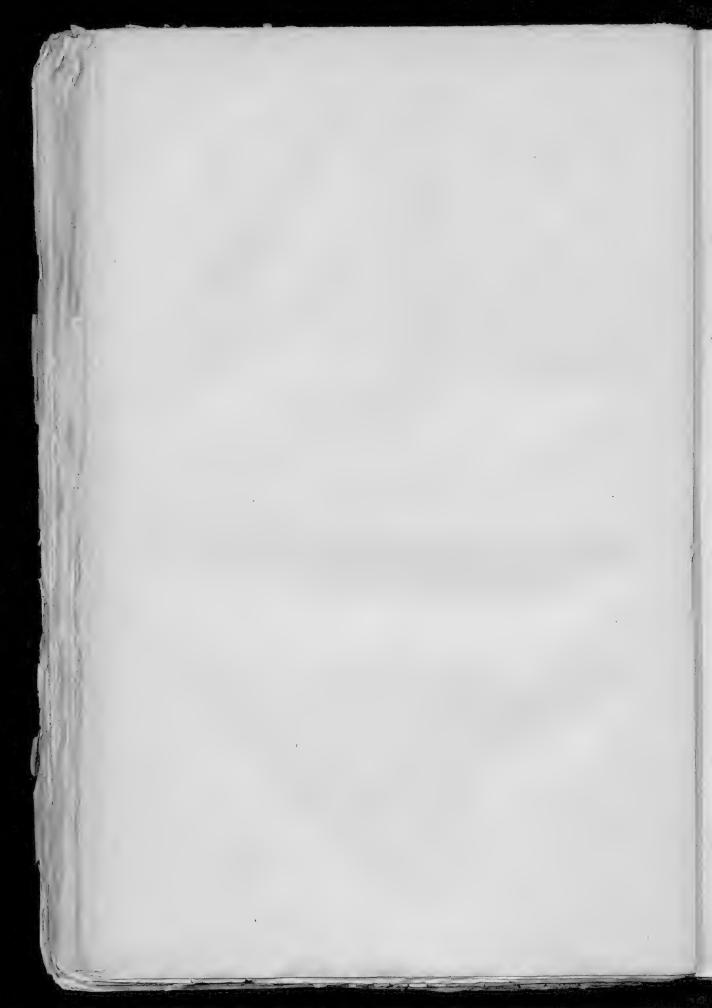
Въ последній разъ въ душе Пушкина на мигь воскресло беззаветное увлеченіе Байрономъ и высказался мрачный, разочарованный взглядъ на міръ.

Стихотвореніе оканчивается вдохновеннымъ порывомъ любви къ тревожной и гордой стихіи:

Въ дѣса, въ пустыни молчаливы Перенесу, тобою полиъ, Твоп скалы, твоп заливы, И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ!

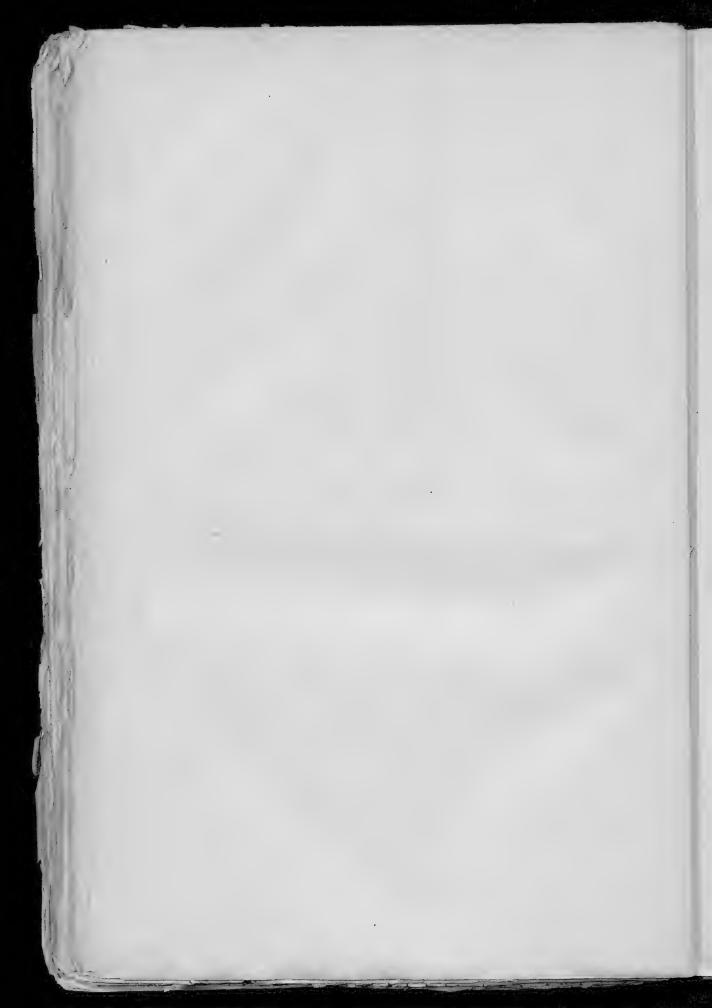
Поэть думаль, что на сверь будеть жить воспоминаніями грандіозных впечатльній юга; онь ошибался: въ Михайловскомъ эти впечатльнія не забылись... но старые идеалы начали быстро разрушаться въ его сознаніи,—и въ 3-й главь "Оньгина" онь уже назваль Байрона, недавняго "властителя думъ" своихъ, поэтомъ "безнадежнаго эгоизма". На родномъ свверь Пушкина ждали новыя, не менье могущественныя, но совершенно другаго рода впечатльнія, ждала новая, народная, деревенская, родная жизнь...





## второй періодъ

жизни и дѣятельности Пушкина.



## ГЛАВА III.

Михайловское. — Народная жизнь. — Шекспиръ.

(1824-1826 rr.).

1.

"Усталымъ пришельцемъ", недовольнымъ собою и жизнью, прівхалъ Пушкинъ въ началѣ августа 1824 года въ "смиренный домикъ" и рощи роднаго Михайловскаго.

Я еще Быль молодь, но уже судьба Меня борьбой перовной истомила; Я быль ожесточень!

вспоминаль онь объ этомъ времени впослѣдствіи, въ одномъ стихотвореніи 1835 года 1):

Въ уныны часто Я помышлить о юности моей, Утраченной въ безилодныхъ испытаньяхъ, О строгости заслуженныхъ упрековъ, О дружбъ, заплатившей мнъ обидой За жаръ души довърчивой и нъжной,— И горькія кипъли въ сердцъ чувства.

Скептицизмъ и раздумье одесской эпохи поэтъ примѣнилъ теперь и къ своей личной жизни: настала пора серьезнаго размышленія о бурно проведенной юности, объ ея увлеченіяхъ и ошибкахъ. Скептически отнесся онъ и къ товарищамъ былаго разгула.

Горькое чувство Пушкина усилилось въ первое время въ Михайловскомъ вслъдствіе новыхъ тяжелыхъ впечатлѣній—разлада съ семьей, съ отцемъ и матерью. Дѣло вышло изъ-за паблюденія за поведеніемъ поэта. Это наблюденіе поручено было правительствомъ первоначально уѣздному предводителю дворянства Пещурову и настоятелю Святогорскаго мона-

<sup>1) &</sup>quot;Вновь я посётиль тоть уголокь земли"... Соч. т. III, стр. 426. пушкинь въ его поэзи.

стыря, находящагося верстахъ въ трехъ отъ Михайловскаго, человѣку простому и доброму (по словамъ И. И. Пущина). Но отецъ Пушкина имѣлъ безтактность оффиціально принять на себя обязанность слѣдить за сыномъ. "Пещуровъ (писалъ поэтъ Жуковскому) осмѣлился предложить отцу моему распечатывать мою переписку— короче быть моимъ шпономъ". Обстоятельства осложнились опасеніями родителей, что заблудшій сынъ ихъ можетъ оказать дурное вліяніе на брата и сестру. "Отецъ сталъ укорять брата (пишетъ Нушкинъ), что я преподаю ему и сестрѣ безбожіе" 1). Слѣдствіемъ всего этого явилось объясненіе поэта съ отцомъ, кончившееся вспышкой съ обѣихъ сторонъ. Сергѣй Львовичь выбѣжалъ изъ комнаты и кричалъ на весь домъ, сперва—что сынъ его билъ, потомъ—что хотѣлъ бить. Въ письмѣ къ Жуковскому Пушкинъ проситъ помочь ему въ бѣдѣ:

"Я сосланъ (говоритъ онъ) за одну строчку глупаго письма. Если присоединится обвинение въ томъ, что и поднялъ руку на отца, посуди, какъ тамъ обрадуются. Шутка эта пахнетъ каторгой" 2).

Жуковскій уладиль діло и примириль поссорившихся; онъ писаль по этому поводу Тургеневу:

"Слухи, дошедшіе до васъ о Сверчкѣ <sup>3</sup>), пустые: онъ въ деревнѣ по-прежнему. Но едва пе надѣлалъ глупостей, которыя, кажется, имѣть слѣдствій не будутъ. Я получилъ отъ него письмо, которое было меня очень взбудоражило; но братъ его пріѣздомъ своимъ меня успокоилъ. Я отвѣчалъ ему и жду отъ него увѣдомленія. Отецъ пріѣхалъ въ Петербургъ вчера. Я еще съ нимъ не видался; но и онъ съ своей стороны, кажется, дѣлаетъ ребяческія глупости; хочу ему прочитать проповѣдь, на которую я приглашу его къ себѣ. Бѣдъ никакихъ не случилось; но могли случиться—разскажу при свиданіи".

Сергъй Львовичь отступился отъ своихъ словъ и сказалъ: "Экой дуракъ! Въ чемъ оправдывается! еще-бы онъ прибилъ меня!" Надежда-же Осиповна для объясненія вспыльчивости супруга сочинила каламбуръ: "да онъ, Сергъй Львовичь, убитъ его словами!" Вскоръ затъмъ Пушкинъ-отецъ послалъ письменный отказъ отъ возложенной на него обязанности наблюденія за сыномъ.—Какъ это грубое столкновеніе сильно подъйствовало на поэта, видно изъ письма, отправленнаго имъ, конечно подъ свъжимъ впечатльніемъ ссоры, къ псковскому губернатору Адеркасу:

"Ръшаюсь для его (т. е. отца) спокойствія и своего собственнаго (пи-

<sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 273—274.

<sup>4)</sup> Пушкина въ Алекс. эпоху, г. Анненкова, стр. 272-273.

<sup>3)</sup> А. С. Пушкинъ по докум. остаф. архива І, 68.—Сверчокъ—прозвище Пушкина въ "Арзамасъ".

салъ поэтъ) просить Его Императорское Величество да соизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей" ¹).

Но тяжелы были только первыя впечатлёнія Пушкина въ Михайловскомъ; за ними явились иныя. Вмёсто дружбы, "заплатившей" ему "обидой за жаръ души", у него завязались новыя, истинно-дружескія связи съ владётельницами сосёдняго села Тригорскаго, онъ сблизился съ своей старушкой няней, съ простой, народной русской жизнью, и ему удалось свидёться съ прежними друзьями, товарищами дътства. Всё эти отношенія оказались цёлебными для его измученной души, успокоили ее.

Тригорское принадлежало Прасковь Александровн Осиповой и ея семейству. Отъ перваго брака, съ Вульфомъ, у Прасковьи Александровны были дѣти; Алексѣй Николаевичь (въ это время студентъ деритскаго университета), Анна и Евираксія Николаевны; отъ втораго брака, съ Осиповымъ, дочери: Екатерина и Марія Ивановны. Съ нею жила еще падчерица - Александра Ивановна Осинова. Среди этого мирнаго общества добрыхъ и простыхъ русскихъ людей Пушкинъ проводилъ цѣлые дни и недъли. Онъ прівзжаль къ нимъ изъ своего Михайловскаго то на прекрасномъ аргамакъ, то на деревенской лошаденкъ; зачастую приходиль и ившкомъ, иной разъ неожиданно являясь въ комнату черезъ окно вийсто двери. Онъ всегда быль здёсь желаннымъ гостемъ и его всегда ожидали молодыя сосёдки. Населеніе Тригорскаго иногда увеличивалось прівзжавшими погостить племянницами Прасковьи Александровны, изъ которыхъ одна особенно заинтересовала поэта, это-Анна Петровна Кернъ, та самая, которая своей красотой произвела на него сильное впечатлівніе въ Петербургів, незадолго передъ выйздомъ его изъ столицы.

Анна и Евпраксія Николаевны, равно какъ и мать ихъ, были друзьями Пушкина. Прасковь Александровн Осиновой онъ посвятиль свои "Подражанія Корану"; ей-же написаль онъ стихотвореніе 1825 г.

Быть можеть, ужь не долго мий Въ изгнанын мириомъ оставаться, Вздыхать о мирной стариий, И сельской Музф въ тишинф Душой безиечной предаваться.

Но и вдали, въ краю чужомъ, Я буду мыслію всегдашией Бродить Тригорскаго кругомъ, Въ лугахъ, у рфчки, надъ холмомъ, Въ саду подъ сфнью липъ домашией,

<sup>4)</sup> Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 295.

Когда иомеркнетъ ясный день, Одна изъ глубины могильной Такъ иногда въ родную сънь Летитъ тоскующая тънь На милыхъ бросить взоръ умильный.

Тригорское было дъйствительно для Пушкина "родною сънью", и нельзя не признать искренними слова его въ письмъ къ Прасковьъ Александровнъ отъ 8 августа 1825 года: "croyez qu'il n'y a de vrai et de bon sur la terre que l'amitié et la liberté, c'est vous qui m'avez fait aprécier le charme de la première" ¹). Прасковья Александровна была женщина умная и добрая, съ однимъ только, говорятъ, недостаткомъ—нъсколько излишней самонадъянностью.

Въ письмъ къ одному лицу изъ Михайловскаго Пушкинъ писалъ:

"Единственное развлечение мое составляеть добрая старая сосѣдка, которую я часто вижу, слушая ея патріархальные разговоры, въ то время, какъ ея дочки... разыгрывають мнѣ Россини... Лучшаго положенія для окончанія моего романа врядъ-ли можно и желать" <sup>2</sup>).

Такимъ образомъ поэтъ самъ указываетъ, что семейство Осиповыхъ и Вульфъ помогло ему изобразить въ "Онѣгинѣ" семью Лариныхъ. Г. Анненковъ справедливо догадывается, что Татьяна и Ольга списаны (конечно, не какъ копіи) съ Анны Николаевны и Евираксіи Николаевны. Только должно замѣтитъ, что основныя черты характера Татьяны взялъ Пушкинъ съ другаго лица, заимствовалъ изъ души любимаго человѣка, про котораго сказалъ впослѣдствіи въ "Онѣгинъ":

А ты, съ которой образованъ Татьяны милой идеаль... О, много, много рокъ отъяль!

Воздушная Евпраксія, какъ называли младшую Вульфъ Пушкинъ и другіе, была живая, веселая, бойкая и симпатичная, но нѣсколько легкая натура. Поэтъ казался влюбленнымъ въ нее, но это не было чувство серьезной любви, а скорѣе—дружеская привязанность. Онъ посвятиль ей стихотвореніе "Въ альбомъ" (1826 г.):

Воть, Зина, вамъ совъть—играйте, Изъ розъ веселыхъ заплетайте Себъ торжественный вънець—
И впредь у насъ не разрывайте
Ни мадригаловъ, ни сердецъ.

¹) Ст. М. И. Семевскаго "Прогулка въ Тригорское". Спб. Вѣдомости 1866 года, №№ 139, 146, 157, 163 и 168. См. № 146.

<sup>2)</sup> Пушкинъ въ александровскую эпоху, стр. 270.

Евпраксія Николаевна напоминаетъ собою Ольгу Ларину, какъ она обрисована въ романъ:

Всегда скромна, всегда послушна, Всегда какъ утро весела, Какъ жизнь поэта простодушна, Какъ поцълуй любви мила...
(гл. II, стр. XXIII.)

Старшая сестра ея была гораздо серьезнъе.

Еще одному лицу изъ семейства Осиновыхъ Пушкинъ посвятиль стихотвореніе. Это—Александра Ивановна, падчерица Прасковьи Александровны. Стихотвореніе озаглавилъ поэть—"Признаніе" (1824 г.)

Я васъ люблю, хоть я бышусь, Хоть это трудъ и стидъ напрасный... И въ этой глупости несчастной У вашихъ ногь я признаюсь! Мнъ не къ лицу и не по льтамъ... Пора, пора мнъ быть умнъй! Но узнаю по всъмъ примътамъ Болъзнь любви въ душъ моей: Безъ васъ мнъ скучно, я зъваю; При васъ мнъ грустно, я терплю; И мочи нътъ, сказать желаю: Мой ангелъ, какъ я васъ люблю!

Спокойствіе и добродушная, нѣжная шутливость тона показывають, что стихотвореніе выражаєть не страсть любви, а поэтическое дружеское расположеніе:

Я въ умиленьѣ, молча, нѣжно, Любуюсь вами, какъ дитя!..

Въ томъ-же тонъ и окончание:

Быть можеть, за грѣхи мои, Мой ангель, и любви не стою! Но притворитесь: этоть взглядь Все можеть выразить такъ чудно! Ахъ, обмануть меня не трудно: Я самъ обманываться радь.

Евираксія Николаевна Вульфъ вышла вцослѣдствіи замужъ за барона Вревскаго; Анна Николаевна осталась въ дѣвушкахъ до смерти своей (въ 60-хъ годахъ); она, говорять, была безпредѣльно предана поэту. Пушкинъ былъ съ ней въ дружеской перепискѣ. Вотъ отрывокъ изъ одного письма его къ ней (отъ 25 іюля 1825 года),—въ немъ сквозь шутливый и легкомысленный тонъ слышится искреннее дружеское чувство. Поэтъ пишетъ:

"Довхали-ли вы до Риги? Одержали-ли побвды? скоро-ли выйдете

замужъ? нашли-ли улановъ? Увѣдомьте меня обо всемъ этомъ въ величайшей подробности, ибо вы знаете, что, несмотря на мои злыя шутки, я истинно интересуюсь тѣмъ, что до васъ касается... Знаете-ли вы, за что я хотѣлъ васъ побранить? нѣтъ? Дѣвица непостоянная, безчувственная, безъ... и т. д., и т. д." 1).

Въ этомъ-же письмѣ Пушкинъ впервые сознаетъ и первой открываетъ Аннѣ Николаевнѣ, что истинной любви къ Кернъ (какъ ему было показалось) у него въ душѣ нѣтъ. О дружбѣ поэта съ А. Н. Вульфъ свидѣтельствуетъ и слѣдующее обстоятельство: въ одномъ письмѣ ея къ Кернъ онъ приписалъ сбоку стихи изъ Байрона; а въ одномъ его письмѣ, тоже къ Кернъ, мы встрѣчаемъ приписку Анны Николаевны. Мы видимъ такимъ образомъ, что она была повъренной тайнъ поэта.— Страненъ только небрежно-шутливый тонъ въ его отношеніяхъ къ ней; кромѣ приведеннаго письма, тонъ этотъ слышится еще въ двухъ коротенькихъ стихотвореніяхъ, посвященныхъ ей. Въ одномъ, "Къ имянинницъ" (3 февр. 1825 г.), Пушкинъ говоритъ, что не понимаетъ—почему ее "окрестили благодатью" (Анна):

Неть, неть, по мненью моему, И ваша речь, и взорь унылый, И ножка (смею вамь сказать)—Все это чрезвычайно мило, Но пагуба, не благодать.

Еще страннъе другое стихотвореніе:

Почтенія, любви и нѣжной дружбы ради, Хвалю тебя, мой другъ, и спереди, и сзади. (17 апр. 1825 г.).

Быть можеть, не чувствуя самъ любви къ Аннѣ Николаевнѣ, поэтъ смущался ея чувствомъ къ нему, и потому впадалъ въ преувеличенно-небрежный и простой, даже грубый тонъ въ своихъ, въ сущности несомнѣнно дружескихъ, отношеніяхъ къ ней. Есть впрочемъ стихотвореніе, одно изъ лучшихъ у Пушкина, должно быть относящееся къ Аннѣ-же Николаевнѣ, изъ котораго видно, что бывали и такія минуты, когда поэтъ былъ близокъ даже къ мечтѣ о тихомъ семейномъ счастъѣ съ нею. Это стихотвореніе—"Зимняя дорога" (1826 г.; оно написано, какъ говорятъ ²), по поводу одной изъ поѣздокъ въ Псковъ). Поэту "скучно, грустно" подъ вліяніемъ однообразія снѣжныхъ равнинъ, заунывныхъ пѣсенъ ямщика... и въ душѣ невольно зарождается успокоительно-отрадная мысль:

<sup>4)</sup> Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 327, 328.

<sup>2)</sup> Прим. г. Ефремова, Соч. Пушкина, т. И, стр. 414.

Завтра, Нина...
Завтра, къ милой возвратясь, Я забудусь у камина, Загляжусь, не наглядясь. Звучно стръдка часовая Мърный кругь свой совершить, И докучныхъ удаляя, Полночь насъ не разлучить.

Въ Тригорскомъ Пушкинъ дружески сблизился еще съ Алексѣемъ Николаевичемъ Вульфомъ и съ поэтомъ Языковымъ, дерптскими студентами, товарищами по университету.—Вульфъ билъ натура спокойная, сдержанная, "филистеръ", по выраженію Пушкина; Языковъ—совершенная ему противоположность; поэтъ называлъ его "вдохновеннымъ". Съ Вульфомъ Пушкинъ ѣздилъ верхомъ, упражнялся въ стрѣльбѣ; между ними бывали и долгіе серьезные разговоры.

"Вчера Алексви и я говорили битыхъ четыре часа (пишеть Пушкинъ Аннъ Николаевнъ 21 іюля 1825 г.). У насъ еще никогда не было такого продолжительнаго разговора. Угадайте, что насъ такъ сблизило? Скука? Единство чувства? Ничего этого не знаю"... 1).

Поэтъ Языковъ воспѣвалъ въ своихъ стихотвореніяхъ вино и разгулъ, но былъ, какъ извѣстно, человѣкъ скромный и застѣнчивый и вовсе не кутила. Застѣнчивость, кажется, и помѣшала ему пріѣхать лѣтомъ 1825 года въ Тригорское, гдѣ его ожидали, и онъ явился сюда только на слѣдующее лѣто. Они съ Пушкинымъ подружились, и съ восторгомъ вспоминаетъ Языковъ въ одномъ письмѣ о своемъ пребываніи въ Тригорскомъ: "я вопрошалъ совѣсть мою (говоритъ онъ), внималъ отвѣтамъ ея, и не нахожу во всей моей жизни ничего подобнаго красотою нравственною и физическою, ничего пріятнѣйшаго и достойнѣйшаго сіять золотыми буквами на доскѣ памяти моего сердца, нежели лѣто 1826 года!" 2). Языковъ посвятилъ Тригорскому и Михайловскому нѣсколько стихотвореній. Въ одномъ онъ, разсказывая, какъ они съ Пушкинымъ и Вульфомъ пили жженку, упоминаетъ и о чемъ при этомъ бесѣдовали:

Зовемъ свободу въ нашу Русь— И я на вѣчѣ, я на небѣ! И славой прадѣдовъ горжусь!

Значить, друзья вели серьезные, дёльные разговоры. Это напоминаеть бесёды Онфгина съ Ленскимъ:

Межь нами все рождало споры И къ размышленію влекло:

<sup>&#</sup>x27;) "Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 328.

<sup>2)</sup> Ст. М. П. Семевскаго, "Спб. Вфдомости" 1866 г. № 163.

Племенъ минувшихъ договоры, Плоды наукъ, добро и зло, И предразсудки въковые, И гроба тайны роковыя, Судьба и жизнь, въ свою чреду Все подвергалось ихъ суду.

Должно быть кое-что изъ характера Языкова внесъ Пушкинъ въ образъ своего безвременно погибшаго юноши-романтика и мечтателя, Ленскаго.

Вульфу и Языкову Пушкинъ посвятилъ нѣсколько стихотвореній, въ которыхъ говоритъ о винѣ и разгулѣ.

Здравствуй, Вульфъ, пріятель мой! Прівзжай сюда зимой,

(зоветъ онъ друга въ письмъ 1824 года)

Да Языкова поэта Затащи ко мив съ собой-Погулять верхомъ порой, Пострълять изъ пистолета! Лайонъ, мой курчавый братъ (Не Михайловскій прикащикъ) Привезеть намъ, право, кладъ!... Что?... Бутылокъ полный ящикъ! Запируемъ ужь, молчи! Чудо-жизнь анахорета! Въ Троегорскомъ до ночи, А въ Михайловскомъ до свъта; Дии любви посвящены, Ночью-жь царствують стаканы; Мы-же-то смертельно ньяны, То мертвецки влюблены.

Въ другомъ подобномъ посланіи ("Къ Языкову", 1826 года) мы читаемъ такіе стихи:

Нѣтъ, не Кастальскою водой
Ты восноилъ свою Камену;
Пегасъ иную Инокрену
Конытомъ вынибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но пѣнится хмѣльною брагой;
Она разымчива, пьяна,
Какъ сей напитокъ благородный,
Сліянье рому и вина
Безъ примѣси воды негодной,
Въ Тригорскомъ жаждою свободной
Открытый въ наши времена.

Но изображенный въ этихъ стихахъ разгулъ вовсе не похожъ на мрач-

ные кутежи петербургской жизни Пушкина, или на разгулъ кишиневской эпохи. Поэтъ, несомнънно, преувеличиваетъ дъло: упоминаемый въ приведенныхъ стихотвореніяхъ "благородный напитокъ", изобрътенный въ Тригорскомъ, приготовляла друзьямъ Евпраксія Николаевна, что прямо указываетъ на воздержность ихъ веселья, да и Языковъ совсъмъ не былъ, какъ мы знаемъ, кутилой. Стихотвореніе 1825 года "Вакхическая пъсня" показываетъ намъ, что друзья вовсе не пропивали ума и здоровья:

Что смоленуль веселія глась? Раздайтесь, вакхальны припавы! Да здравствують нѣжныя дѣвы И юныя жены, любившія насъ! Поливе стаканъ наливайте! На звонкое дно Въ густое вино Завѣтныя кольца бросайте! Поднимемъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ! Да здравствують Музы, да здравствуеть разумы! Ты, солице святое, гори! Какъ эта лампада бледнесть Предъ яснымъ восходомъ зари, Такъ ложная мудрость мерцаеть и тлѣетъ Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума: Да здравствуетъ солице, да скроется тьма!

Пиры друзей Михайловскаго и Тригорскаго были задушевными бескдами за стаканомъ вина, въ которыхъ ключемъ кипъло молодое чувство, блестълъ живой умъ.

Въ Михайловскомъ Пушкина посътили и трое изъ его лицейскихъ товарищей: Пущинъ, Дельвигъ и князь Горчаковъ. Въ стихотвореніи "19 октября 1825 г." поэтъ говоритъ:

И нынѣ здѣсь, въ забытой сей глуши, Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада Мнѣ сладкая готовилась отрада: Тропхъ изъ васъ, друзей моей души, Здѣсь обнялъ я. Поэта домъ опальный, О, Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ, Ты усладилъ изгнанья день печальный, Ты въ день его Лицея превратилъ!

Пущинъ пробылъ въ Михайловскомъ менѣе сутокъ: онъ прівхаль въ 7 часовъ утра и уѣхалъ въ 3 часа ночи. При разставаньи друзья пили шампанское, провозглашая много тостовъ (въ томъ числѣ и тостъ "за нее"); но втеченіи дня они патолковались до-сыта, и рѣчи ихъ были добрыя и дѣльныя рѣчи. Пущинъ привезъ съ собою рукопись "Горя отъ ума"; онъ слушалъ (вмѣстѣ, должно быть, съ старушкой Ариной

Родіоновной), какъ поэтъ читалъ безсмертную комедію, прерывая чтеніе своими замѣчаніями и возраженіями. Друзья вспоминали прошлое, высказывали свои задушевныя чувства и мечты, говорили "о бурныхъ дняхъ Кавказа, о Шиллерѣ, о славѣ, о любви". Встрѣча эта напоминаетъ намъ теперь встрѣчу Лаврецкаго и Михалевича въ "Дворяпскомъ гнѣздѣ" Тургенева: тѣ-же горячія, дружескія бесѣды, тѣ-же споры заполночь о возвышенныхъ предметахъ.—Пущину хотѣлось подмѣтить—какая перемѣна произошла въ поэтѣ за время разлуки, и онъ нашелъ, что Пушкинъ сталъ простѣе, серьезнѣе, разсудительнѣе. Интересно, однако, что Пущинъ отклонилъ начатый-было поэтомъ разговоръ о политическихъ кружкахъ Петербурга.—Посѣщеніе друга оставило въ Пушкинъ отрадное впечатлѣніе, поэтически отразившееся съ народнымъ духомъ проникнутомъ стихотвореніи:

Стрекотунья бёлобока, Подъ калиткою моей Скачеть нестрая сорока И пророчить миё гостей. Колокольчикъ небывалый У меня звенить въ ушахъ... Лучь зари сілеть алый, Серебрится снёжный прахъ.

Лѣтомъ 1825 года къ Пушкину пріѣзжалъ Дельвигъ. Къ сожалѣнію, мы мало знаемъ—какъ друзья проводили время; но несомнѣнно, что Пушкинъ былъ очень обрадованъ посѣщеніемъ товарища-поэта; онъ писалъ въ Петербургъ брату: "какъ я былъ радъ Баронову пріѣзду. Онъ очень милъ! Наши въ него влюбились, а онъ равнодушенъ, какъ колода, любитъ лежать на постелѣ…" 1). Свиданіе съ другомъ пробудило въ Пушкинѣ воспоминаніе о первыхъ поэтическихъ вдохновеніяхъ дѣтскихъ лѣтъ, и онъ посвятилъ дорогому гостю теплымъ и глубокимъ чувствомъ проникнутые стихи:

О, Дельвигь мой! Твой голосъ пробудиль Сердечный жарь, такъ долго усыпленный, И бодро я судьбу благословиль.

Съ младенчества духъ пѣсенъ въ насъ горѣль, И дивное волненье мы познали; Съ младенчества двѣ Музы къ намъ летали, И сладокъ быль ихъ лаской нашъ удѣль! Но я любилъ уже рукоплесканья, Ты, гордый, пѣлъ для Музъ и для души; Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья, Ты геній свой воспитываль въ тиши.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Матер. г. Анненкова, стр. 144.

Служенье Музъ не терпитъ суеты: Прекрасное должно быть величаво; Но юность намъ совътуетъ лукаво, И шумныя насъ радуютъ мечты 1)...

Въ вдохновенныхъ строкахъ этихъ слышится недовольство поэта своими страстными и суетными увлечениями, жажда тишины и покоя и сознание важнаго и чистаго значения своего творческаго дара.

Въ дружбъ, согръвшей сердце Пушкина на родномъ съверъ, душа его и нашла успокоеніе отъ мятежныхъ страстей и бурь минувшаго періода жизни. Стихотвореніе "19 октября 1825 г." служитъ выраженіемъ новаго состоянія духа поэта. Онъ говоритъ здѣсь, какія горькія разочарованія пришлось ему испытать среди чужихъ людей:

Изъ края въ край преследуемъ грозой, Запутанный въ сетяхъ судьбы суровой, Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой, Уставъ, приникъ ласкающей главой... Съ мольбой моей печальной и мятежной, Съ доверчивой надеждой первыхъ летъ Друзьямъ инымъ душой предался нежной; Но горекъ былъ небратскій ихъ приветъ.

Теперь, подъ вліяніемъ новыхъ, родныхъ впечатліній, въ душі его съ особенной силой воскресла привязанность къ товарищамъ дітства; въ день лицейской годовщины онъ горячо вспоминаетъ свою дружбу съ ними:

Друзья мон, прекрасент нашт союзъ! Онь, какт душа, нераздълимт и въчент; Неколебимт, свободент и безпечент, Сростался онт подъ сънью дружныхъ Музъ. Куда-бы насъ ни бросила судьбина, И счастіе куда-бъ ни повело, Все тъ-же мы: намъ цълый міръ чужбина, Отечество намъ Царское-Село.

Послѣднія слова подверглись, какъ извѣстно, жестокому осужденію даровитаго критика; онъ правъ, конечно, если судить отвлеченно, не принимая въ разсчетъ состоянія духа Пушкина въ это время. Но дѣло въ томъ, что поэтъ сказалъ странныя слова потому, что былъ измученъ своею только что минувшею бурною жизнью, своими сомнѣніями, разочарованіями, борьбою съ байроническими идеалами; онъ готовъ былъ идеализировать тѣсный дружескій кругъ и даже хотѣлъ какъ-бы замкнуться въ немъ, по-крайней-мѣрѣ на время, потому что инстинктивно

<sup>1) &</sup>quot;19 октября, 1825 г.", Соч. т. И.

искалъ отдыха и душевнаго покоя. Ту-же идеализацію тихой дружеской жизни видимъ мы и въ стихахъ:

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья! Сокроемъ жизнь подъ сёнь уединенья!

И, наконецъ, то-же временное нравственное утомленіе сказалось въ странномъ предположеніи Пушкина, что послідній изъ оставшихся въ живыхъ товарищей его встрітить лицейскую годовщину одиноко, отчужденный отъ новой жизни, найдя себі утішеніе только въ чаші вина.

Несчастный другь! Средь новыхъ покольній Докучный гость, и лишній, и чужой, Онъ вспоминть насъ и дни соединеній, Закрывъ глаза дрожащею рукой... Пускай-же онъ съ отрадой, хоть печальной, Тогда сей день за чашей проведеть, Какъ нынъ и, затворникъ вашъ опальный, Его проведъ безъ гори и заботъ.

Кромѣ тихихъ дружескихъ привязанностей успоконтельно дѣйствовала на душу Пушкина народная русская жизнь, которая живою и спокойной волной своей охватила его въ простыхъ деревняхъ Исковской губерніи. Подъ ея вліяніемъ началось нравственное перерожденіе поэта, воскресеніе и развитіе въ его душѣ народныхъ началъ.

Въ Михайловскомъ на нравственномъ образъ Пушкина и на виъшней его жизни еще замътны были слъды байронизма; они выражались, напр. въ изысканной небрежности одежды поэта, въ вырывавшихся у него иногда скептическихъ фразахъ. Такъ, въ письмѣ къ брату (въ нолбрѣ 1824 г.) онъ говоритъ по поводу смерти тетки: "Еду завтра въ Св. Горы и велю отпъть молебенъ или нанихиду, смотря по тому, что дешевле" 1); въ письмѣ къ Жуковскому 2) поэтъ энергически выражается, говоря о кн. Вяземскомъ: "какъ могъ онъ на Руси сохранить свою веселость!" Байронизмъ, можетъ быть, отзывается отчасти и въ его желаніи замкнуться въ дружескомъ кружкъ.—"Пушкинъ (разсказываетъ Алекеви Ник. Вульфъ, очевидно, впрочемъ, преувеличивая дело), когда жилъ въ деревиъ, ръшительно былъ помъщанъ на Вайронъ; онъ его изучалъ самымъ старательнымъ образомъ и даже старался усвоить себъ многія привычки Байрона. Пушкинъ, напр., говаривалъ, что онъ ужасно сожальеть, что не одарень физическою силой, чтобъ делать такіе подвиги, какъ англійскій поэтъ, который, какъ изв'єстно, переплываль Геллеспонть... А чтобъ сравняться съ Байрономъ въ мѣткости стрѣльбы

<sup>4)</sup> Рус. Стар. 1879 г. окт., стр. 300.

<sup>2)</sup> Отъ 24 ноября 1824 года. — Тамъ-же, стр. 301.

Пушкинъ вмѣстѣ со мной сажаль пули въ звѣзду..." ¹). Въ письмѣ къ брату (отъ 22-го апр. 1825 г.) поэтъ проситъ выслать ему книгу о верховой ѣздѣ: "хочу (говорить онъ) жеребцовъ выѣзжать,—вольное подражаніе Alfieri и Байрону" ²). (Замѣтимъ кстати, что эта просьба совпала какъ разъ по времени съ его жалобами на свой мнимый анев-

Но байроническія начала, уже давно ослаб'євшія въ душ'є Пушкина, должны были несомнівню уступить, въ новой обстановкі, началамь инымъ. Не даромъ онъ въ "Разговоріє книгопродавца съ поэтомъ" (1824 г.) прощается съ прежними пріемами творчества и вспоминаетъ, какъ о невозвратныхъ мечтахъ, о прошедшей своей жизни, когда душой его "обладалъ" какой-то "демонъ", "шептавшій" ему "дивные звуки", когда голова его полна была

тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ,

когда онъ, творя, таилъ про себя

Души высокія созданья, И отъ людей, какъ отъ могилъ, Не ждалъ за чувство воздалны.

Поэть скорбить о прошломъ; но онъ чувствуеть, однако, что въ душѣ его начинается новая, не менѣе могучая жизнь, —молодая листва пробивается на старыхъ вѣтвяхъ. Уже въ I главѣ "Онѣгина" онъ говоритъ:

Я быль рождень для жизни мирной, Для деревенской тишины: Въ глуши звучнъе голосъ лирный, Живъе творческіе сны...

Онъ предчувствуетъ уже:

скоро, скоро бури слѣдъ Въ душѣ моей совсѣмъ утихнетъ,

и обѣщаеть:

ризмъ).

Тогда-то я начну писать Поэму, пъсенъ въ двадцать пять.

А въ III главъ романа онъ даетъ даже подробную программу этой "поэмы", называя ее "романомъ" (хотя и не догадываясь еще, что она будетъ простою "повъстью"):

¹) Ст. М. И. Семевскаго въ "Спб. Вѣдом." 1866 г., № 139.

<sup>2)</sup> Рус. Стар. 1879 г. окт., стр. 317.

Тогда романъ на старый ладъ Займеть веселый мой закать. Не муки тайныя злодъйства Я грозно въ немъ изображу, Но просто вамъ перескажу Преданья русскаго семейства, Любви плънительные сны Да нравы нашей старины.

Съ этими "нравами старины" и знакомился Пушкинъ въ деревнъ.

Главнымъ лицемъ, сближавшимъ его съ народной русской жизнью, была, конечно, няня Арина Родіоновна; знакомился онъ съ простыми русскими людьми и у своихъ Тригорскихъ сосѣдокъ; и, наконецъ, онъ самъ (говоря новъйшимъ выраженіемъ) "ходилъ въ народъ", собирая пъсни, изучая бытъ и нравы мужика и, по поэтической своей впечатлительности, сливаясь жизнью и душою съ этимъ бытомъ и этими правами.

Няня поэта, Арина Родіоновна, по словамъ обитательницъ Тригорскаго, 1) "была старушка чрезвычайно почтенная,—лицомъ полпая, вся сѣдая, страстно любившая своего питомца, но съ однимъ грѣшкомъ—любила выпить..." Зиму 1824—1825 года Пушкинъ провелъ въ уединеніи, "съ няней и съ трагедіей", по его выраженію.

Наша ветхая лачужка И печальна, и темна...

сказалъ онъ въ своемъ чудномъ "Зимнемъ вечеръ". И дъйствительно, жилище его было просто: одна и та-же комната служила ему и спальней, и столовой, и кабинетомъ. Поэтъ Языковъ такъ описалъ эту комнату:

обоями худыми Гдё-гдё прикрытая стёна, Полъ нечиненный, два окна И дверь стеклянная межь ними; Диванъ предъ образомъ въ углу Да пара стульевъ... <sup>2</sup>)

Пушкинъ не любилъ богатой обстановки, и въ простой, серенькой комнать у него скоръй являлось вдохновенье, чемъ въ роскошномъ кабинеть съ картинами, статуями и богатой мебелью.—На другой половинъ дома, черезъ сени, находилась комната няни. Передъ домомъ былъ дворъ съ цвётникомъ, а позади раскинулся густой паркъ.

Любя бесъдовать съ своею старушкой-няней, поэтъ обыкновенно ейже читалъ и свои произведенія:

¹) Спб. Вѣд. 1866 г., № 163.

<sup>2)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 110.

я плоды монхъ мечтаній И гармоническихъ затібі Читаю только старой нянів, Иодругів юности моей,

сказалъ онъ въ "Онъ́гинъ". Къ сожалъ́нію, намъ неизвъ́стны отзывы Арины Родіоновны о сочиненіяхъ ея воспитанника. Няня, въ свою очередь, разсказывала поэту сказки, пъ́ла пъ́сни. Осенью 1824 года Пушкинъ писалъ брату:

"Знаешь-ли мои занятія? до обѣда пишу записки, обѣдаю поздно; послѣ обѣда ѣзжу верхомъ, вечеромъ слушаю сказки—и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!" 1).

Пушкинъ глубоко понималь красоты народнаго творчества. Со словъ няни онъ записалъ семь сказокъ, изъ которыхъ три послужили ему основой для написанныхъ имъ въ 1831 и 1833 годахъ: "Сказки о царѣ Салтанѣ", "Сказки о купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и работникѣ его Балдѣ" и "Сказки о мертвой царевнѣ и семи богатыряхъ". Г. Анненковъ приложилъ къ своимъ "Матеріаламъ для біографін Пушкина" три записанныя поэтомъ сказки Арины Родіоновны; Пушкинъ записывалъ ихъ, какъ мы видимъ, не цѣликомъ, а сокращенно, и это обстоительство даетъ возможность вполнѣ оцѣнить, какое у него было живое чувство народнаго языка и какъ онъ понималъ народныя произведенія.—Въ бытность свою въ Михайловскомъ Пушкинъ сдѣлалъ только одинъ опытъ переложенія сказки своими стихами,—написалъ "Жениха", вещь положительно неудачную. Должно быть, онъ самъ почувствовалъ неудачу, и, вѣроятно, потому оставилъ на пѣкоторое время этотъ родъ творчества.

Въ "Зимнемъ вечеръ" есть указаніе—какія именно пѣсни пѣла своему питомцу Арина Родіоновна:

Спой мив ивсню, какъ синица Тихо за моремъ жила; Спой мив ивсню, какъ девица За водой поутру шла,

проситъ поэтъ "свою старушку".

Упоминаемая здёсь пёсня про синицу должно быть есть извёстная "За моремъ синичка не пышно жила". Значитъ, няня пёла пёсни не только лирическія, но и эпическія; можетъ быть она знала и былевой эпосъ... Вёроятно отъ няни-же слышалъ Пушкинъ и пёсню о медвёдё, которую такъ чудно переложилъ въ стихи, сохранивши духъ и складъ народной рёчи:

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., овт., стр. 299.

Какт весенней теплой порою,
Изъ-подъ утренней бёлой зорюшки,
Что изъ лѣсу, лѣсу дремучаго—
Выходила медвѣдица
Съ малыми дѣтушками-медвѣжатами,
Поиграть, погулять, себя показать.
Сѣла медвѣдица подъ березкой;
Стали медвѣжата промежь собой играти,
Обниматися, боротися,
Боротися да кувыркатися.
Отколь ни возьмись, мужикъ идетъ;
Онъ въ рукахъ несетъ рогатину,
А ножъ-то у него за поясомъ,
А мѣшокъ-то у него за плечами... и т. д.

Въ Тригорскомъ тоже были, какъ и вообще въ помѣщичьихъ домахъ прежнихъ временъ, простые русскіе люди, близкіе къ господамъ, коть и не такъ, какъ няня Арина Родіоновна къ Пушкину. Знакомство поэта съ ними тоже было ступенью къ сближенію его съ народомъ. "Жила у насъ (разсказываетъ Марья Ивановна Осипова) 1) ключницей Акулина Памфиловна—ворчунья ужасная. Бывало, бесѣдуемъ мы всѣ до поздней ночи,—Пушкину и захочется яблокъ; вотъ и пойдемъ мы просить Акулину Памфиловну: принеси, да принеси моченыхъ яблокъ; а та и разворчится. Вотъ Пушкинъ разъ и говоритъ ей шутя: "Акулина Памфиловна, полноте, не сердитесь! завтра-же васъ произведу въ попадьи." И точно, подъ именемъ ен—чуть-ли не въ "Капитанской дочкъ"—и вывелъ попадью; а въ мою честь, если хотите знать, названа сама героиня этой повъсти... Былъ у насъ буфетчикъ Пименъ Ильичь — и тотъ попалъ въ повъсть..." (Къ сожальню, Марья Ивановна не пояснила—въ какую повъсть и къмъ онъ тамъ явился).

Не ограничиваясь знакомствомъ съ народной поэзіей изъ устъ няни Арины Родіоновны, Пушкинъ (одинъ изъ первыхъ на Руси) занялся самъ собираніемъ народныхъ пѣсенъ.—Алексѣй Николаевичь Вульфъ и сестра его Евпраксія Николаевна говорили г. Семевскому <sup>2</sup>), что Пушкинъ мало сталкивался съ народомъ. Алексѣй Николаевичь опровергалъ довольно распространенное мнѣніе, будто Пушкинъ, живя въ деревнѣ, все ходилъ въ русскомъ платъѣ. "Всего только разъ, говорилъ онъ, во все пребываніе въ деревнѣ, и именно въ девятую пятницу послѣ Пасхи, Пушкинъ вышелъ на святогорскую ярмарку въ русской красной рубахѣ, подпоясанный ремнемъ, съ палкою и въ корневой шляпѣ, привезенной имъ еще изъ Одессы. Весь новоржевскій beau-monde, съѣзжавшійся на эту ярмарку (она бываетъ весной) закупать чай, сахаръ, вино, увидя

¹) "Спб. Вѣд." 1866 г. № 139. Ст. г. Семевскаго.

<sup>2)</sup> Тамъ-же.

Пушкина въ такомъ костюмъ, весьма былъ этимъ скандализованъ".— Слова Вульфа о русской одеждъ поэта можетъ быть и справедливы (хотя нельзя не замътить, что имъ противоръчить описаніе одежды Онъгина въ деревиъ:

Носиль опъ русскую рубашку, Платокъ шелковый кушакомъ, Армякъ татарскій на-распашку И шапку съ бёлымъ козырькомъ <sup>4</sup>).)

Но увърение, что Пушкинъ мало сталкивался съ народомъ, уже положительно невърно. Этому противоръчить составление имъ цълаго сборника народныхъ пъсенъ. П. В. Киръевскій въ предисловіи къ своему "Собранію народныхъ п'єсенъ" говоритъ: "А. С. Пушкинъ еще въ самомъ началъ моего предпріятія доставиль мнъ замьчательную тетраль пъсенъ, собранныхъ имъ въ Псковской губерніи". Къ сожальнію, мы не знаемъ-что именно получилъ Киръевскій отъ великаго поэта. Затьмъ намъ извъстно, что Пушкинъ собралъ пъсни о Стенькъ-Разинъ. Онъ читалъ ихъ въ Москвъ въ 1826 году у Веневитинова послъ своей трагедін, и увлекъ ими, какъ и "Борисомъ Годуновымъ", своихъ слушателей, по свидътельству Погодина 2). Напечатать пъсни поэту не было дозволено: гр. Бенкендорфъ нашелъ, что онъ "при всемъ своемъ поэтическомъ достоинствъ, по содержанію своему неприличны къ напечатанію, и сверхъ того церковь проклинаетъ Разина, равно какъ и Пугачева" 3). До послѣдняго времени пѣсни эти считались утраченными и начало-было устанавливаться мниніе, что они собственное произведеніе Пушкина; но появленіе ихъ въ печати 4) показало, что он'в народныя и не сочинены, а записаны поэтомъ. Въ собраніи сочиненій Пушкина есть и еще нъсколько записанныхъ имъ народныхъ произведеній.—Все это свидетельствуеть, что поэть близко подходиль къ народу, вращался въ его средъ. Такое заключение подтверждается и сохранившимися въ Исковской губерніи преданіями о немъ, о его сближеніи съ мужиками 5).—На-сколько Пушкинъ проникалъ въ сущность народной поэзін и понималь скрытую въ ней красоту, свид'єтельствуєть между прочимъ дивное по своей простотъ и художественности неоконченное создание его въ народномъ духѣ:

> Только что на проталинкахъ весеннихъ Показались ранніе цвёточки,

<sup>1)</sup> Соч. т. III, стр. 190. (Приложенія ко 2 гл.).

<sup>2)</sup> Соч. Пушк. т. II, стр. 413.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, и въ Рус. Стар. 1874 г., № 8.

<sup>4)</sup> См. соч. Нушк. т. V, стр. 512 и след.

<sup>5)</sup> Объ этомъ, напр., номнятъ въ Островѣ (по свидѣтельству тамошняго уроженца А. И. Коркунова) и друг..

Какъ изъ царства восковаго, Изъ душистой келейки медовой Вылетаетъ первая пчелка. Полетъла по раннимъ цвъточкамъ О красной весиъ развъдать: Скоро-ли будетъ гостья дорогая, Скоро-ль луга зазеленъютъ, Распустятся клейкіе листочки, Зацвътетъ черемуха душиста? 1)

Кромѣ народной поэзіи и сближенія съ простыми русскими людьми на Пушкина успокоительно и благотворно вліяла и простая русская природа. Такъ, однажды, подъ обаяніемъ ея впечатлѣній онъ обдумалъ, возвращаясь верхомъ изъ сосѣдней деревни, сцену свиданія Самозванца съ Мариной въ "Борисѣ Годуновѣ". Въ "Онѣгинѣ" онъ разсказываетъ, что иногда, "бродя надъ озеромъ", онъ пугалъ чтеніемъ "сладкозвучныхъ строфъ" своихъ стаи дикихъ утокъ.

Внечатлѣнія русской народной жизни, поэзіи и природы подѣйствовали въ концѣ концовъ такъ на русскую натуру Пушкина, что съ нея слетѣлъ вполнѣ байронизмъ, и личность поэта въ Михайловскомъ становится совершенно народною; поэтъ проникается даже народными началами до непосредственности простаго человѣка.

Скептицизмъ совершенно исчезъ изъ души Пушкина, и въ ней появились, или воскресли, народныя вѣрованія. Въ годовщину смерти Байрона поэтъ отправился въ Святогорскій монастырь и заказалъ тамъ обѣдню и панихиду по бояринѣ Георгіѣ. Г. Анненковъ напрасно видитъ въ этомъ шутку,—такая шутка была-бы слишкомъ груба и цинична, да и не остроумна. Теперь, впрочемъ, есть и положительныя свидѣтельства, что поэтъ поступилъ вполнѣ серьезно и сознательно. Въ письмѣ брату (отъ 17 апр. 1825 г.) онъ пишетъ:

"Я заказалъ объдню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти). Анна Николаевна также, и въ объихъ церквахъ Триг(орскаго) и Вор(онича) происходили молебствія—это немножко напоминаетъ la messe de Frédéric II pour le repos de l'âme de m-r de Voltaire. Вяземскому посылаю просвиру, вынутую отцомъ Шкодой за упокой поэта" 2).

Тонъ письма и участіе Анны Николаевны Вульфъ въ заказываніи об'єдни за Байрона исключаютъ всякія сомнѣнія въ серьезности поступка Пушкина.

Какъ жила въ ранней юности безсознательной народной жизнью его Татьяна, върившая  $_{\cdot}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) 1825 г. (Соч. т. II).

<sup>2)</sup> Pyc. Crap. 1879 r., oet., 316.

преданьямъ Простопародной старины, И снамъ, и карточнымъ гадайьямъ, И предсказаніямъ луны,

такъ увлекался этой жизнью, до полнаго сліянія съ нею, и самъ поэтъ, увлекался даже до вѣры въ народныя примѣты. Получивъ извѣстіе о происшествіи 14-го декабря 1825 года, онъ на слѣдующій день рано утромъ поѣхалъ-было въ Петербургъ; но, не доѣхавъ до первой станціи, вернулся назадъ, потому что при выѣздѣ изъ Михайловскаго встрѣтилъ священника, а потомъ, когда выбрался въ поле, заяцъ перебѣжалъ ему дорогу.—Для характеристики народности нравственной личности Пушкина въ это время интересно, между прочимъ, одно его письмо къ брату, писанное въ январѣ 1825 года:

"У меня произошла перемѣна въ министерствѣ (пишетъ поэтъ): Розу Григорьевну я принужденъ былъ выгнать за непристойное поведеніе и слова, которыхъ не долженъ я былъ вынести. А то бы она уморила няню, которая начала отъ пел худѣть. Я нарядилъ комитетъ, составленный изъ Василья, Архипа и старосты, — велѣлъ перемѣрить хлѣбъ, и открылъ нѣкоторыя злоупотребленія, т. е. нѣсколько утаенныхъ четвертей. Впрочемъ она мерзавка и воровка. Покамѣсть я принялъ бразды правленія" 1).

Кром'в выраженія любви къ нян'в, слова письма зам'вчательны еще по своему торжественному тону, такъ очевидно не подходящему къ нашей простой народной жизни; въ нихъ слышится добродушная иронія
Пушкина. Такимъ тономъ заговоритъ впосл'вдствіи "В'єлкинъ" въ своей
"Исторіи села Горохина"; въ приведенномъ письм'в, въ слог'в его, заключаются уже зародыши этого народнаго типа нашего поэта. — Все
русское, до мелочей, становится въ это время дорого и мило Пушкину;
такъ, напр., онъ пишетъ брату въ октябр'в 1824 года:

"Не забудь фонъ-Визина писать Фонвизинъ. Что онъ за нехристь? Онъ русскій, изъ перерусскихъ русскій"<sup>2</sup>).

Въ лирическихъ произведенияхъ этой эпохи тоже слышится, что душа поэта проникнута народными началами: въ нихъ замѣтно какое-то спокойное, добродушное и ясное настроеніе духа; таково, напр., стихотвореніе "Въ альбомъ Е. Н. Вульфъ" (1825 г.).

Если жизнь тебя обманеть, Не печалься, не сердись! Въ день уныпія смирись, День веселья, вёрь, настанеть.

<sup>1) &</sup>quot;Русск. Стар." 1879 г., октябрь, стр. 308 и Матер. г. Анненкова, 114—115.

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879, октябрь, 298.

Сердце въ будущемъ живетъ, Настоящее уныло; Все мгновенно, все пройдетъ, Что пройдеть—то будетъ мило.

Въ "Зимней дорогъ" поэтъ художественно рисуетъ русскую картину грустнаго зимняго пути, съ любовью узнаетъ "что-то родное"

Въ долгихъ ивсняхъ ямщика,

въ которыхъ слышится--

То разгулье удалое, То сердечная тоска,

и находить отраду въ тихихъ мечтахъ объ ожидающемъ его счастъв кроткой и спокойной привязанности.—Завыванія родной зимней вьюги, такъ чудно нарисованныя въ "Зимпемъ вечерв", твснве сближаютъ поэта съ подругой "бедной его юности", старушкою няней, дремлющей подле него

подъ жужжанье Своего веретена,

и глубокой любовью къ этой старушкѣ проникнуто все стихотвореніе; въ этой любви поэтъ находитъ успокоеніе отъ томящей его грусти.— Вообще съ этого времени получаетъ опредѣленность одна изъ отличительныхъ чертъ поэзіи Пушкина—невозможность для его музы остановиться на диссонансѣ, на отчаяньѣ, на безотрадномъ чувствѣ. Поэтъ умѣетъ выдти изъ щемящей душу тоски въ просвѣтленное сознаніе свѣтлыхъ и успокоительныхъ сторонъ жизни. Онъ находитъ отраду въсамомъ уныньи, въ горечи разлуки:

Цвёты послёдніе милёй Роскошныхъ первенцевъ полей. Они унылыя мечтанья Живе пробуждають въ насъ: Такъ иногда разлуки часъ Живе самаго свиданья 1).

Деревенская жизнь, какъ всегда, побуждала Пушкина къ серьезнымъ размышленіямъ, къ труду. Начатое на югѣ самообразованіе онъ продолжаль въ Михайловскомъ, еще съ большей усидчивостью и настоятельностью. Онъ хорошо понималъ недостатки своего лицейскаго воспитанія. Впослѣдствіи въ своихъ запискахъ онъ между прочимъ писаль объ Ал. Ник. Вульфѣ:

<sup>1) &</sup>quot;Последніе цвети" (Пр. Ал. Осиповой), 16 окт. 1825 г., Соч. т. И.

"Въ концъ 1826 года я часто видълся съ однимъ дерптскимъ студентомъ. Онъ много зналъ, чему научаются въ университетахъ, между тъмъ какъ мы съ вами выучились танцовать. Разговоръ его былъ простъ и важенъ. Его занимали такіе предметы, о которыхъ я и не помышлялъ" 1).

Умственныя занятія поэта въ деревнѣ были весьма разнообразны.—Онъ изучалъ итальянскій языкъ, результатомъ чего осталось нѣсколько переведенныхъ строфъ изъ XXIII пѣсни Аріостова "Orlando Furioso" Онъ читалъ Коранъ и переложилъ изъ него нѣсколько мыслей въ стихи ("Подражанія Корану"). Примѣчанія къ этимъ стихамъ показываютъ, какъ внимательно и серьезно читалъ Пушкинъ; такъ, по поводу клятвы Аллаха онъ говоритъ:

"Въ другихъ мѣстахъ Корана Алла клянется копытами кобылицъ, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродѣтелью и порокомъ, ангелами и человѣкомъ и проч. Странный сей реторическій оборотъ встрѣчается въ Коранѣ поминутно".

По поводу стиховъ, заключающихъ въ себѣ предостереженіе Аллаха гостямъ Магомета, чтобы они почтили

пиръ его смиреньемъ И цѣломудреннымъ склоненьемъ Его невольницъ молодыхъ.

Пушкинъ дълаетъ примъчаніе:

"Мой пророкъ, прибавляетъ Алла, вамъ этого не скажетъ, ибо онъ весьма учтивъ и скроменъ; по я не имъю нужды съ вами чиниться" и проч. Ревность Араба такъ и дышитъ въ сихъ заповъдяхъ".

При строфъ:

Земля недвижна; неба своды, Творецъ, поддержаны Тобой, Да не падутъ на сушь и воды И не подавятъ насъ собой!

поэть замъчаеть: "Плохая физика, но зато какая смълая поэзія!"

Интересно, что Магомета, какъ видимъ изъ тѣхъ-же примѣчаній, Пушкинъ считалъ замѣчательнымъ художникомъ.

Далье, поэтъ читаль записки Наполеона; очень остроумно характеризуеть онъ ихъ въ письмъ къ брату (въ исходъ февраля 1825 года):

"На своей скаль (прости Боже мое согрышеніе!) Наполеонь поглупыть: во-первыхы джеты какы ребенокы (т. е. замытно), 2, судиты о такомы-то не какы Наполеоны, а какы парижскій памфлетисты, какой-

<sup>1)</sup> Пушк. въ Алекс. эпоху, 283, выноска.

нибудь Прадть, или Гизо... Читаль ты записки Nap.? Если нѣть, такъ прочти. Это между прочимъ прекрасный романъ" 1).

Читалъ Пушкинъ и древнихъ авторовъ: Аврелія Виктора, римскаго писателя IV вѣка, и (главнымъ образомъ) Тацита. Одно замѣчаніе Аврелія Виктора о Клеопатрѣ навело его на мысль написать "Египетскій ночи".—Римскую исторію Тацита поэтъ читалъ съ перомъ въ рукахъ и дѣлалъ обширныя замѣтки на нее ²). Одно лице въ сочиненіи древняго историка особенно заинтересовало Пушкина, это—Тиберій:

"Чѣмъ болѣе читаю Тацита (записалъ поэтъ), тѣмъ болѣе мирюсь съ Тиберіемъ. Онъ былъ одинъ изъ величайшихъ умовъ древности".

Самого Тацита Пушкинъ ставилъ очень высоко; но пе преклонялся безусловно передъ его авторитетомъ.—Тацитъ есть великій писатель (сказалъ онъ въ своей "Запискѣ о народномъ воспитаніи") 3), впрочемъ исполненный "латинскихъ предразсудковъ".

Иногда поэтъ въ своихъ замъткахъ оспариваетъ мнѣнія римскаго историка или высказываетъ по-поводу ихъ свои сомнѣнія въ томъ или другомъ фактъ.

"Августъ вторично испрашиваетъ для Тиберія трибунство. Точно ли въ насмѣшку или для невыгоднаго сравненія съ самимъ собою хвалилъ онъ наружность своего пасынка и наслѣдника? (ставитъ вопросъ Пушкинъ). Въ своемъ завѣщаніи, изъ единой ли зависти совѣтовалъ не распространять предѣловъ имперіи?"

Приведемъ еще примъръ: "Не изъ зависти, какъ думаетъ Тацитъ, онъ (т. е. Тиберій) не увеличиваетъ, вопреки мнѣнію Сената, число преторовъ, установленное Августомъ".

Не только Тацита, но и другихъ писателей читалъ Пушкинъ дѣлая свои замѣчанія на ихъ мысли, или, какъ Онѣгинъ, на поляхъ самыхъ книгъ, или, если сочиненіе было важное, на особыхъ листахъ, причемъ иногда къ замѣткамъ присоединялись и выписки.

Занятіямъ Пушкина много помогала библіотека Тригорскаго, довольно порядочная, по свидѣтельству видѣвшаго ее г. Семевскаго <sup>4</sup>). Въ ней были старинныя изданія русскихъ авторовъ (Сумарокова, Лукина); "Ежемѣсячныя сочиненія", журналъ Миллера; "Россійскій Өеатръ", обширное собраніе театральныхъ піесъ прошлаго столѣтія; нѣсколько изданій Новиковскихъ; первое изданіе "Дѣяній Петра В." Голикова. "По послѣднему сочиненію (говоритъ г. Семевскій, быть можетъ слышавшій это отъ

¹) "Рус. Стар." 1879 г., окт., 310.

<sup>2)</sup> COT. T. V.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, стр. 53, примѣч.

<sup>4) &</sup>quot;Спб. Вѣд." 1866 г. № 139.

владѣльцевъ Тригорскаго) Пушкинъ впервые познакомился съ жизнью и дѣяніями монарха".

Въ письмахъ къ брату изъ Михайловскаго въ Петербургъ Пушкинъ постоянно проситъ о высылкъ ему книгъ; между прочими онъ называетъ слъдующія сочиненія ¹): "Les conversations de Byron"; Вальтеръ Скоттъ; "Жизнь Емельяна Пугачева"; "Путешествіе по Тавридъ, Муравьева"; "Осиvres de Lebrun, odes, élégies etc."; "Донъ-Жуанъ" съ 6-й пъсни; "Осиvres dram(atiques) de Schiller", записки Фуше (министра полиціи при Наполеонъ І, прославившагося сыщика и шпіона); "Русская Старина" (историческій сборникъ, изд. Корниловичемъ въ 1825 году); "Собраніе образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ, въ стихахъ и въ прозъ" (12 частей, вышли въ Сиб. въ 1822—1824 годахъ); "Сибирскій Въстникъ"; "Sismondi littérature"; "Schlegel, dramaturgie", и т. д. Этотъ списокъ свидътельствуетъ и о серьезности, и о чрезвычайномъ разнообразіи чтенія поэта.

Но съ особеннымъ вниманіемъ и любовью Пушкинъ изучалъ въ это время исторію Карамзина, Шекспира и наши лѣтописи.

Чтенія и размышленія поэта, конечно, должны были отразиться на развитіи широты и глубины его критических в воззрѣній. И дѣйствительно, мы видимъ, что онъ высказываетъ замѣчательно здравыя и остроумныя мнѣнія о прежнихъ и современныхъ писателяхъ, русскихъ и иностранныхъ. Мнѣнія эти разсѣяны въ его письмахъ, критическихъ статейкахъ, отрывочныхъ замѣткахъ.

Въ письмъ къ Дельвигу (отъ 8 іюня 1825 г.) онъ высказываетъ мѣткій и оригинальный взглядъ на Державина, взглядъ, установившійся въ настоящее время въ нашей критикъ. Пушкинъ пишетъ:

"Этотъ чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка (вотъ почему онъ ниже Ломоносова). Онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи, ни даже о правилахъ стихосложенія; вотъ почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только пе выдерживаеть оды, но не можетъ выдержать и строфы... Что же въ немъ? Мысли, картины и движенія истинно поэтическія. Читая его, кажется читаешь дурной вольный переводъ съ какого-то чудеснаго подлинника... У Державина должно сохранить будетъ одъ восемь, да нѣсколько отрывковъ, а остальное сжечь" <sup>2</sup>).

Мнѣніе поэта о Ломоносовъ тоже весьма замѣчательно:

"Соединяя необыкновенную силу воли (пишетъ Пушкинъ) <sup>3</sup>) съ необыкновенною силою понятія, Ломоносовъ обняль всё отрасли просвё-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1879 г. окт., стр. 299, 309, 311, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Матер. г. Анненкова, стр. 149.

<sup>3) &</sup>quot;Предисловіе Лемонте къ баснямъ Крылова". Соч. т. V, стр. 29.

щенія. Жажда науки была сильньйшею страстію сей души, исполненной страстей. Историкъ, риторъ, механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ и стихотворецъ, онъ все испыталъ и все проникъ... Науки точныя были всегда главнымъ и любимымъ его занятіемъ, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностнымъ упражненіемъ. Мы напрасно искали-бы въ первомъ нашемъ лирикъ пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія. Слогъ его, ровный, цвѣтущій и живописный, заемлетъ главное достоинство отъ глубокаго знанія книжнаго славянскаго языка и отъ счастливаго сліянія онаго съ языкомъ простонароднымъ. Вотъ почему преложенія псалмовъ и другія сильныя и близкія подражанія высокой поэзіи священныхъ книгъ суть его лучшія произведенія".

Пушкинъ задолго до Бълинскаго вполиъ усомнился въ правахъ на славу Хераскова, Кияжнина, Богдановича, Дмитріева <sup>1</sup>). (Интереспо, что къ Тредьяковскому онъ отнесся снисходительно, за его "взглядъ на словесность", по мибнію г. Анненкова). Наша литература XVIII и начала XIX стольтія находить въ Пушкинъ вообще строгаго сулью.

"Знаменитые писатели (говорить онъ про это время) не имѣють ни одного послѣдователя въ Россіи, по бездарные писаки, грибы, выросшіе у корней дубовь: Дорать, Флоріанъ, Мармонтель, Гимаръ, М-те Жанлись овладѣвають Русской словесностью" 2).

(Эта зам'єтка указываеть, между прочимь, на близкое знакомство Пушкина съ французской литературой).

Отношенія великаго поэта къ современнымъ ему писателямъ болѣе сочувственны. — Крылова онъ ставить очень высоко, выше Лафонтена. Передъ Жуковскимъ благоговѣетъ и какъ передъ поэтомъ, и какъ передъ человѣкомъ. Въ письмѣ къ брату (въ январѣ 1825 г.) онъ говоритъ:

"Письмо Ж. (Жуковскаго) наконецъ я разобралъ. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Онъ святой, хотя родился Романтикомъ, а не Грекомъ, и человѣкомъ, да какимъ еще!" 3).

Высоко ставя стихотворенія своего бывшаго наставника въ поэзіи, Пушкинъ однако судилъ безпристрастно, видёлъ и слабыя ихъ стороны. Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому онъ выражаетъ негодованіе, что поэтъ поручилъ выборъ стихотвореній своихъ для изданія гр. Блудову:

"Зачыть слушаешься ты маркиза Блудова? Пора бы тебы удостовыриться вы односторонности его вкуса. Къ тому-же не вижу вы немы и безкорыстной любви къ твоей славы. Выбрасывая, уничтожая самовластно, оны не исключилы изы собранія посланія кы нему, произведенія конечно слабаго... "Надпись кы Гёте", "Ахы, если-бы мой милый", "Генію"—

<sup>4)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 150-152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 308.

все это прелесть; а гдѣ они? Знаешь, что выйдеть? Послѣ твоей смерти все это напечатають съ ошибками и съ пріобщеніемъ стиховъ Кюхельбекера. Подумать страшно" 1).

Въ указаніи истинно поэтическихъ, но пропущенныхъ Блудовымъ произведеній Жуковскаго сказалось живое эстетическое чувство Пушкина. Оно-же подсказало ему мысль о художественной слабости "Думъ" К. Ө. Рылъева. Пушкинъ первоначально (какъ видимъ изъ письма къ брату въ исходъ февраля 1825 года) возлагалъ на Рылъева большія надежды:

"Если Палей пойдеть какъ начать (писаль онъ)  $^2$ )—Рылеевь будеть министромъ (т. е. на Парнасе)".

Разставаясь съ увзжавшимъ изъ Михайловскаго Пущинымъ, поэтъ наказывалъ благодарить Рылбева за патріотическія "Думы". Но черезъ 4 мбсяца, 25 мая 1825 года, онъ писалъ объ нихъ кн. П. А. Вяземскому иное:

"Думы — дрянь, и названіе сіе происходить отъ нѣмецкаго слова dumm (глуный), а не отъ польскаго, какъ казалось съ перваго взгляда..." 3).

Къ Дельвигу, Баратынскому и Языкову Пушкинъ относился иначе, ставя ихъ высоко и не допуская даже возможности осуждать ихъ поэзію. Но тутъ, кажется, къ оцънкъ критика примъшалось расположение друга.— Надо замѣтить еще, что въ сужденіяхъ Пушкина о современныхъ писателяхь большую роль играла и любовь его къ родной словесности; она была иногда причиной, почему онъ судилъ снисходительно, какъ дълаль это прежде Новиковъ, въ своемъ "Опытъ историческаго словаря о Россійскихъ писателяхъ". Пушкинъ, напр., сочувственно встрътилъ произведенія барона Розена за усилія этого писателя выучиться русскому языку; Пушкинъ призналъ даже присутствіе въ немъ драматическаго таланта въ большей степени, чёмъ у Кукольника и Хомякова. Всякая литературная попытка, въ которой сказывалась живая мысль или чувство, вызывала симнатію великаго поэта. Такъ, живымъ одобрѣніемъ встрѣтилъ онъ сказку Ершова "Конекъ-Горбунокъ"; съ сочувствіемъ отнесся къ поэтусамоучкъ Слъпушкину; онъ поручилъ. Дельвигу переслать послъднему эиземиляръ своихъ стихотвореній и "Руслана и Людинлу", "съ тъмъ (писалъ Пушкинъ), чтобъ онъ мир не подражалъ, а продолжалъ идти своей дорогой" 4). Когда Губеръ перевелъ "Фауста" Гёте, Пушкинъ посвятилъ нѣсколько дней проверке вместе съ молодымъ поэтомъ его пере-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Тамъ-же, стр. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 310.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, стр. 306.

<sup>4)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 155

вода.—Поэзія Козлова и судьба его возбуждали особенныя симпатіи Пушкина. Въ письмъ къ брату (въ январъ 1825 г.) онъ говоритъ:

"Подпись слѣпаго поэта тронула меня несказанно. Повѣсть его—прелесть; сердись онъ, не сердись—а хотѣлъ простить—простить не могъ достойно Байрона. Видѣніе, конецъ прекрасны. Посланіе, можеть быть, лучше поэмы—по крайней мѣрѣ ужаспое мѣсто, гдѣ поэтъ описываеть свое затмѣніе, останется вѣчнымъ образцомъ мучительной поэзін. (Дѣло идетъ о поэмѣ "Чернецъ" и о "Посланіи" Козлова къ Жуковскому). Хочется отвѣчать ему стихами; если успѣю, пошлю ихъ съ этимъ письмомъ" 1).

И Пушкинъ, дъйствительно, написалъ прекрасное стихотворение "Козлову (по получении отъ него "Чернеца")" (1825 г.):

Пѣвецъ! когда передъ тобой Во мглъ соврылся міръ земной, Мгновенно твой проснулся геній, На все минувшее воззрѣль, И въ хорѣ свѣтлыхъ привидѣній Онъ пѣсни дивныя запѣль.
О, милый братъ! какіе звуки! Въ слезахъ восторга внемлю имъ: Чудеснымъ пѣніемъ своимъ

Гоголь и Грибовдовъ нашли въ Пушкинъ глубокаго цънителя. Отзывъ о первомъ поэтъ сдълалъ позже; о Грибовдовъ-же онъ высказалъ свое мнъне въ Михайловскомъ. "Горе отъ ума" Пушкинъ считалъ превосходнымъ изображениемъ "характеровъ и ръзкою картиною нравовъ". Онъ разбираетъ безсмертную комедію въ письмъ къ одному изъ друзей своихъ.

Онъ усынилъ земныя муки.

"Фамусовъ и Скалозубъ (пишеть онъ) превосходны... Les propos du bal, силетни, разсказъ Репетилова о клубъ, Загоръцкій, всъми отъявленный и вездъ принятый—вотъ черты истинно комическаго генія".

Про стихи комедіи Пушкинъ выразился, что "половина (ихъ) должна войти въ пословицу".—Поэтъ тонко подмѣтилъ одну замѣчательную черту піесы:

"Недовърчивость Чацкаго въ любви Софьи къ Молчалину прелестна. II такъ натурально!—Вотъ на чемъ должна была вертъться вся комедія (прибавляетъ Пушкинъ); но Грибовдовъ не захотълъ: его воля!"

Послѣдній упрекъ Грибоѣдову, впрочемъ, нѣсколько страненъ: недовѣрчивость Чацкаго въ любви Софьи къ Молчалину авторъ "Горя отъ ума" и сдѣлалъ одною изъ главныхъ пружинъ своей комедіи. По

<sup>1)</sup> Рус. Стар. 1879 г. окт., 307.

той-же причинъ нъсколько странно и върное по существу своему замъчание: "Молчалинъ не довольно ръзко подлъ: не нужно-ли было сдълать изъ него и труса?" Трусомъ онъ и является у Грибовдова, когда въ 4 актъ прячется въ свою комнату, увидя Чацкаго и предугадывая появление фамусова.—Но мысль, что "Софья начертана неясно"—совершенно върная мысль.—Очень интересенъ взглядъ Пушкина на Чацкаго:

"А знаешь-ли, что такое Чацкій? Пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно съ Грибоѣдовымъ) и напитавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями. Все это говоритъ онъ очень умно, но кому говоритъ онъ все это? Фамусову? Скалозубу? На балѣ московскимъ бабушкамъ? Молчалину? Это непростительно. Первый признакъ умнаго человѣка—съ перваго раза знать съ кѣмъ имѣешь дѣло и не метать бисера передъ Репетиловыми и т. п." 1).

Что побудило Пушкина признать Чацкаго хотя и умнымъ, но некстати проповѣдующимъ истины человѣкомъ,—объяснить довольно трудно. Можетъ быть въ этомъ сказалось временное нравственное утомленіе поэта, его разочарованіе въ людяхъ, недовольство обществомъ, однимъ словомъ—то самое состояніе духа, которое выразилось въ стихотвореніи "19 октября 1825 г." болѣзненнымъ стремленіемъ уйти отъ людей въ тѣсный и замкнутый дружескій кружокъ.

Сильно занимали еще Пушкина въ Михайловскомъ мысли о русской критикъ. По его мнънію, критики тогда у насъ не было.

"Что-же ты называешь критикою? (пишеть Пушкинъ 12 марта 1825 года одному изъ своихъ друзей, возражая на его статью "Взглядъ на Русскую Словесность въ теченіи 1824 г. и въ началѣ 1825 г."). Въстникъ Европы и Благонамѣренный? Вибліографическія извѣстія Греча и Булгарина?.. Но признайся, что это все не можетъ установить какого-нибудь мнѣнія въ публикъ, не можетъ почесться уложеніемъ вкуса... Но гдѣ-же критика? Нѣтъ, фразу твою ("у насъ есть критика и нѣтъ литературы") можешь сказать наоборотъ: литература кой-какая есть, а критики нѣтъ" 2).

Поэтъ считалъ необходимымъ создать русскую критику, и потому его сильно занимала мысль объ основаніи хорошаго литературнаго журнала; онъ переписывался объ этомъ съ кн. Вяземскимъ. Но дёло устроилось только въ 1827 году основаніемъ "Московскаго Въстника", въ которомъ Пушкинъ сталъ принимать личное участіе. Впрочемъ, въ 1825

<sup>4)</sup> Матер. г. Анненкова, 122-123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 152—153.

году онъ былъ доволенъ "Московскимъ Телеграфомъ", журналомъ Полеваго; онъ писалъ брату 27 марта:

"Я Телеграфомъ очень доволенъ—и мышлю или мыслю поддержать его"  $^{1}$ ).

На-сколько Пушкина живо интересовала иностранная словесность и какія онъ имѣлъ свѣдѣнія въ ней, на это намекаетъ вышеупомянутое письмо его къ другу, написавшему "Взглядъ на Русскую Словесность". Поэтъ такъ возражаетъ на мысль, что "у Римлянъ вѣкъ посредственности предшествовалъ вѣку геніевъ":

"Грѣхъ отнять это титло у таковыхъ людей, каковы: Виргилій, Горацій, Тибуллъ, Овидій и Лукрецій, хотя они, кромѣ двухъ послѣднихъ, шли столбовой дорогой подражанія. (Виноватъ, Горацій не подражатель)... Въ Италіи Dante и Petrarca предшествовали Тассу и Аріосту; сіи предшествовали Alfieri и Foscolo. У Англичанъ Мильтонъ и Шекспиръ писали прежде Адиссона и Нопа, послѣ которыхъ лвились Southey, W. Scott, Моог и Вугоп. Изъ этого мудрено вывести какое-нибудь заключеніе или правило. Слова твои вполнѣ можно примѣнить къ одной французской литературѣ 2)".

Кромъ писемъ, критическихъ статей и замътокъ, литературные взгляды Пушкина выразились еще въ двухъ "Посланіяхъ цензору" (оба 1824 года).—Интересно, что Пушкинъ не возстаетъ здъсь въ принципъ противъ цензуры, по-крайней-мъръ у насъ на Руси. Въ первомъ посланіи онъ говоритъ:

Не бойся, не хочу, предыщенный мыслыю дожной, Цензуру поносить худой неосторожной— Что нужно Лондону, то рано для Москвы.

А во второмъ-совътуетъ цензору:

Будь строгь, по будь уменъ. Не просять отъ тебя, Чтобъ, всё законныя преграды истребя, Все мыслить, говорить, печатать безопасно Ты нашимъ господамъ позволилъ самовластно.

Можетъ быть признаніе цензуры объясняется нравственнымъ утомленіемъ поэта, какъ и отзывъ его о Чацкомъ; но върнъе, что онъ считалъ цензуру не-безполезной совствив въ особомъ смыслъ, примънительномъ къ тогдашнему состоянію нашей журналистики, или къ его взгляду на это состояніе. Въ первомъ посланіи Пушкинъ говоритъ, что участь цензора—тяжелая: онъ хотълъ бы иной разъ почитать хорошаго автора, но долженъ вмъсто этого просматривать всякій вздоръ, да вымарывать

<sup>4) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Матер. г. Анненк., стр. 152.

изь тощаго журнала Насмѣшки грубыя и илощадную брань: Учтивыхъ остряковъ затѣйливую дань.

Кажется, Пушкинъ понималь назначение и пользу цензуры именно въ этомъ смыслъ: не пропускать въ печать грубыя личныя выходки, насившки и брань. Это подтверждается и тъмъ, что онъ не признаетъ цензуру въ-силахъ скрыть отъ общества сочинения дъйствительно противныя гражданскому закону или нравственности; онъ говоритъ:

Повърь мив, чън забавы— Осмънвать законъ, правительство и правы, Тотъ не подвергнется взысканью твоему, Тотъ не знавалъ тебя—мы знаемъ почему, И рукопись его, не погибая въ Летъ, Безъ подписи твоей разгуливаетъ въ свътъ.

Въ обоихъ посланіяхъ поэтъ выражаетъ глубокое уваженіе свое къ просв'єщенію, къ мысли и слову. Опъ говоритъ, что цензоръ, почитая сердцемъ "алтарь и тронъ", не долженъ "тёснить мнёнья" и разума, не долженъ считать

Сатиру—насквилемъ, поэзію—развратомъ, Гласъ правды—мятежомъ....

Онъ напоминаетъ, что во времена Екатерины, въ первые годы царствованія Александра слово было свободнѣе, чѣмъ теперь, и при этомъ съ одушевленіемъ и энергіей высказываетъ замѣчательную мысль:

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать..... Старинпой глупости мы праведно стыдимся; Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся, Когда никто не смѣлъ отечества назвать, И въ рабствѣ ползали и люди и печать! Нѣтъ, иѣтъ, опо прошло губительное время, Когда невѣжества несла Россія бремя.

Во второмъ посланіи, говоря о неожиданномъ смягченіи цензуры, Пушкинъ прославдяетъ Шишкова, предполагая, что это — его дѣло, и съ негодующей ироніей отзывается о Магницкомъ

(Магинцкій благородный, Мужъ твердый въ правилахъ, съ душою превосходной)

и о томъ "святомъ отцъ", который

Омара да Гали пріявъ за образецъ, Въ угодность Господу, себѣ во утѣшенье, Усердно заглушить старался просвѣщенье.

Углубленіе въ серьезное чтеніе, серьезныя размышленія о литератур' пробудили въ Пушкин желаніе написать и самому вполн' серьезное произведеніе, широкое по замыслу, важное по значенію. — Сближеніе съ народной русской жизнью, чтеніе лѣтописей направили его мысль на родную старину. Изъ приведенныхъ выше стиховъ Языкова мы знаемъ, что друзья Михайловскаго толковали съ жаромъ и увлеченіемъ о "славѣ прадъдовъ", о въчъ. Въ посланіи къ П. А. Осиповой Пушкинъ говорить, что онь "вздыхаль" въ деревнѣ "о мирной старинѣ". И воть онъ рѣшается взять содержаніе своего будущаго созданія изъ русской исторіи. Этому выбору способствовало, конечно, и увлеченіе его чтеніемъ выходившей тогда въ св'ять "Исторіи Государства Россійскаго". Поэтъ останавливается на эпохѣ Годунова и задумываетъ изобразить ее въ драматической формъ. Въ 1825 году онъ принимается за дъло, посвящая ему много времени и много труда: онъ изучаетъ избранную имъ эпоху русской жизни, изучаетъ законы драматической поэзіи, желая создать произведение, достойное сознаваемыхъ имъ въ себъ силъ. И онъ достигаетъ цъли—изъ-подъ пера его выходитъ "Борисъ Годуновъ", несомненно капитальный трудъ, первое вполне художественное и внолнъ самобитное его созданіе. Поэтъ глубоко любилъ свою драму и совершенно сознавалъ и ея общее значение, и ея значение такъ-сказать субъективное, по отношению къ его собственной личности, и потому онъ долго не ръшался выпустить ее въ свътъ; она появилась въ печати, какъ извъстно, лишь черезъ пять лътъ послъ написанія. Взволнованный ожиданіями и сомнініями — какъ ее встрітить читающее общество. Пушкинъ писалъ тогда одному изъ своихъ знакомыхъ:

"Хоть я вообще довольно равнодушень къ усиъху или неудачъ своихъ сочиненій, но признаюсь: неудача Бориса Годунова будеть мнъ чувствительна, а я въ ней почти увъренъ. Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочиненіи: "c'est une oeuvre'de bonne foi". Писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свъта, плодъ добросовъстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнъ все, чъмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убъжденіе, что мною употреблены были всъ усилія, наконець одобреніе малаго числа избранныхъ…" 1).

Поэтъ предполагалъ первоначально выпустить "Бориса Годунова" въ свътъ съ пояснительнымъ предисловіемъ; для этого онъ составилъ около 1830 года замътки о своемъ произведеніи, очень драгоцѣнныя для насъ

<sup>1)</sup> Матер. г. Анненк., стр. 125—126.—См. также Соч. т. V, стр. 85--86.

теперь, потому что они раскрывають намъ процессъ созданія великой драмы. Она слагалась въ душѣ Пушкина, по его собственному свидѣтельству, подъ впечатлѣніями изученія—Шекспира, Карамзина и лѣтописей.

"Комедія о царѣ Борисѣ и Гр. Отрепьевѣ писана въ 1825 году и долго не могъ я рѣшиться выдать ее въ свѣтъ (говоритъ Пушкинъ). Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лѣтописей дало мнѣ мысль оживить въ драматическихъ формахъ одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новѣйшей исторіи. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ; Карамзину слѣдовалъ я въ свѣтломъ развитіи происшествій; въ лѣтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени. Источники богатые! Успѣлъ-ли ими воспользоваться—не знаю. По крайней мѣрѣ труды мои были ревностны и добросовѣстны" 1).

Остановимся на отношеніяхъ Пушкина къ Карамзину. Мы видѣли, что въ самомъ началѣ своей дѣятельности Пушкинъ признавалъ благотворнымъ для себя вліяніе "Исторіи Государства Россійскаго"; и впослѣдствіи онъ всегда благоговѣлъ передъ этимъ великимъ трудомъ и передъ его авторомъ. Въ своей автобіографіи, въ сохранившихся отрывкахъ ея, относящихся къ 1825—1826 годамъ, Пушкинъ называетъ исторію Карамзина "не только созданіемъ великаго писателя, но подвигомъ честнаго человѣка"; онъ остроумно выражается здѣсь сравненіемъ, что для русскаго общества "древняя Россія найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ". <sup>2</sup>).

Пушкинъ глубоко сожалѣлъ, что Карамзинъ не слышалъ его трагедіи, не могъ высказать своего миѣнія о ней.

"Одного недоставало въ числѣ моихъ слушателей (читаемъ мы въ одномъ письмѣ поэта): того, кому я обязанъ мыслію моей трагедіи, чей геній одушевилъ и поддержалъ меня, чье одобреніе представлялось воображенію моему сладкою наградою и единственно развлекало посреди уединеннаго труда" 3).

Карамзину и посвятилъ Пушкинъ свою драму, въ выраженіяхъ, свидѣтельствующихъ о благоговѣйномъ его взглядѣ на сочиненіе знаменитаго историка: "драгоцѣнной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, геніемъ его вдохновенный, съ благоговѣніемъ и благодарностью посвящаетъ Александръ Пушкинъ".

Другимъ вдохновителемъ поэта былъ Шекспиръ. Пушкинъ принялся за изучение великаго англійскаго драматурга послѣ того, какъ стало ослабѣвать вліяніе на него Байрона. Это изучение играло великую роль

<sup>1)</sup> Соч. т. V стр. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 45 и 44.

<sup>3)</sup> Матер. г. Анненк., стр. 126. Также Соч. т. V, стр. 86.

въ его развитіи. Но справедливому замѣчанію одного современнаго поэта, Пушкинъ научился у Шекспира творчеству, искусству; дѣйствительно, только послѣ близкаго знакомства съ Шекспиромъ у нашего поэта стали являться вполнѣ-художественно созданные характеры: до того времени у него были лишь намеки на характеры и типы. — Какъ серьезпо Пушкинъ изучалъ Шекспира и какъ глубоко понималъ, объ этомъ свидѣтельствуютъ дошедшія до насъ замѣтки его о великомъ писателѣ, о его творчествѣ, о лицахъ его трагедій и ихъ характерахъ. — Пушкинъ сравнивалъ Шекспира съ Байрономъ и Мольеромъ, и это сравненіе привело его къ заключеніямъ, очень важнымъ, и для него лично, и впослѣдствіи для русской литературы вообще.

"Что за человѣкъ Шекспиръ! (писалъ поэтъ изъ Михайловскаго въ 1825 г.). Я не могу придти въ себя отъ изумленія. Какъ ничтожень передъ нимъ Байронъ-трагикъ, Байронъ, во всю свою жизнь понявшій только одинъ характеръ-именно свой собственный..... И вотъ Байронъ одному лицу далъ свою гордость, другому ненависть, третьему меланхолическую настроенность; такимъ образомъ изъ одного полнаго, мрачнаго и энергическаго характера вышло у него множество незначительныхъ характеровъ. Развѣ это трагедія? Существуетъ и еще заблужденіе. Придумавъ разъ какой-нибудь характеръ, писатель старается высказать его и въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ наподобіе моряковъ и педантовъ въ старыхъ романахъ Фильдинга. Злодей говоритъ: дайте мив нить, какъ злодей,—а это смёшно. Вспомните Байронова Озлобленнаго: Ha pagato! (онъ заплатиль!) Это однообразіе, этоть придуманный лаконизмъ и безпрерывная ярость — все это далеко отъ природы. Отсюда пеловкость разговора и бъдность его. Но разверните Шекспира. Никогда не выдастъ онъ своего дъйствующаго лица преждевременно. Оно говорить у него со всею беззаботностію жизни, потому что въ данную минуту, въ настоящее время поэтъ уже знаеть, какъ заставить его говорить, сообразно характеру, имъ выражаемому" 1).

Нельзя не признать этой параллели между двумя великими поэтами геніально-остроумной и удивительно вѣрной. Такова-же и параллель между Шекспиромъ и Мольеромъ.

"Лица, созданныя Шекспиромъ (пишетъ Пушкинъ), не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, по существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой—скупъ—и только; у Шекспира Шайлокъ скупъ, смътливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ. У Мольера лицемъръ волочится за женою своего благодътеля лицемъра; принимаетъ имъніе подъ

<sup>1)</sup> Соч. т. V, стр. 80 (на фр. яз.). Переводъ въ Матер. г. Анненк., стр. 128—129.

храненіе лицем ря; спрашиваеть стакань воды лицем ря. У Шекспира лицемфръ произноситъ судебный приговоръ съ тщеславною строгостію. но справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость глубокомысленнымъ сужденіемъ государственнаго человъка; онъ обольщаетъ невинпость сильными, увлекательными софизмами, не смёшною смёсью набожности и волокитства. Анджело лицемъръ, потому что его гласныя дъйствія противорфчатъ тайнымъ страстямъ. А какая глубина въ этомъ характерф! <sup>1</sup>).

Оценивая отдельные драмы и типы великаго англійскаго поэта. Пушкинъ находилъ, что

"нигдь, можеть быть, многосторонній геній Шекспира не отразился съ такимъ многообразіемъ, какъ въ Фальстафъ, коего пороки, одинъ съ другимъ связанные, составляютъ забавную, уродливую цёнь, подобную древней вакханаліи. Разбирая характеръ Фальстафа, мы видимъ (писалъ Пушкинъ), что главная черта его есть сластолюбіе; смолоду, въронтно, грубое, дешевое волокитство было первою для него заботою; но ему уже за пятьдесять. Онь растолстель, одряхь; обжорство и вино взяли верхъ надъ Венерою. Во-вторыхъ, онъ трусъ; но проведя жизнь съ молодыми повъсами, номинутно подверженный ихъ насмъшкамъ и проказамъ, онъ прикрываетъ свою трусость дерзостью уклончивой и насмъшливой; онъ хвастливъ по привычкъ и по разсчету. Фальстафъ совсёмъ не глупъ, напротивъ; онъ имфетъ и нфкоторыя привычки человъка, неръдко видавшаго хорошее общество. Правилъ нътъ у него никакихъ. Онъ слабъ какъ баба. Ему нужно крѣнкое испанское вино (the sack), жирный обёдъ и деньги для своихъ любовницъ; чтобы достать ихъ, онъ готовъ на все, только-бы не на явную опасность" 2).

Была у Пушкина еще критическая статья о драмъ "Ромео и Джульета"; къ сожалънію, отъ нея сохранился только отрывокъ, который быль напечатань въ "Съверныхъ цвътахъ" на 1830 г., виъстъ съ переводомъ неизвъстнаго автора части Шекспировой драмы. Пушкинъ высказываеть здёсь убёжденіе, что трагедія эта не принисана Шекспиру, а есть его сочинение, потому что она "явно входить въ его драматическую систему" и носить на себѣ много "слѣдовъ вольной и широкой его кисти". Поэтъ прекрасно и остроумно нодивтилъ, что въ драмв отразилась современная Шекспиру Италія, "съ ея климатомъ, страстями, праздниками, нъгой, сонетами, съ ея роскошнымъ языкомъ, исполненнымъ блеска и concetti". Замъчательнъйшимъ лицемъ въ трагедіи, послъ Ромео и Джульеты, Пушкинъ считалъ Меркутіо, "молодаго кавалера того времени, изысканнаго, привязчиваго, благороднаго", избраннаго Шекспиромъ въ

<sup>1)</sup> Соч. пзд. 1869 г. т. IV, стр. 399—400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 400. пушкинъ въ его поэзии.

представители итальянцевъ, "бывшихъ моднымъ народомъ Европы, французами XVI вѣка" 1).

Иногда Пушкинъ, какъ извъстно, мимоходомъ, въ двухъ словахъ высказывалъ, какъ-бы бросалъ, мисль, оказывавшуюся потомъ очень глубокой. Къ числу такихъ мыслей относится его замъчание объ одномъ изъ главнъйшихъ типовъ Шекспира—Отелло:

"Отелло отъ природы не ревнивъ; напротивъ, онъ довърчивъ" 2).

Всю важность и все глубокомысліе этого мивнія, могущаго показаться сразу парадоксальнымъ, прекрасно разъяснилъ Достоевскій въ своихъ "Братьяхъ Карамазовихъ". Разъясненіе это состоитъ въ развитіи мысли Пушкина и подтвержденіи ея разными соображеніями. "У Отелло (говорить знаменитый романтисть) 3) просто разможжена душа и помутилось все міровоззрѣніе его, потому что погибъ его идеалъ. Но Отелло не станетъ прятаться, шпіонить, подглядывать: онъ дов'єрчивъ. Напротивъ, его надо было наводить, наталкивать, разжигать съ чрезвычайными усиліями, чтобъ онъ только догадался объ измёнё. Не таковъ истый ревнивецъ. Иневозможно даже представить себъ всего позора и нравственнаго паденія, съ которыми способень ужиться ревнивець безо всякихъ угрызеній совъсти. И въдь не то, чтобъ это были все пошлыя и грязныя души. Напротивъ, съ сердцемъ высокимъ, съ любовью чистою, полною самопожертвованія, можно въ то-же время прятаться подъ столы, подкупать подлейшихъ людей и уживаться съ самою скверною грязью шиюнства и подслушиванія. Отелло не могъ-бы ни за что примириться съ измѣной,-не простить не могъ-бы, а примириться,-хотя душа его незлоблива и невинна, какъ душа младенца. Не то съ настоящимъ ревнивцемъ: трудно представить себъ, съ чъмъ можетъ ужиться и примириться и что можеть простить иной ревнивець! Ревнивцы-то скорфе всёхъ и прощаютъ".

Изученіе Шекспира такъ сильно, такъ жизненно повліяло на душу Пушкина, что поэть нашъ сталъ даже вносить его міросозерцаніе въ свою жизнь, обсуждать явленія д'виствительности съ точки зрънія его поэзіи. Напримъръ, по поводу событія 14-го декабря 1825 года онъ писалъ Дельвигу:

"Не будемъ ни суевърны, ни односторонни, какъ французскіе трагики; но взглянемъ на трагедію взглядомъ Шекспира" <sup>4</sup>).

Нъсколько ранъе, въ исходъ ноября 1825 года, когда умеръ императоръ Александръ, и Пушкинъ, думая, что на престолъ взойдетъ Кон-

<sup>1)</sup> Соч. изд. 1881 г. т. V, стр. 73.

<sup>2)</sup> Соч. т. V, стр. 57.

<sup>3) &</sup>quot;Руссв. Въсти." 1879 г., октябрь, стр. 694—695. Отд. изд. "Братьевъ Карамазовыхъ", 1881 г., т. II, ч. 3, стр. 88—89.

<sup>4)</sup> Пушкинъ въ Алекс. эпоху, г. Анненкова, стр. 314.

стантинъ Павловичь, сочувственно привътствоваль это предполагаемое событіе въ письмъ къ П. А. Катенину, онъ выразился про великаго князя: "Бурная его молодость напоминаетъ Генриха V". (Едва-ли можно сомнъваться, что Пушкинъ разумълъ здъсь именно Шекспировскаго Генриха V, который является въхроникахъ великаго англійскаго поэта такой симпатичной личностью).

Г. Анненковъ предполагаетъ, что близкое знакомство съ Шекспиромъ было благотворно для Пушкина еще въ одномъ отношении: оно "укоротило дорогу поэту для сближения съ русскимъ народнымъ духомъ, съ пріемами народнаго творчества и мышленія", потому что "національные элементы" играли большую роль въ воспитаніи фантазіи и мысли Шекспира, и трудно, изучая его, не замѣтить этого. Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ г. Анненкова, но только не должно забывать, что съ "національными элементами" Пушкинъ знакомился прежде всего непосредственно, въ реальной дѣйствительности, главнымъ образомъ при помощи няни Арины Родіоновны, и умалять значеніе этой няни въ развитіи его характера и творчества отнюдь нельзя и не должно (какъ это хотѣлъ сдѣлать біографъ великаго поэта, забывая, что непосредственныя впечатлѣнія жизни сильнѣе какихъ-бы то ни было книжныхъ).

Кромѣ историческихъ воззрѣній Карамзина и поэтическихъ пріемовъ Шекспира въ изображеніи характеровъ, еще одинъ элементъ долженъ былъ, по мысли Пушкина, лечь въ основу его драмы,—это наши лѣтописи. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, какія именно лѣтописи были въ рукахъ поэта. Но на-сколько онъ проникъ въ духъ ихъ, это можно видѣть, напримѣръ, изъ его объясненія характера Пимена:

"Характеръ Пимена не есть мое изобрѣтеніе (говорить поэтъ въ одномъ письмѣ). Въ немъ собралъ я черты, илѣнившія меня въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ; умилительная кротость, младенческое и вмѣстѣ мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности дышатъ въ сихъ драгоцѣнныхъ памятникахъ временъ давно минувшихъ, между коими озлобленная лѣтопись князя Курбскаго отличается отъ прочихъ лѣтописей, какъ бурная жизнь Іоаннова изгнанника отличалась отъ смиренной жизни безмятежныхъ иноковъ" 1).

"Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ", очень близко передающая разсказъ "Повѣсти временныхъ лѣтъ", показываетъ, что Пушкинъ былъ близко знакомъ съ первоначальною лѣтописью.

На этихъ основахъ, на изученіи творчества Шекспира, историческихъ воззрѣній Карамзина и міросозерцанія нашихъ лѣтописцевъ, создалъ

¹) Матер. г. Анненк., стр. 138.—Соч. т. V, стр. 82.

Пушкинъ своего "Бориса Годунова". Но глубоко ошибется тотъ, кто подумаеть, что трагедія эта —произведеніе подражательное: въ ней мы видимъ вполнъ-художественно очерченные характеры, отъ нея въетъ духомъ времени, духомъ древней Руси. Карамзину Пушкинъ следовалътолько въ фактической сторонъ своей пьесы, да (по его прекрасному выраженію) въ "свътломъ развитіи происшествій"; а характеръ героя драмы, Бориса, онъ нарисовалъ совершенио самобытно. Если Бълинскій назвалъ Пушкинскаго Бориса "мелодраматическимъ злодвемъ", сочиненнымъ по Карамзину, то это доказываетъ только, что великій критикъ нашъ не ясно понималъ народныя начала; онъ произнесъ подобный приговоръ по той-же причинъ, по которой не цънилъ никогда сказокъ Пушкина и прозаическихъ его повъстей. Можетъ быть, Пушкинскій Борисъ не совсёмъ веренъ исторіи фактической (и въ этомъ виновать не поэтъ, а Карамзинъ, если здъсь есть вина); но что Борисъ — лице совершенно живое въ художественномъ смыслѣ, что трагедія вѣрна духу древней русской жизни, --это не подлежить и не должно подлежать никакому сомнѣнію. Самъ Пушкинъ чувствоваль это и сознаваль; въ одномъ французскомъ письмѣ 1825 года онъ говоритъ про свое произведеніе:

"Вы спросите... трагедія-ли это только съ характерами, или трагедія съ исторической върностію (de costume). Я избраль легчайшій путь, но старался соединить оба эти рода. Я пишу и вмѣстѣ думаю. Большая часть сценъ требовала только обсужденія. Когда приходиль я къ сценъ, требовавшей уже вдохновенія, я или пережидаль, или просто перескакиваль черезь нее. Этотъ способъ работать для меня совершенно новъ. Я знаю, что силы мои развились совершенно и чувствую, что могу творить" 1).

И поэтъ правъ, —въ драмѣ его мы видимъ настоящее творчество. Характеръ Бориса задуманъ глубоко. Это — человѣкъ простой и добрый по основамъ души своей, человѣкъ съ кроткимъ сердцемъ и здравымъ смысломъ; но въ добрую и спокойную душу его забралась тревожная страсть, властолюбіе; эта страсть потрясла душу, взволновала ее до сокровенной глубины и внесла въ нее адскую муку. Драматизмъ личности Бориса состоитъ въ противорѣчіи этой страсти съ общимъ мирнымъ строемъ духа. —Борисъ — семьянинъ и нѣжный, любящій отецъ; теплотою русскаго семейнаго чувства вѣетъ отъ сцены бесѣды его съ дѣтьми: онъ сострадаетъ горю своей дочери, оплакивающей жениха:

Что, Ксенія? что, милая моя? Въ невъстахъ ужь печальная вдовица! Все плачень ты о мертвомъ женихъ. Дитя мое, судьба миъ не судила Виновипкомъ быть вашего блаженства.

і) Матер. г. Анненкова, стр. 129.

Онъ ласково толкуеть съ сыномъ объ его учебныхъ занятіяхъ, разспрашиваеть его, даеть ему совѣты здраваго смысла:

> Учись, мой сынк: и легче и ясибе Державный трудь ты будешь постигать.

Съ особенною силой выражается любовь его къ Феодору передъ смертью:

Чувствую, мой сынъ, ты миѣ дороже Душевнаго спасенья!

товорить онь и, рискуя упустить время для принесенія покаянія и принятія схимы, даеть наставленія неопытному юношь, который должень сейчась наслідовать оть него власть.—Ворись хочеть быть отцомь своего народа. Онь не лгаль, когда, вступая на престоль, говориль боярамь, что пріемлеть великую власть "со страхомь и смиреньемь"; онь не лицеміриль, обращаясь съ молитвою къ "ангелу-царю", прося его благословенія и обіщая быть "благимь и праведнымь": онь дійствительно хотівль

свой народъ Въ довольстви, во славъ успокопть, Щедротами любовь его снискать.

Умный человѣкъ, самъ недостаточно образованный <sup>1</sup>), но здраво нонимающій пользу образованія, онъ учить серьезно наслѣдника престола. Онъ хочеть уничтожить "гибельный обычай" мѣстничества, презрѣвши ропоть бояръ, ропотъ "знатной черни"; онъ говорить Басманову, посылая его начальствовать надъ войскомъ:

Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы.

Простою душой своей онъ понимаетъ всю суету земнаго величія, блеска и власти; онъ ясно сознаетъ, что

ничто не можетъ насъ Среди мірскихъ печалей успоконть,

кромъ совъсти-

здравая, она восторжествуетъ Надъ злобою, надъ темной клеветою...

Но вотъ именно этого-то спокойствія сов'єсти, которое одно, по его задушевн'єйшему уб'єжденію, даетъ челов'єку истинное счастье, у него и н'єтъ. Чуждая его природ'є, тревожная страсть, ворвавшанся въ душу и овлад'євшая ею, довела его до преступленія и на-в'єки отравила его жизнь.—Челов'єкъ прямой, Борисъ начинаетъ хитрить, притворяется жаждущимъ покоя кельи и далекимъ отъ мысли о власти, ради которой

<sup>4)</sup> Онь, напр., незнакомъ съ географической картой и спрашиваеть сына про Волгу: "А это что узоромъ здёсь віется?"

пролита имъ "кровь царевича-младенца".—Простой и спокойный, онъ теряется, дёлается мнительнымъ, начинаетъ всюду подозрѣвать измѣну, разсылаетъ шпіоновъ, подкупаетъ боярскихъ слугъ и, роняя достоинство своей власти,

досужею порою Доносчиковъ допрашиваеть самъ.

Умный, онъ становится суевърнымъ и вопреки трезвому взгляду своему на жизнь довъряется колдунамъ и ворожеямъ; бесъда съ ними дълается его "любимой бесъдой", онъ гадаетъ, какъ "красная невъста", желая узнать—долго-ли и безмятежно-ли предстоитъ ему царствовать.—Расположенный сердцемъ къ народу, онъ перестаетъ върить ему, и съ злобой и сомнънемъ говоритъ про народъ:

Твори добро—не скажеть онъ спасибо, Грабь и казни—тебъ не будеть хуже.

Добрый, онъ рѣшается на казни, и чѣмъ дадѣе, тѣмъ суровѣе и суровѣе расправляется съ боярами; рѣжутся языки и головы, людей тихо и тайно давятъ въ тюрьмахъ; и тотъ, кто хотѣлъ быть благимъ, и справедливымъ, воскрешаетъ времена Грознаго и самъ, наконецъ, доходитъ до сознанія сходства своего съ умершимъ царемъ-кровонійцею, съ тою лишь невыгодной для него разницей, что тотъ казнилъ явно и открыто, на илощади, а не тайно.—Цѣлый рядъ страшныхъ противорѣчій!—Разъ стунивъ на дорогу преступленій, Борисъ какъ по наклонной плоскости все быстрѣе и быстрѣе опускается, вопреки своей волѣ, въ пучину зла.—

Энергія не свойственна его характеру; но душа его была сильна когдато своей цёльностью; страсть внесла въ нее раздвоеніе, и Борисъ не въсилахъ сладить ни съ этой страстью, ни съ муками совъсти, и изнемогаетъ подъ ихъ гнетомъ. Тринадцать лътъ сряду, съ самой минуты преступленія снится ему "убитое дитя". Сначала онъ таилъ въ себъ свои мученія; но когда начались грозныя для него событія, онъ теряется. Онъ выдаетъ себя Шуйскому, когда тотъ сообщилъ ему о появленіи самозванца, принявшаго имя Дмитрія: онъ то спрашиваетъ боярина, зачёмъ тотъ не смъется "затъйливой" въсти, то грозитъ страшной казнію за обманъ и умоляетъ открыть истину—дъйствительно-ли умеръ царевичъ,—къ прежнимъ мукамъ присоединяются муки сомнънія; царю становится не подъ-силу тяжкой цёною купленная власть:

Охъ, тяжела ты, шанка Мономаха!

Вскоръ невольно раскрываетъ онъ душу и передъ всѣми боярами: при разсказѣ патріарха о чудѣ на могилѣ царевича онъ то блѣднѣеть, то краснѣетъ, и обливается холоднымъ потомъ. Не владѣя собою, онъ

вдругъ, неожиданно останавливаетъ совъщанія Думы, и уходитъ въ свои покои, прося патріарха придти къ нему:

Внутреннія муки раздвоенія и упрековъ совъсти и доводять наконець царя до смерти: тъло не выдерживаеть душевныхъ страданій.—Но онъ много вынесъ за свое преступленіе,—и есть что-то примирительное и умиленное въ предсмертной сценъ, когда, готовый черезъ нъсколько мгновеній предстать на судъ Божій, въ послъдній разъ бесъдуеть онъ съ сыномъ и даеть ему послъднія наставленія. Теплой любовью къ Феодору и твердою искренней върой дышать слова:

Богъ великъ! Онъ умудряетъ юность, Онъ слабости даруетъ силу....

Разумны его наставленія сыну—какъ править царствомъ; чѣмъ-то добрымъ отзывается его совѣтъ будущему царю—отмѣнить опалы и казни, и прекрасны возвышенно-правственныя слова:

Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами въ порочныхъ наслажденьяхъ
Въ младые дни привыкнулъ утопать,
Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожаденъ
И умъ его безвременно темиветъ.

Грѣшная и измученная душа Бориса свершила свое земное поприще, идеть на Божій судь, и поэть кончаеть жизнь героя своей трагедіи сценой, которан не оставляеть въ душѣ нашей ничего томящаго и злобнаго; поэть не взяль на себя произнесеніе приговора надъ Борисомъ: объективный художникъ и теплый сердцемъ человѣкъ, онъ безпристрастно и гуманно отнесся къ своему герою.

Посмотримъ—таковъ ли Борисъ у Карамзина, какъ у Пушкина.—
"Исторія Государства Россійскаго" несомнѣнно отличается художественностью, и нѣкоторыя личности обрисованы въ ней такъ, что ихъ можно назвать живыми; но къ числу таковыхъ Годуновъ не принадлежитъ. Въ его образѣ у Карамзина есть внутреннія, духовныя противорѣчія, есть даже мелодраматизмъ.—Историкъ не разъясняетъ — насколько Годуновъ былъ искрененъ, насколько лицемѣрилъ. Повѣствуя о томъ, какъ онъ чрезъ своихъ клевретовъ склонялъ народъ къ избранію, историкъ говоритъ: "обѣщали и грозили, шенотомъ и громогласно доказывали, что спасеніе Россіи нераздѣльно съ властію правителя...

Борису видъ единогласнаго свободнаго избранія казался нужнымъ" 1); но, "неутомимый въ лицемърін", онъ однако "увърялъ, что не желаетъ быть царемъ" 2). Карамзинъ называетъ избраніе Годунова "великимъ ееатральнымъ дъйствіемъ" 3). И въ то-же время мы встръчаемъ въ его исторіи такого рода разсказъ: когда патріархъ пришелъ къ бывшему правителю съ крестнымъ ходомъ, съ иконою Владимірской Божіей Матери, Годуновъ "обливался слезами и воскликнулъ: о, Мать Божія! что виною Твоего подвига? Сохрани, сохрани меня подъ сѣнію Твоего крова" 4).—Здѣсь—или противорѣчіе въ душѣ Бориса, или онъ изображенъ ужь слишкомъ искуснымъ актеромъ. Ни того, ни другаго нѣтъ въ Борисъ пушкинскомъ: въ драмѣ народъ не побуждаютъ обманами и угрозами выбрать царя, и Борисъ не обливается лицемърными слезами. —

Годуновъ Пушкина, это спокойный, простодушный, ровный по характеру и дёйствіямъ человёкъ. У Карамзина—онъ личность съ рёзкими противоположностями въ нравё, съ рёзкими переходами въ образё дёйствій, не такимъ кажущійся, каковъ на самомъ дёлё. Напр. услышавъ, что самозванецъ принялъ на себя имя Дмитрія, онъ устрашился, "но чёмъ болёе устрашился, тёмъ болёе хотёлъ казаться безстрашнымъ 5)". Борисъ Пушкина—не сильный характеръ, сразу сломившійся, а человёкъ постепенно изнемогающій духомъ, для котораго послёдній ударъ—извёстіе о самозванцё — былъ лишь послёднею каплей, переполнившей чашу. У Карамзина напротивъ—"онъ усильно противоборствовалъ бёдственнымъ случаямъ твердостію духа, чтобы вдругъ оказать себя слабымъ и какъ-бы безпомощнымъ въ послёднемъ явленіи своей судьбы чудесной" 6).

Пушкинъ отступаетъ отъ Карамзина даже въ фактахъ, можетъ быть въ ущербъ реальной исторической истинъ, но въ пользу цъльности, художественности образа. Такъ, въ молитвъ за царя, которую всъ должны были читатъ по распоряженію Бориса, Пушкинъ пропускаетъ прошеніе: "чтобы всъ иные властители уклонялись и рабски служили ему" 7).— Пушкинъ выдвигаетъ на первый планъ то обстоятельство, что Борисъ не поблажалъ аристократическимъ наклонностямъ бояръ, и пропускаетъ разсказъ Карамзина, что Борисъ издалъ (въ Феодорово царствованіе) "законъ, единственно въ угодность знатному дворянству, объ укръпленіи

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Исторія Государства Россійскаго, изд. 4. А. Смирдина. Спб. 1831—1835 т. т. X, гл. III, стр. 206.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, глава I стр. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, гл. III, стр. 211.

<sup>4)</sup> Тамь-же, стр. 217.

<sup>5)</sup> Тамъ-же, т. XI, гл. II, стр. 156-157

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Тамъ-же, гл. I, стр. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Тамъ-же, гл. II, стр. 103.

всѣхъ людей, служащихъ господамъ не менѣе шести мѣсяцевъ" <sup>1</sup>). Но, не совсѣмъ вѣрный исторіи фактически, Борисъ Пушкина (какъ это ни странно можетъ показаться съ перваго взгляда) — болѣе вѣренъ духу русской жизни, потому что онъ болѣе русскій и болѣе живой человѣкъ, тѣмъ Борисъ Карамзина.

Есть, впрочемъ, въ "Исторіи Государства Россійскаго" одно мѣсто, гдѣ характеръ Бориса является близкимъ къ тому, какимъ мы знаемъ его въ драмѣ Пушкина. "Но время приближалось (говорить историкъ), когда сей мудрый властитель, достойно славимый тогда въ Европѣ за свою разумную политику, любовь къ просвѣщенію, ревность быть истиннымъ отцемъ отечества, наконецъ за благонравіе въ жизни общественной и семейственной, долженъ былъ вкусить горькій плодъ беззаконія и сдѣлаться одною изъ удивительныхъ жертвъ суда небеснаго. Предтечами были внутреннее безпокойство Борисова сердца и разные бѣдственные случаи" 2).—Но Карамзинъ не выдержалъ въ своемъ разсказѣ нравственнаго образа Бориса, на который намекнулъ въ этихъ словахъ. Пушкинъ-же развилъ изъ намека историка полный и цѣльный типъ, психологически вѣрно основавши притомъ гибель Бориса на одномъ только "внутреннемъ безпокойствѣ сердца", помимо непосредственнаго дѣйствія внѣшнихъ событій (въ чемъ отступилъ отъ Карамзина).

И отношенія Пушкина къ своему герою совсімть иныя, чёмъ отношенія къ Годунову автора "Исторіи Государства Россійскаго". Пушкинь совершенно объективенъ и безпристрастенъ въ своей драмів, какъ Шекспиръ. Карамзинъ негодуетъ на Бориса и упрекаетъ его. Изложивъ предписанную царемъ молитву, историкъ говоритъ: "таинственное сношеніе съ небомъ Борисъ дерзнулъ осквернить своимъ тщеславіемъ и лицемъріемъ, заставивъ народъ свидътельствовать предъ Окомъ Всевидящимъ о добродітеляхъ убійцы, губителя и хищника!" 3).

Если въ чемъ Пушкинъ слъдовалъ Карамзину, такъ это въ содержаніи своей драмы, въ "развитіи ен происшествій" (какъ онъ самъ указалъ).—Въ предисловіи къ рукописи "Бориса Годунова", представленной поэтомъ въ 1826 году императору Николаю Павловичу, говорится:

<sup>1)</sup> Тамъ-же, т. XI, гл. II, стр. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, гл. I, стр. 99-100.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, гл. II, стр. 104.

исторіи, исключая сцены самозванца въ корчив на литовской границв, сцены юродиваго и свиданія самозванца съ Мариною" 1).

Кромѣ мысли, будто "въ пьесѣ нѣтъ ничего цѣлаго", все остальное въ этихъ словахъ очень близко къ истинѣ: Пушкинъ слѣдуетъ въ драмѣ разсказу историка, иной разъ почти дословно передаван его повѣствованіе, лишь облекши его въ свои чудные стихи, иной разъ только передѣлывая обстановку. Такъ, напр., слова князя Воротынскаго въ первой сценѣ драмы:

Мёсяць ужь протекъ, Какъ затворясь въ монастырё съ сестрою, Опъ, кажется, покинуль все мірское—

— прямой пересказъ словъ Карамзина: Борисъ "заключился въ монастырѣ съ сестрою.... казалось.... онъ отвергнулъ міръ 2)".—Рѣчь дьяка Щелкалова къ народу въ сценъ "Красная площадь" по выраженіямъ, по общему порядку мыслей очень близка къ разсказу историка.-Еще примъръ: Карамзинъ повъствуетъ, что Борисъ для предупрежденія здыхъ умысловъ "возстановилъ бъдственную Іоаннову систему доносовъ"; всь безмольствовали, но "въ тихихъ бесьдахъ дружества неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его душегубствомъ, гоненіемъ людей знаменитыхъ 3)". Пушкинъ, слѣдуя за историкомъ, представляетъ намъ въ драмъ такую "тихую бесъду дружества" между бояриномъ Пушкинымъ и кн. Шуйскимъ, послъ пира у последняго; и объ этой беседе слуги на следующее утро доносять Семену Годунову. — Карамзинъ удачно выразился: "какъ-бы дъйствіемъ сверхъестественнымъ тѣнь Дмитріева вышла изъ гроба, чтобы ужасомъ поразить, обезумить убійцу и привести въ смятеніе всю Россію 4) ... Пушкинъ пользуется этимъ выраженіемъ — и влагаетъ въ уста своему герою слова:

> Но кто-же онь, мой грозный супостать? Кто на меня? Пустое имя, тынь,— Ужели тынь сорветь съ меня порфиру?

Высоко-поэтическій стихъ-обращеніе Бориса къ дочери:

Въ невъстахъ ужь цечальная вдовица

тоже основань на словахь Карамзина: "Ворисъ крушился тогда безь лицемърія, и чувствоваль, можеть быть, казнь небесную въ совъсти, готовивъ счастье для милой дочери и видя ее вдовою въ невъстахъ" 5).

<sup>1)</sup> Рус. Стар. 1880 г., янв., стр. 139.

<sup>2)</sup> Ист. Гос. Рос. т. Х, гл. III, стр. 207.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, т. XI, гл. II, стр. 105, 119.

<sup>4)</sup> Тамъ-же, стр. 135.

<sup>5)</sup> Тамъ-же, гл. I, стр. 33.

Примъровъ сходства сценъ драмы Пушкина съ повъствованіемъ Карамзина можно привести еще много. — Но по готовой канвъ поэтъ вышилъ свои собственные, чудные и самобытные узоры.

"Шекспиру подражалъ я въ вольномъ и широкомъ изображении характеровъ", говоритъ Пушкинъ. И дѣйствительно, въ "Борисѣ Годуновѣ" много шекспировскаго. Сравнивая его внимательно съ произведеніями великаго англійскаго драматурга, мы найдемъ даже, что, создавая своего Бориса, Пушкинъ имѣлъ въ-виду не только вообще типы Шекспира, но именно опредѣленные образы его творчества. Эти образы—Ричардъ III и Макбетъ.

Быть можеть то обстоятельство, что Годуновъ Карамзина напоминаеть порой искуснаго актера, умъющаго скрывать происходящее у него въ душѣ, навело Пушкина на идею сблизить задуманный имъ образъ героя драмы съ Ричардомъ III.—Ричардъ Шекспира—художественная натура, актерь, безукоризненно хорошо разыгрывающій всякія роли: и простодушнаго, и влюбленнаго, и великодушнаго. Кромъ доблести, смёлости, отваги, есть нёчто привлекательное и въ художественной силь этого безнравственнаго человыка: лицемырный артисть, онъ увлекается самъ своей игрою почти до самозабвенія, такъ что его притворство порою близко подходить къ истинѣ. Кажется, на этой чертѣ характера хотѣлъ Пушкинъ первоначально основать очеркъ своего Бориса. На это сближение наводило его также сходство въ обстоятельствахъ жизни и въ действіяхъ Ричарда и Годунова. Оба они-убійцы, черезъ своихъ клевретовъ, отрока-наслѣдника престола; обоихъ ихъ народъ избираетъ въ цари, потому что оба опи выдаются изъ среды вельможь своимь умомь. Должно замътить еще, что обстоятельства избранія Ричарда III у Шекспира очень близко подходять къ разсказу Карамзина о томъ, какъ заставляли народъ обманомъ и угрозами просить Годунова вступить на престолъ. Какъ Борисъ затворился въ монастыръ и, предавшись молитвъ, не хочетъ внимать просьбамъ народа, такъ и Ричардъ въ трагедін лицемфрно не хочетъ выйти къ народу изъ своего замка; а появившись, наконецъ, къ своимъ избирателямъ, говоритъ:

О, горе мий! зачёмы заботь такихъ Всю груду вы мий валите на илечи? И пе гожусь для парскаго величья. Не оскорбляйтеся, я васъ прошу: Я не могу, не въ силахъ уступить вамъ 4).

<sup>1)</sup> Шексипръ въ переводъ русскихъ поэтовъ. Изд. Н. Некрасова и Гербеля. Т. III, Спб. 1867 г. "Король Ричардъ III", пер. Дружинина, стр. 255.

Что образъ Ричарда Пушкинъ думалъ избрать себѣ въ руководители при создании характера своего Бориса, на это кромѣ общихъ соображеній, указывають и пѣкоторыя частныя данныя, нѣкоторое сходство въ положеніяхъ и словахъ Ричарда и Бориса нашего поэта.

Богъ видитъ--и вы видёли теперь, Какъ и далекъ отъ всякой жажды власти!

говорить герцогь Глостерь избравшему его народу.

Вы видёли, что я пріемлю власть Великую со страхомъ и смиреньемъ,

говорить Борись боярамь.

Бориса въ драмѣ мучитъ образъ убитаго царевича: тринадцать лѣтъ сряду все снится ему "убитое дитн". Такъ и Ричарду, въ ночь нередъ послѣдней битвой съ Генрихомъ, на Босвортской равнинѣ, являются тѣни убитыхъ имъ, и между прочими тѣни Эдварда, принца валлійскаго, и брата его, Ричарда, герцога Іоркскаго. Тѣни грозятъ ему. Взволнованный грезами, Ричардъ просыпается и вскакиваетъ съ постели:

Смъпить коня! Перевяжите раны!

(кричитъ онъ)

Умилосердись, Інсусе!.. Тссс! Все это сонь. Ты; совъсть, жалкій трусь, Мучитель мой! Гдѣ я? Глухая полночь, Огонь блестить какимъ-то синимъ свѣтомъ. Дрожу я, все въ холодныхъ каиляхъ тѣло. Миѣ страшно. Но чего-же? Я одинъ. Я Ричарда люблю и Ричардъ другъ мнѣ. Я—тотъ-же я. Здѣсь нѣтъ убійцы. Нѣтъ, Здѣсь есть убійца. Да, убійца—я! Бѣжать мнѣ? Отъ кого-же? отъ себя? И отчего бѣжать? отъ мщенья что-ли? Кто-жь будетъ мстить?..

Кажется, нельзя сомнѣваться, что этоть монологъ повліяль на монологъ Бориса въ сценѣ "Царскія палаты"; Борисъ сокрушается, что народъ не любить его, и оканчиваеть свои думы словами, что одна только совѣсть можетъ успокоить человѣка:

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 274.

Такъ, здравая, она восторжествуетъ Надъ злобою, надъ темной клеветою; Но если въ ней единое иятно, Единое случайно завелося,—
Тогда бъда: какъ язвой моровой Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ, Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ, И все тошнитъ, и голова кружится, И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бъжать, да некуда... ужасно! Да, жалокъ тотъ, въ комъ совъсть не чиста!

Даже нѣкоторая напряженность и высокопарность рѣчи Бориса здѣсь (единственный случай въ драмѣ Пушкина) напоминаетъ гиперболическій и страстный языкъ Шекспира. Монологъ Ричарда можетъ быть отразился и на другихъ словахъ Бориса, въ сценѣ, гдѣ Шуйскій сообщаетъ ему о появленіи самозванца; по уходѣ боярина царь говоритъ:

Я чувствоваль,—вся кровь моя въ лице Мик кинулась, и тяжко опускалась.

Онъ вспоминаетъ про то, что снился ему много лѣтъ царевичъ; задаетъ себѣ вопросъ—неужели тѣнь лишитъ его престола, звукъ отниметънаслѣдство у дѣтей его?

> Безумець я! чего-жь я непугался? На призракъ сей подуй,—и нѣть его. Такъ, ръ́шено, не окажу я страха! Но—презирать не должно пичего.

Въ приведенныхъ чертахъ драмы Пушкина выразилось сходство его Бориса съ Ричардомъ III Шекспира; но это сходство не столько характеровъ, сколько положеній. И это почувствовалъ самъ поэтъ, еще тогда, конечно, когда герой драмы жилъ лишь въ его творческомъ замыслѣ; онъ понялъ, что въ Борисѣ не можетъ быть ни энергіи Ричарда, ни его демонской злобы и эгоизма. И вниманіе Пушкина остановилось на другомъ образѣ Шекспира—на личности Макбета.

Макбеть—человѣкъ добродушный, благородный, честный, человѣкъ съ теплымъ сердцемъ и чуткой совѣстью; но онъ безхарактеренъ и властолюбивъ. Его губять—слабость воли и страсть къ власти.

Въ твоей душѣ такъ много Млека любви, что ты не изберешь Пути кратчайшаго—

говорить леди Макбеть, убъждая мужа убить короля Дункана.

Въ тебѣ, я знаю, И гордость есть, и жажда громкой славы, Да нѣтъ сопутника ихъ—зла... ¹).

И действительно, одна мысль объ убійстве, мелькнувшая въ голове Макбета, приводить его въ ужасъ. Онъ никогда не совершилъ-бы преступленія, если-бы быль въ силахъ противиться вліянію жены. Леди Макбетъ разжигаетъ въ немъ властолюбивые инстинкты, стыдитъ его трусостью, -и, слабый человькь, онъ поддается насмышкамь и упрекамъ. Но, совершивъ убійство, онъ тотчасъ-же изнемогаетъ духомъ, и совъсть его торжествуеть надъ злымъ порывомъ; съ этой минуты онъ не можеть оправиться и овладёть собою; спокойствіе исчезло для него навсегда, и онъ не въ силахъ даже скрыть душевныхъ мукъ.—Сходный съ Ричардомъ III только своей доблестью, Макбеть во всемъ остальномъ прямо ему противоположенъ. Ричардъ спокойно совершаетъ злодъйства, владъя собою, даже наслаждаясь, какъ артистъ, художественностью выполненія своихъ адскихъ замысловъ; онъ падаеть подъ ударами проснувшейся совъсти лишь тогда, когда, послъ цълаго ряда убійствъ, видитъ невозможность торжества для себя. Макбетъ, напротивъ, совершаетъ преступленіе какъ-бы противъ воли, предостерегаемый и преследуемый угрызеніями совести; разъ поскользнувшись, онъ растерялся-и летить въ пропасть, закрывши глаза.

По общимъ, основнымъ чертамъ своего характера Борисъ Пушкина таковъ-же, какъ Макбетъ. Это, впрочемъ, не давало-бы намъ еще права дълать заключение о вліяніи Макбета на творчество нашего поэта, если-бы не сходство героевъ двухъ драмъ въ нѣкоторыхъ частныхъ дъйствіяхъ, душевныхъ движеніяхъ и словахъ. Совершивъ преступленіе, Борисъ уединяется, чуждается людей; онъ занять своими мрачными думами и сокрушается о невозможности душевнаго покон;-то-же происходить и съ Макбетомъ.-И Борисъ, и Макбетъ, оба окружають себя шпіонами, сов'єтуются съ колдунами и ворожеями. Умирая, Борисъ заботится о передачѣ престола сыну, онъ умоляетъ бояръ служить ему върой и правдой; для Бориса было-бы ужасно, если-бы престолъ перешелъ не къ Өеодору. Макбетъ тоже сокрушается сердцемъ при мысли, что его престолъ станетъ достояніемъ чужихъ дътей-потомковъ Ванко. (Зам'єтимъ мимоходомъ, что у безд'єтнаго Макбета эти сокрушенія нѣсколько странны).—Еще характернѣе и ярче сходство въ одной подробности драмъ: Макбетъ грозитъ въстнику, сообщившему, что Бирнамскій л'єсь двинулся съ высоть своихь на Донзинань:

<sup>4)</sup> Шекспиръ въ пер. рус. пис. т. I, Спб. 1865 г. "Макбетъ", пер. Кронеберга стр. 356.

Послушай, — если ты солгаль — живому На первомъ деревъ тебъ висъть, Пока отъ голода ты не подохнешь 1).

Эти слова напоминають угрозы Годунова князю Шуйскому, когда тоть сообщиль ему равносильное по значенію, ужасное для него извістіе—объ имени, принятомь самозванцемь; угрозами страшныхь мукъ Борись хочеть вырвать изъ устъ Шуйскаго истину о царевичь Дмитрів.—Наконець, можеть быть на вліяніе трагедіи Шекспира указываеть и первоначальное наміреніе Пушкина оставить свою драму безъ любви: въ "Макбеть" любви ніть. Впрочемь, нашь поэть отступиль потомь оть первоначальнаго плана.

Таковы черты сходства между Борисомъ Пушкина и Макбетомъ Шекспира.—Но между героями двухъ поэтовъ есть и различіе, и притомъ такое, которое исключаетъ всякую мысль о подражаніи и заимствованіи Пушкина.

Прежде всего большая разница въ положеніяхъ Бориса и Макбета. Подлѣ герол Шекспира стоитъ адскій духъ въ образѣ его жены. Борись—не подчиннется ни чьему вліянію, онъ самостоятеленъ, и потому тверже характеромъ, чѣмъ Макбетъ.—Затѣмъ, Борисъ—отецъ, нѣжно любящій дѣтей, и должно быть поэтому, между прочимъ, онъ добрѣе и мягче сердцемъ; такъ, умирая онъ завѣщаетъ сыну отмѣнить казни.

Еще существенные разница въ самомъ стров характеровъ героевъ двухъ поэтовъ. Въ душв Макбета нѣтъ совсвит гармоніи, нѣтъ согласія душевныхъ силъ, и потому нѣтъ спокойствія. Отдѣльныя стихіи его души, вырвавшись на свободу, обособляются и доходятъ до крайнихъ предѣловъ своего развитія. Такъ, воображенію Макбета, напуганному упреками совѣсти, представляются на-яву видѣнія: идя убить Дупкана, онъ видитъ въ воздухѣ кинжалъ; по убіеніи Банко ему является тѣнь убитаго, занимая его мѣсто за пиршественнымъ столомъ; пораженный ужасомъ, не владѣя собою и мечтая отстранить отъ себя роковое обвиненіе, онъ безумно говоритъ тѣни:

Борису также является призракь убитаго Димитрія, но это во-снѣ, а не на-яву.—Увлеченіе страхомъ враговъ и желаніемъ избавиться отъ нихъ развилось у Макбета тоже до крайности: мы видимъ въ немъ до пинизма доходящую жажду убійства; онъ говорить убійцѣ Банко:

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 368, 369.

Ты—лучшій изо всёхъ головорёзовъ. Но Хорошъ и тоть, кто разсчитался съ Флинсомъ, И если это ты, такъ ты единственъ 1).

Въ этихъ словахъ слышится какое-то страстное упоеніе кровью. Такихъ рѣчей у Бориса нѣтъ. — Безгранично развито у Макбета и желаніе знать будущее; онъ готовъ на все, только-бы удовлетворить этому эгоистическому желанью: пусть погибнетъ міръ, пусть отъ отвѣта вѣдьмъ подымется ураганъ и разрушитъ церкви, потопитъ суда въ океанѣ, пусть "изсохнетъ жатва на поляхъ",

пусть въ нѣдра жизни
Проникнеть смерть и возвратится хаосъ—
Я требую отвѣта на вопросъ!

восклицаетъ онъ. —Страхъ, сомнѣнія, муки совѣсти доводятъ Макбета до отчаянья, въ самомъ ужасномъ смыслѣ этого слова, онъ выходитъ изъ себя и, теряя подъ собою всякую почву, срывается со всѣхъ основъ нравственнаго существованія:

Я сыть! Всёхъ ужасовъ душа моя полна И трепетать я не могу <sup>2</sup>)

говоритъ онъ передъ послѣдней битвой. Жизнь тогда начинаетъ представляться ему пустою игрушкой, не стоющей вниманья, мимолетной тѣнью,—

сказка Въ устахъ глунца, богатая словами И звономъ фразъ, но нищая значеньемъ! <sup>3</sup>).

Убѣдившись, что спасенья нѣтъ, онъ гибнетъ въ отчаяньи со словами эгоизма, гордости и злобы:

О, если-бъ мірь разрушился со мною!

Какая разница съ пушкинскимъ Борисомъ! Въ Макбетъ мы видимъ крайнее развитіе обособившихся силъ и стремленій человъческаго духа. Въ отсутствіи между ними гармоніи, въ отсутствіи связующаго единства—въ немъ сказался человъкъ Запада.—Борисъ Пушкина—человъкъ вполнъ русскій, и потому сдержанный и спокойный. Самый драматизмъ его личности состоитъ въ противоръчіи тревожныхъ властолюбивыхъ стремленій съ общимъ гармоническимъ и мирнымъ строемъ души, съ ея жаждою тишины и покоя.

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамь-же, стр. 383.

И изображаетъ нашъ поэтъ главнымъ образомъ именно эти мирным стороны духа Бориса; страсть-же, нарушающая ихъ покой, стоитъ у него на второмъ планъ.—У Шекспира паоборотъ: все его вниманіе сосредоточено на развитіи страсти Макбета, начиная съ самаго ея зарожденія, олицетвореннаго въ образахъ въдьмъ. Въ характеръ Бориса, въ противоположность Макбету, страсть есть что-то чуждое для него самого.

Такимъ образомъ въ создани характера Бориса Пушкинъ является народнымъ поэтомъ: онъ создалъ вполнѣ русское лице. "Слѣдуя Шекспиру", Пушкинъ не подражалъ ему, а лишь учился у него,— учился творить на его великихъ образахъ. И въ первой-же попыткѣ самобытнаго творчества ученикъ не уступилъ учителю: Борисъ Годуновъ есть вполнѣ живой, вполнѣ художественно очерченный типъ. Съ этихъ поръ кончилось для Пушкина ученье: изъ долгой школы разныхъ учителей, послѣднимъ изъ которыхъ былъ величайшій поэтъ Запада, онъ вышелъ на свободу самостоятельнаго творчества вполнѣ самобытнымъ, великимъ, пароднымъ поэтомъ.

Въ народности драмы Пушкина сказалось, конечно, кромѣ русской природы поэта, вліяніе села Михайловскаго, сближенія съ народомъ и чтенія лѣтописей и вообще памятниковъ старины.

Чтеніе исторических намятниковъ съ особенною ясностью отразилось на обрисовкѣ характера лѣтописца Пимена, на изображеніи народа и на первоначальномъ названіи драмы.—Пушкинъ хотѣлъ назвать свое произведеніе— "Комедіей о царѣ Борисѣ и о Гришкѣ Отрепьевѣ 1)". Въ предисловіи къ рукописи драмы, представленной на просмотръ гр. Бенкендорфу, говорится: "Пушкинъ хотѣлъ подражать, даже въ заглавіи, старинѣ. Въ началѣ русскаго театра, въ 1705 году, комедіей называлось какое-пибудь происшествіе, историческое или выдуманное, представленное въ разговорѣ. Въ спискѣ таковыхъ комедій, находившихся въ Посольскомъ приказѣ 1708 года, мы находимъ заглавіе: "Комедія о Франталисѣ царѣ Эпирскомъ и о Мирандомѣ, сынѣ его, и о прочихъ… " 2). Эти слова проливаютъ нѣкоторый свѣтъ на чтеніе Пушкинымъ произведеній древней нашей словесности: онъ читалъ ихъ, должно быть, много и увлекался ими сильно.

На-сколько удаченъ образъ Пимена въ драмѣ свидѣтельствуютъ, между прочимъ, воспоминанія Погодина. Погодинъ услышалъ "Бориса

<sup>1)</sup> Заглавіе бёловой рукописи. Ранве, 13 іюля 1825 г., Пушкинъ писаль ки. Вяземскому: "Предо мной моя трагедія. Не могу витеривть, чтобъ не выписать ся заглавіе. Комедія о настоящей бёдё Московскому Государству, о цар'я Борис'я и о Гришк'я Отрепьев'я. Писаль рабъ Божій Алекс. сынъ Серг'я Вушкинь, въ літо 7333 на городищ'я Воронич'я.—Каково?" (Соч. II, 411).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Рус. Стар." 1880 г., № 1, стр. 139. нушкинъ въ его поэзін.

Годунова" впервые изъ устъ автора, и сцена съ Пименомъ его "ошеломила". "Мнѣ показалось (говоритъ историкъ), что мой родной и любезный Несторъ поднялся изъ могилы и говоритъ устами Пимена; мнѣ послышался живой голосъ русскаго древняго лѣтописателя" 1). И въ самомъ дѣлѣ, поэтъ съумѣлъ въ своемъ старцѣ олицетворитъ существенныя черты древнихъ лѣтописцевъ: мы можемъ характеризовать ихъ теперь стихами Пушкина. Въ поговорку вошли слова:

> Описывай, не мудрствуя лукаво, Все то, чему свидѣтель въ жизни будешь: Войну и миръ, управу государей, Угодинковъ святыя чудеса, Пророчества и знаменья небесны...

или:

Все тотъ-же видъ, смиренный, величавый... Такъ точно дъякъ, въ приказахъ посъдъдый, Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ... и т. д.

Народъ взятъ Пушкинымъ не изъ Шекспира, точно такъ-же, какъ и герой драмы. Въ "Ричардѣ III" народъ робко и безмолвно исполняетъ желаніе властолюбца, не проявляя своей мысли и воли. У Пушкина онъ не таковъ: въ сценахъ "Красная площадъ" и "Дѣвичье поле" онъ сознательно относится къ дѣлу избранія царя. Народъ изображенъ, впрочемъ, въ "Борисѣ Годуновѣ" не совсѣмъ удачно; но взглядъ поэта на него объективенъ и сочувственъ, и многое въ его жизни подмѣчено вѣрно. Во всѣхъ народныхъ сценахъ трагедіи Пушкинъ рисуетъ разнообразіе душевныхъ движеній въ народной массѣ: среди искренно сокрушающихся о томъ, что правитель не хочетъ взойти на престолъ, и потомъ радующихся, когда онъ соглашается принять вѣнецъ, поэтъ рисуетъ и равнодушныхъ, которымъ ни до чего нѣтъ дѣла. Изъ толпы, стоящей подъ окнами заключенныхъ дѣтей Бориса, слышатся разнообразные толки.

Братъ, да сестра—бѣдныя дѣти, что пташки въ клѣткѣ! говоритъ одинъ.

Есть о комъ жалъть? Проклятое племя!

возражаеть другой. Поэть указываеть и на проявление звёрскихъ инстинктовъ въ массё: въ сценё "Лобное мёсто" вслёдъ за рёчью боярина, присланнаго отъ самозванца, на амвонъ вбёгаеть мужикъ и кричитъ:

Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты! Ступай вязать Борисова щенка!

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 136.

и народъ несется толпою, съ крикомъ:

Вязать! топить! да здравствуеть Димитрій!

Но этотъ-же самый народъ отвъчаетъ знаменательнымъ высоко-нравственнымъ безмолвіемъ, когда клевреты самозванца, убивъ беодора и мать его, предлагаютъ привътствовать новаго царя, такимъ кровавымъ путемъ всходящаго на престолъ.—Судя по тому, что трагедія заканчивается именно этимъ народнымъ безмолвіемъ, народнымъ отвращеніемъ отъ кроваваго дѣла, можно думать, что поэтъ признавалъ преобладаніе въ народѣ добрыхъ началъ надъ злыми;—но вообще народъ изображенъ въ трагедіи не на-столько ярко и художественно, чтобы сдѣлать рѣшительное заключеніе о взглядѣ на него поэта. Но зато несомнѣнно, что народнымъ религіознымъ вѣрованіямъ Пушкинъ вполнѣ сочувствовалъ: удивительной поэтической красотою и неподдѣльной теплотой чувства проникнутъ разсказъ патріарха о чудѣ на гробѣ царевича Димитрія. То-же слѣдуетъ сказать и о рѣчахъ лѣтописца Пимена про суету грѣшнаго міра, про то, какъ часто самимъ царямъ тяжелъ становился ихъ вѣнецъ, и они мѣняли его на монашескій клобукъ.

Длинный рядъ лицъ нарисовалъ намъ Пушкинъ въ своей трагедіи; передъ нами русскіе и поляки, и съ удивительною художественною силой оттѣнилъ поэтъ національныя особенности тѣхъ и другихъ. Съ одной стороны добродушные и простые, подчасъ наивные, чаще обладающіе здравымъ смысломъ—русскіе люди. Съ другой—эффектные, тщеславные и хвастливые поляки. Интересно сопоставить образы двухъ дѣвушекъ: царевны Ксеніи, простодушно, горько и искренно оплакивающей своего жениха, которому и мертвому хочетъ она остаться вѣрной, и будущей царицы Марины, гордой красавицы, страстной и властолюбивой, но умѣющей сдерживать себя, проницательной, руководящейся въжизни однимъ тщеславіемъ. Образъ царевны, впрочемъ, не смотря на то, что онъ очерченъ всего двумя-тремя штрихами, какъ-то ярче и художественнѣе, чѣмъ образъ Марины: поэтъ, кажется, увлекся и нѣсколько идеализировалъ умъ гордой полячки, и только заключительныя слова сцены у фонтана, слова самозванца:

И путаеть, и вьется, и ползеть, Скользить изъ рукъ, шипить, грозить и жалить. Змёл! змёл!..

только эти слова реализирують очеркь характера Марины, очеркь прекрасный, но ифсколько отвлеченный и потому холодный.

Если гдѣ Пушкинъ сошелся съ Карамзинымъ въ обрисовкѣ характера, то это въ личности Самозванца. Историкъ назвалъ Лжедимитрія—"мужественнымъ витяземъ" 1); поэтъ изобразилъ его тоже—истин-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ист. Госуд. Росс., Спб., 1831 т., XI, стр. 353.

нымъ витяземъ. Въ этомъ сказалось, по всей вѣроятности, еще не окончательно исчезнувшее изъ души Пушкина пристрастіе къ блестящимъ, страстнымъ западно европейскимъ типамъ. — Самозванецъ Пушкина человѣкъ русскій по происхожденію, но онъ подвергся вліянію польскаго рыцарства; онъ—личность энергическая, живая, впечатлительная, съ большими задатками добра. Въ его уста вложилъ поэтъ приговоръ Провидѣнія и исторіи надъ Годуновымъ:

Борисъ, Борисъ! все предъ тобой трепещетъ, Никто тебъ не смъетъ и напомнить О жребіи песчастнаго младенца; А между тъмъ отшельникъ въ темной кельъ Здъсь на тебя доносъ ужасный иншетъ: И не уйдешь ты отъ суда мірскаго, Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда.

Любовь Самозванца къ Маринѣ—истинно поэтическое чувство; и благородствомъ, энергіей, сознаніемъ своего достоинства дышатъ слова его Маринѣ, вздумавшей-было гордо отвергнуть не-княжескую любовь:

> Тепь Грознаго меня усыновила— Димитріемъ изъ гроба нарекла, Вокругъ меня народы возмутила, И въ жертву мив Бориса обрекла. Царевичъ л. Довольно. Стыдно мив Предъ гордою полячкой унижаться.

Въ Самозванцѣ видимъ мы и доброту, и безпечную удаль, и любовь къ родной землѣ. Одержавъ побѣду подъ Новгородомъ-Сѣверскимъ, онъ тотчасъ-же распоряжается:

Мы победили. Довольно! щадите русскую кровь! Отбой!

Онъ не лицемъритъ здъсь, какъ не лицемъритъ и тогда, когда, подъъзжая къ русской границъ, сумрачный и печальный, завидуетъ веселью молодаго Курбскаго:

Какъ счастливъ онъ! какъ чистая душа Въ немъ радостью и славой разыгралась!

Все это показываеть намъ, что Самозванець идеализировань въ драмѣ. Но есть, однако, въ его образѣ одна черта, которая сближаеть его съ реальной дѣйствительностью, это — легкомысліе. Оно сказалось — и въ принятіи имъ на себя имени царевича, и въ проливаніи той самой крови, о которой онъ со скорбью говоритъ:

Кровь русская, о Курбскій, потечеть!

и въ объщании польскому патеру обратить русскій народъ въ католичество, и въ допущеніи почти на глазахъ народа убить вдову и сына

Годунова. Въ послѣднемъ случаѣ легкомысліе соединилось съ какою-то колодной и безразсудной жестокостью. — Должно сказать, впрочемъ, что карактеръ Самозванца нарисованъ далеко не такъ художественно, какъ карактеръ Бориса.

Съ внѣшней стороны драма безукоризненно прекрасна. Въ ней нѣтъ быстраго и страстнаго развитія дѣйствія; но спокойный, медленный, эпическій ходъ ея событій совершенно соотвѣтствуетъ духу изображаемой ею древней русской жизни. Соотвѣтствуетъ этому духу и превосходный языкъ ея, простой, безукоризненный и изящный, на которомъ такъ видно вліяніе лѣтописей и грамматъ. (Только, можетъ быть, на одномъ стихъ отразился картинный и гиперболическій языкъ Шекспира:

поздно спорить И раздувать холодный пепель брани).

Любя свое созданіе и понимая его значеніе, Пушкинъ долго не рѣшался печатать "Бориса Годунова": драма вышла въ свѣтъ лишь въ 1830 году, черезъ 5 лѣтъ послѣ написанія. И Пушкинъ былъ правъ въ своихъ опасеніяхъ: она встрѣтила холодный пріемъ, сравнительно съ первыми большими произведеніями поэта; нѣкоторые цѣнители увидѣли въ ней даже признаки начинающагося паденія таланта автора "Кавказскаго плѣнника"; одинъ стихотворецъ сложилъ вирши:

И Пушкинъ намъ наскучить, И Пушкинъ надоблъ,— И стихъ его не звученъ, И геній охладёль.

Поэтъ началъ переростать свое поколѣніе и писать для будущихъ временъ.

Въ томъ-же 1825 году, въ которомъ сочинена трагедія, написалъ Пушкинъ и небольшую повъсть въ стихахъ "Графъ Нулинъ".

О происхожденіи этой повъсти воть что говорить онъ самь, на сохранившемся клочкъ бумаги:

"Въ концѣ 1825 года находился я въ деревнѣ и, перечитывая Лукрецію, довольно слабую поэму Шекспира, подумалъ: что если-бъ Лукреціи пришла въ голову мысль дать пощечину Тарквинію? Быть можетъ, это охладило-бы его предпріимчивость, и онъ со стыдомъ принужденъ былъ отступить. Лукреція-бы не зарѣзалась, Публикола не взбѣсился-бы,—и міръ и исторія міра были-бы не тѣ. Мысль пародировать исторію и Шекспира мнѣ представилась; я не могъ воспротивиться двойному искушенію и въ два утра написалъ эту повѣсть" ¹).

<sup>4)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 158.

Повъсть интересна въ двухъ отношеніяхъ: прежде всего—какъ первая попытка Пушкина просто изобразить простую, обыденную русскую дъйствительность; затъмъ—какъ сатира на нашу французоманію.— Поэтъ рисуетъ помъщика, его деревенскую жизнь, поъздки его осенью на охоту, между тъмъ какъ жена сидить одна дома, скучаетъ и хозяйничаетъ. Иронически, подсмъпвансь, но съ затаеннымъ сочувствіемъ изображаетъ Пушкинъ прозаическую обстановку помъщичьнго двора: барыня сидъла у окна съ романомъ, сначала внимательно читала его,

Но скоро какъ-то развлеклась Передъ окномъ возникшей дракой Козла съ дворовою собакой И ею тихо занялась. Кругомъ мальчишки хохотали; Межь тёмъ печально подъ окномъ Индёйки съ крикомъ выступали Во-слёдъ за мокрымъ пётухомъ; Три утки полоскались въ лужѣ; Шла баба черезъ грязный дворъ Бѣлье повёсить на заборъ; Погода становилась хуже: Казалось, снёгъ идти хотёлъ...

Героиня повъсти — Наталья Павловна — походить своимъ легкомысліемъ и пустотой на Лауру Байрона, въ повъсти "Бенно".

Наталья Павловна совсёмъ Своей хозяйственною частью Не занималася, затёмъ, Что не въ отеческомъ законё Она воспитана была, А въ благородномъ пансіонё У эмигрантки Фальбала.

Она предпочитаетъ хозяйству чтеніе сантиментальныхъ романовъ-Кокетка, скучающая въ деревенскомъ уединеніи, она радехонька случайному прійзду щеголя графа; кокетничая съ нимъ, она играетъ глазами, жметъ ему руку... и легкомысленный селадонъ рѣшается, вслѣдствіе этого, явиться къ ней ночью. Но за предпріимчивость, или вѣрнѣе за неосторожность предпріимчивости получаетъ пощечину:

> Гитва гордаго полна (А впрочемъ, можетъ быть, и страха), Она Тарквинію съ размаха Даетъ пощечниу...

Этой неудачь графа смыялся потомы вмысть съ Натальей Павловной (но не съ мужемы ея, который, напротивы, очень сердился),

Лидинъ, ихъ сосъдъ, Помъщикъ двадцати трехъ лътъ.

Въ повъсти очень комичными чертами обрисованъ офранцузившійся Нулинъ, который промоталь въ вихръ моды

Свои грядущіе доходы,

и теперь ѣдетъ

Себя казать, какъ чудный звёрь,

въ "Петрополь",

Съ запасомъ фраковъ и жилетовъ, Шляпъ, вѣеровъ, плащей, корсетовъ, Булавокъ, запонокъ, лорнетовъ, Цвѣтныхъ платковъ, чулковъ à jour... и т. д.

Къ тому-же 1825 году относится "Сцена изъ Фауста", одно изъ интереснъйшихъ въ исихологическомъ отношеніи сочиненій Пушкина. Ученикъ Шекспира, помърньшій въ "Борисъ Годуновъ" свои силы съ великимъ учителемъ, поэтъ вздумалъ помърить ихъ и еще съ однимъ великимъ геніемъ, съ Гёте.—Г. Анненковъ разсказываетъ въ своихъ "Матеріалахъ", что Гёте зналъ о "Сценъ изъ Фауста". Онъ послалъ Пушкину поклонъ черезъ одного русскаго путешественника и препроводилъ съ нимъ, въ подарокъ, собственное свое перо, которое многіе видъли потомъ въ кабинетъ Пушкина въ богатомъ футляръ, имъвшемъ надпись: "подарокъ Гёте" 1). Но германскому поэту не приходило, конечно, въ голову, что сцена Пушкина—не только не подражаніе ему, а даже не творчество въ его духъ, что она—поправка (съ русской точки зрънія) его великаго созданія.—Въ высшей степени интересно сравнить отношенія къ Фаусту творца его и нашего Пушкина.

У Гёте Фаусть—личность съ высокими стремленіями, мыслитель, добивавшійся всю жизнь истины. Наука его не удовлетворила—и онъ сталь искать счастья въ реальной дѣйствительности: въ земныхъ наслажденіяхъ, въ любви, въ сближеніи съ народомъ. Гёте весьма художественно изображаетъ Фауста и Маргариту, но должно сказать, что онъ не оцѣниваетъ по достоинству дѣйствій своего героя относительно наивной и чистой дѣвушки. Въ чувствѣ Фауста есть двойственность: Гретхенъ для него предметъ благоговѣнія и романтической любви и вмѣстѣ съ тѣмъ предметъ чувственныхъ стремленій. Послѣднія одерживаютъ верхъ надъ романтизмомъ. Фаустъ губитъ Гретхенъ, повергаетъ ее въ бездну сомнѣнія, несчастія, нищеты, доводитъ ее до отчаянія и преступленія, до тюрьмы и сумасшествія. Онъ не хотѣль, впрочемъ, этого сдѣлать: все это произошло нечаянно. Гретхенъ не

<sup>1)</sup> Матер. г. Анненкова, стр. 177.

удовлетворяла его возвышеннымъ стремленіямъ, она была слишкомъ для него ничтожна. Какъ въ началѣ знакомства онъ свысока относился къ ея наивной вѣрѣ, такъ потомъ онъ забылъ ее въ своихъ новыхъ поискахъ за счастьемъ. Онъ винитъ себя, конечно, когда, вспомнивъ о
ней, посѣщаетъ ее въ темницѣ; но ему и въ голову не приходитъ, что
слово "палачъ", съ которымъ случайно обращается къ нему его сумасшедшая жертва, къ нему какъ нельзя болѣе подходитъ. Онъ больше
жалѣетъ Гретхенъ, чѣмъ считаетъ себя виноватымъ передъ нею: онъ
слишкомъ высоко ставитъ свое умственное развите надъ ея наивной
непосредственностью.—И должно замѣтить, что самъ Гёте вполнѣ сочувствуетъ Фаусту: нигдѣ не замѣтно, чтобы онъ судилъ своего героя
за его возмутительно-безнравственный поступокъ съ Гретхенъ.

Пушкинъ посмотрѣлъ на Фауста въ своей "Сценъ" иначе: онъ произноситъ строгій приговоръ надъ ученымъ докторомъ, надъ его отношеніями къ Маргаритъ.—Фаустъ у нашего поэта говоритъ Мефистофелю, что есть одно прямое благо: "сочетанье двухъ душъ", и съ одушевленіемъ вспоминаетъ о счастъъ съ Гретхенъ. Но Мефистофель его охлаждаетъ:

> Ты бредишь, Фаусть, на-яву! Услужливымъ воспоминаньемъ Себя обманываешь ты...

и онъ начинаетъ ядовито анализировать, что думалъ Фаустъ на свиданіяхъ съ Маргаритой:

Ты думаль: агнець мой послушный! Какь жадно я тебя желаль! Какь китро въ дѣвѣ простодушной Я грезы сердца возмущаль! Любви невольной, безкорыстной Невинно предалась она... Что-жь грудь моя теперь полна Тоской и скукой ненавистной? На жертву прихоти моей Гляжу, упившись наслажденьемъ, Съ пеодолимымъ отвращеньемъ.

Потомъ изъ этого всего Одно ты вывелъ заключенье...

Сокройся, адское творенье, Бътн отъ взора моего!

въ ужасѣ прерываетъ Мефистофеля Фаустъ, въ ужасѣ, потому что тотъ обнажилъ язвы его совѣсти: Гретхенъ—"жертва прихоти" Фауста; любовь ученаго мыслителя къ ней—"тщетное злое дѣло"... Гёте такъ не думалъ; а между тѣмъ это правда, и правду эту понялъ нашъ поэтъ. Взглядъ Пушкина на жизнь оказался нравственно выше міросо-

зерцанія Гёте; умственный кругозоръ его оказался шире. Пушкинъ переросъ и германскаго гиганта поэзіи, какъ переросъ Байрона. Огромную роль въ этомъ процессъ могучаго развитія его духа играла русская деревня.

3.

Но не одними впечатленіями деревни и старины жиль Пушкинь въ Михайловскомъ. Народные правы и бытъ, преимущественно владъя его душою, не исключали изъ нея и другаго рода стремленій. Между этими последними очень важны те проявленія его духовнаго бытія, которыя мы видимъ въ его отношеніяхъ къ Аннъ Петровнъ Кернъ. Поэтъ любилъ ее; только эта любовь, безпечная и легкая, хотя полная въ то-же время живой и неподдельной поэзіи, сыграла печальную роль въ его жизни. Кернъ (урожденная Полторацкая) была племянница Праск. Александр. Осиповой; почти ребенкомъ ее выдали замужъ за старика-генерала. Она была чрезвычайно хороша собой, и ел красота (какъ мы знаемъ) поразила Пушкина еще въ Цетербургъ, до высылки его на югъ. Кернъ оставила записки о знакомствѣ своемъ съ поэтомъ 1). Она разсказываеть вь нихъ, что послѣ нервой встрьчи съ Пушкинымъ шесть лътъ не видала его; но сильно желала видъть, восхищаясь его поэмами — "Кавказскимъ пленникомъ", "Бахчисарайскимъ фонтаномъ", "Братьями-разбойниками" и первой главой "Онъгина". Заочно, впрочемъ, она была знакома съ нимъ, бесъдуя съ его другомъ Аркадіемъ Гавриловичемъ Родзянкой и переписываясь о немъ, изъ полтавскаго имънія своихъ родныхъ, съ Анной Николаевной Вульфъ. Въ одномъ письм' Анны Николаевны къ Кернъ Пушкинъ приписалъ сбоку, изъ Вайрона, по-французски: "видение пронеслось мимо насъ, мы видели его и никогда опять не увидимъ" 2).—Въ іюнь 1825 года Кернъ пріъхала въ Тригорское, и они съ поэтомъ свидълись. Пушкинъ почему-то быль смущень при встрече. "Онь очень низко поклонился (разсказываетъ Кернъ), но не сказалъ ни слова: робость была видна въ его движеніяхъ". Черезъ н'ісколько времени, онъ однажды явился въ Тригорское съ большою черною книгою, "и сказалъ (пишетъ Кернъ), что принесъ ее для меня. Вскоръ мы усълись вокругъ него, и онъ прочиталъ намъ своихъ "Цыганъ". Внервые мы слышали эту чудную поэму, и я пикогда не забуду того восторга, который охватилъ мою душу!.. Я была въ "упоеніи". — Черезъ нѣсколько дней обитательницы Тригорскаго повхали съ поэтомъ въ лунную ночь въ его Михайловское. "Ни

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Стар. 1870 г., над. 3-ье, т. І.—Керит по второму мужу—Маркова-Виноградская.

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 318.

прежде, ни послѣ (говоритъ Кернъ) я не видала его такъ добродушнымъ и любезнымъ. Онъ шутилъ безъ остротъ и сарказмовъ; хвамилъ луну, не называлъ ее "глупою", а говорилъ: j'aime la lune quand elle éclaire un beau visage" ¹). Въ саду Михайловскаго Пушкинъ "вспоминалъ нашу первую встрѣчу у Олениныхъ, выражался о ней увлека тельно-восторженно и въ концѣ разговора сказалъ: vous aviez un air si virginal; n'est се раз que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?" ²).—На другой день Анна Петровна должна была уѣхать въ Ригу; Пушкинъ пришелъ къ ней рано утромъ и на прощанье принесъ экземпляръ 2-й главы "Онѣгина" въ неразрѣзанныхъ листахъ; между ними она нашла вчетверо сложенный почтовый листъ бумаги со стихами:

Я помию чудное мгновенье...

Это было признаніе поэта въ любви. "Онъ долго смотрѣлъ на меня (разсказываетъ Кернъ), потомъ судорожно выхватилъ стихи и не хотѣлъ возвращать; насилу выпросила я ихъ опять; что у него промелькнуло тогда въ головѣ, не знаю" 3). Стихотвореніе оканчивается, какъ извѣстно, словами:

сердце бъется въ упоеньи, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь.

"Воскресли вновь", говорить Пушкинъ; а между темъ мы знаемъ что онъ прівхаль въ Михайловское съ сердцемъ растерзаннымъ разлукой съ тою, кого онъ любилъ горячо и свято. Ужели годъ разлуки охладилъ его чувство? или въ новомъ увлечении его сказалось то, что называють безправственностью художественной натуры-такая отзывчивость души на впечатленія, которая исключаеть всякую возможность прочнаго чувства?—Нѣкоторый свѣтъ на эту психологическую загадку проливають написанныя въ Михайловскомъ стихотворенія, посвященныя чистой любви поэта, - "Сожженное письмо", "Желаніе славы", "Все кончено" (1825 г.).—"Всъ радости" поэта заключались въ "письмъ любви"; но оно сожжено, потому что такъ "она велѣла", и хотя, "отрада бъдная" въ унылой судьбъ, милый пепелъ останется въкъ на "горестной груди", но уничтожение письма повліяло на самое чувство, на его силу. Яснве это-же сказывается въ стихотворении "Желаніе славы", въ которомъ звучитъ какая-то досада, что презрѣны любимымъ существомъ

<sup>1)</sup> Люблю луну, когда она освёщаетъ прелестное лицо.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) У васъ быль такой дівственный видь; неправда-ли, на васъ было надіто что-то въ-родів крестика?

<sup>3) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 319, 320, 321.

послёднія моленья Въ саду, во тьмё ночной, въ минуту разлученья,

Поэтъ болѣзненно жаждетъ славы, чтобы укорить ею, чтобы отомститьза отверженіе. Пушкинъ терялъ въ Михайловскомъ вѣру въ отзывноечувство на его любовь. Съ горечью въ сердцѣ написалъ онъ стихи:

"Все кончено, межь нами связи нѣтъ". Въ послѣдній разъ обнявъ твои колѣни, Произносилъ я горестныя пѣни; "Все кончено"—я слышу твой отвѣтъ.

И по-временамъ ему стало казаться, что и съ его стороны все кончено, онъ начиналъ терять вѣру и въ свое чувство. Въ одинъ изъ такихъ, должно быть, моментовъ онъ встрѣтился съ поразившей его прежде красавицей—и, художественная натура, онъ увлекся красотою до самозабвенія, пожертвовавъ для нея на-минуту всѣмъ, что было въ душѣ. Въ порывѣ вспыхнувшей страсти онъ какъ будто забылъ даже, чѣмъ жила его душа на югѣ, и написалъ слова:

Въ глуши, во мракѣ заточенья Тянулись тихо дии мон Безъ божества, безъ вдохновенья, Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви. Душѣ настало пробужденье—И вотъ опять явилась ты, Какъ мимолетное видѣнье, Какъ геній чистой красоты.

Воскресшее въ памяти чистое впечатлѣніе ранней юности взволновало, обмануло Пушкина, и пробудило въ его душѣ романтическія увлеченія былой жизни.—Но тотчасъ-же по отъѣздѣ Кернъ онъ пришелъ въ себя. Въ дружескомъ письмѣ къ Аннѣ Николаевнѣ Вульфъ въ Ригу (отъ 21-го іюля 1825 г.) онъ говоритъ:

"Я каждую ночь гуляю по саду и говорю: она была здёсь; камень, о который она споткнулась, лежить у меня на столё подлё вётки поблекшаго геліотропа. Пишу много стиховъ—все это, если хотите, очень похоже на любовь, по клянусь вамъ, что ничего этого нётъ."

Далье онъ пишеть: меня мучить мысль,

"что воспоминаніе обо мив ни на минуту не сдвлаєть ее разсвянные среди ея торжествь, ни мрачиве въ дни грусти; что ея прелестные глаза остановятся на какомъ-нибудь рижскомъ вертопрахв съ твмъ-же проницающимъ сердце и сладостнимъ выраженіемъ—нвть, эта мысль мив несносна... "1)

Здёсь, можетъ быть, слышится ревность; но выражается также, несо-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Стар, 1879 г. окт., 328.

митьно, и недовъріе поэта къ своей красавиць, — онъ считаеть ее легкомысленной и вътренной. То-же высказываеть онъ, но уже опредъленнъе, въ характеристикъ ея, которую дълаеть въ письмъ къ Пр. А. Осиновой:

"У нея гибкій умъ, она понимаеть все; легко огорчается и утъшается точно также; застънчива въ пріемахъ, смъла въ поступкахъ; но

чудо какъ привлекательна" 1).

Подобный взглядъ на Кернъ совершенно расходится съ чувствомъ, выраженнымъ въ чудныхъ стихахъ признанія: тамъ мы видимъ любовь, или надежду на возникновеніе любви; здѣсь замѣтно, что поэтъ опьянѣлъ отъ очарованія красоты, но душа его слышитъ неправду зародившагося увлеченія. Съ стихами признанія расходятся и письма поэта къ самой Кернъ.—Въ первомъ-же изъ нихъ (отъ 25 іюля) онъ говоритъ ей объ ен вѣтренности, о любви пишетъ въ шутливомъ тонѣ и высказываетъ недовѣріе къ ен чувству:

"Если выраженія ваши будуть столь-же нѣжны, какъ взглядъ вашъ, увы! постараюсь имъ повѣрить, или обмануть себя, это все равно" <sup>2</sup>).

Слъдующее письмо (отъ 14-го августа) поэтъ начинаетъ такими

удивительными и характерными словами:

"Перечитываю ваше письмо вдоль и поперегь и говорю: милая! прелесть! божественная! а потомъ: ахъ, мерзкая! Простите, прелестная, кроткая моя; но это такъ! Несомнънно, что вы божественны; но иногда въ васъ не случается здраваго смысла; еще разъ, простите и утъшьтесь, ибо отъ этого вы еще прелестнъе".

Далъе, на замъчание Кернъ, что ему неизвъстенъ ея характеръ, онъ отвъчаетъ:

"А какое мнѣ до него дѣло? очень я о немъ думаю — и развѣ у хорошенькихъ женщинъ долженъ быть характеръ? Самое главное глаза, зубы, ручки и ножки (прибавиль-бы — и сердце, но ваша кузина уже слишкомъ опошлила это слово). Вы говорите, что васъ легко узнать; вы хотѣли сказать: любить? Съ этимъ весьма согласенъ и самъ служу тому доказательствомъ—я держалъ себя съ вами какъ 14-ти-лѣтній ребенокъ—это не годится; но съ тѣхъ поръ, какъ болѣе не вижу васъ, понемногу беру обратно свое утраченное надъ вами превосходство и пользуюсь имъ, чтобы бранить васъ".

Все это чрезвычайно странныя рѣчи, которыя могутъ повести къ страннымъ заключеніямъ о Пушкинѣ, если не принять въ разсчетъ характера лица, къ которому онѣ писаны. Но при этомъ послѣднемъ условіи—совсѣмъ другое дѣло: онѣ, очевидно, свидѣтельствуютъ, что

<sup>1)</sup> Тамъ-же, 326.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, ноябрь, стр. 506.

любовь поэта утратила серьезный карактеръ глубокаго чувства.— Поэтъ въ этомъ-же письмъ шутливо ревнуетъ свою красавицу къ ея мужу:

"Достойнъйшій человъкъ этотъ г. Кернъ, степенный, благоразумный и проч. Одинъ въ немъ порокъ—зачъмъ онъ вашъ мужъ. Какъ можно быть вашимъ мужемъ? объ этомъ не могу составить себъ понятія, такъже какъ о раъ."

Въ письмѣ отъ 28 августа Пушкинъ шутливо предлагаетъ Кернъ бросить супруга, если онъ ей слишкомъ надоѣдаетъ, и пріѣхать—въ Михайловское:

"Вотъ прекрасный проэктъ, который уже съ четверть часа какъ мучитъ мое воображение. Но понимаете-ли, какое-бы это было для меня счастие? Вы скажете: "а огласка? а скандалъ?" Кой чортъ! разставаясь съ мужемъ, дѣлаютъ полнѣйшій скандалъ и все прочее—ничто, или очень мало. Но сознайтесь, что проэктъ мой—романическій? сходство характеровъ, ненависть къ преградамъ, органъ зла сильно развитый, и проч., и проч. Вообразите себѣ удивление вашей тетушки! Слѣдствіемъ этого будетъ разрывъ. Вы будете видѣться съ вашею кузиною тайкомъ, при этомъ дружба становится слаще..."

Весь этотъ въ четверть часа составленный проэктъ Пушкина—очевидно—болье шутка, чъмъ серьезное предложение (хотя нельзя отрицать, что слышится въ немъ и какое-то, легкомысленное конечно, отуманившее голову увлечение). Письмо и оканчивается шуткой:

"Если вы прівдете, я об'єщаю вамь быть любезнымъ до чрезвычайности—я буду весель въ понедёльникъ, восторженъ во вторникъ, н'єженъ въ среду, ловокъ и прытокъ въ четвергъ, въ пятницу, въ субботу и воскресенье буду чемъ вамъ угодно и всю недёлю у ногъ вашихъ. Прощайте."

Отъ 22 сентября поэтъ писалъ Аннъ Петровнъ о своей ревности, и опять въ шутливомъ тонъ:

"Вы мив клянетесь всвии богами, что ни съ квиъ не кокетничаете, а между твиъ вы "на ты" съ вашимъ кузеномъ, вы говорите ему: и презираю твою мать; это ужасно! слъдовало сказать: вашу мать..."

Далье Пушкинъ такъ выражается о себь:

"Я не върю въ счастье, и это весьма извинительно. Ужели, ангель любви, вы захотите разъубъдить душу недовърчивую и увядшую".

Кернъ, кажется, приняла серьезно проэктъ о прівздів въ Михайловское,—недаромъ поэтъ сказаль про нее, что она "сміла въ поступкахъ". По-крайней-мірів онъ, въ письмів послів 22-го сентября, видимо испугался чего-то подобнаго:

"Ради всего на свътъ (писалъ онъ) не прибъгайте къ насильственнымъ мърамъ. Послушайте, право, я говорю вамъ отъ всего сердца.

За 400 верстъ вы ухитрились возбуждать во мнъ ревность, что-же должно быть въ 4 шагахъ?"

Далье онъ зоветь ее прівхать въ Тригорское (вмъсто Михайловскаго) или въ Исковъ:

"Прівдете? Не правда-ли? До тёхъ поръ не рѣшайте ничего относительно вашего мужа. Вы молоды, цѣлая будущность передъ вами онъ же... Наконецъ, будьте увѣрены, что я не изъ тѣхъ, которые неспособны когда-либо совѣтовать рѣзкія мѣры—иногда это пеизбѣжно, но всего прежде слѣдуетъ разсуждать, не дѣлая безполезнаго взрыва."

Воть отношенія поэта къ Кернъ, такъ безсознательно-художественно, и—надо сказать правду—съ такою обаятельною силой отразившіяся въ его письмахъ.—Винить-ли Пушкина за эти отношенія? Вопрось этотъ собственно заключаетъ въ себъ два вопроса: правъ-ли поэтъ передъ очаровавшей его красавицей Кернъ? и—правъ-ли онъ передъ таившимся въ глубинъ души его чистымъ чувствомъ другой любви, вдохновлявшей его на творчество, т. е. правъ-ли онъ передъ самимъ собою, передъ долгомъ своего призванія, своего поэтическаго дара?

Что касается Кернъ, то трудно обвинить Пушкина за его отношенія къ ней: онъ не обманываль ее ни на минуту. Ему, пораженному красотою, показалось, что онъ полюбилъ глубоко (другое дѣло—имѣлъ-ли онъ право такъ поддаться обаянію красоты!); потомъ онъ увидѣлъ, что ошибся, и тотчасъ-же искренно высказалъ это (какъ мы видѣли) въ письмахъ. Между прочимъ въ одномъ изъ нихъ онъ пишетъ:

"Простите, божественная, если я откровенно высказываю вамъ мой образъ мыслей; это доказательство истиннаго моего къ вамъ участія; я люблю васъ гораздо болье нежели вы думаете".

Послѣднія слова намекають на то, что и сама Кернъ отчасти понимала характеръ чувства Пушкина къ ней. Онъ любилъ ее искренно, но не какъ равную себъ, а какъ существо привлекательное, милое, но нѣсколько пустое и легкое.

Что-же касается вопроса—правъ-ли Пушкинъ въ этомъ увлечении передъ самимъ собою, то слъдуетъ сказать, что онъ любилъ Кернъ не такою любовью, которая была-бы достойна великихъ силъ его души; въ его чувствъ, кромъ романтизма, было еще холодное увлечение внъшней красотою, было даже и нъчто мутное, нечистое, была доля чувственности.

"Прощайте (читаемъ мы, напримѣръ, въ одномъ изъ писемъ),—мнѣ кажется, что я у ногъ вашихъ, жму ихъ, чувствую ваши колѣни—всю кровь мою отдалъ-бы я за минуту дѣйствительности. Прощайте и вѣрьте обреду моему; онъ смѣшонъ, но искрененъ".

Сказавшаяся въ этихъ словахъ любовь вовсе не похожа на возвышенное, идеально-чистое чувство лучшихъ элегій Пушкина.

Характеру этой любви должно быть совершенно соотвётствоваль нрав-

ственный образъ самой Кернъ. Любя ее, Пушкинъ, однако, считалъ ее неспособной на серьезное и глубокое чувство, по-крайней-мѣрѣ на это намекаютъ нѣкоторыя произведенія его данной эпохи. Въ четвертой главѣ "Онѣгина", написанной въ 1825 году, мы встрѣчаемъ такіе стихи:

Дознался я, что дамы сами, Душевной тайн'в изм'вня, Не могутъ надивиться нами, Себя по сов'всти ц'вня. Восторги наши своенравны Имъ очень кажутся забавны; И право, съ нашей стороны Мы непростительно см'вшны. Закабалясь неосторожно, Мы нхъ любви въ награду ждемъ, Любовь въ безумін зовемъ, Какъ будто требовать возможно Отъ мотыльковъ иль отъ лилей И чувствъ глубокихъ и страстей (IV).

Въ концѣ главы высказывается подобная-же мысль:

Случалось-ли поэтамъ слезнымъ
Читать въ глаза своимъ любезнымъ
Свои творенья? Говорятъ,
Что въ мірѣ выше нѣтъ наградъ.
И впрямь, блаженъ любовникъ скромной,
Читающій мечты свои
Предмету пѣсенъ и любви,
Красавицѣ пріятно-томной!
Влаженъ... хоть, можетъ быть, она
Совсѣмъ инымъ развлечена (XXXIV).

Должно быть, эти стихи были поэтической местью Пушкина илѣнившей его красавицѣ за обманъ его первоначальныхъ ожиданій... Ту-же идею о какомъ-то женскомъ легкомысліи находимъ мы и въ "Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ" (стихотвореніе это написано въ 1824 г., т.е. ранѣе встрѣчи въ Михайловскомъ съ Кернъ; но въ печати появилось оно лишь въ 1825 г., при І главѣ "Онѣгина"). Здѣсь есть такіе стихи:

Глаза прелестные читали Меня съ улыбкою любви; Уста волшебныя шептали Мић звуки сладкіе мои; Но полно, въ жертву имъ свободы Мечтатель ужь не принесеть....

Стонъ лиры вѣрной не коснется Ихъ легкой, вѣтряной души; Нечисто въ нихъ воображенье,

. . . . . . . . . . . .

Не понимаеть насъ оно,
И, признакъ Бога, вдохновенье
Для нихъ и чуждо, и смѣшно.
Когда на память миѣ невольно
Прійдетъ внушенный ими стихъ,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно идоловъ моихъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Иредъ кѣмъ упизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился!

Очень можеть быть, что стихи эти заключають въ себъ воспоминанія о кишиневскихь увлеченіяхь поэта. Тъми-же воспоминаніями, въроятно, вызвана неудачная попытка въ "Цыганахъ" объяснить измъну Земфиры легкомысліемъ женской души:

Ты любишь горестно и трудно, А сердце женское шутя.

Слова эти не согласны съ общимъ очеркомъ характера Земфиры.

Думать, что во всёхъ подобныхъ выходкахъ выразился общій взглядь Пушкина на женщину, никакъ нельзя: этому противорічить рядъ созданныхъ имъ женскихъ образовъ, которымъ онъ несомніно симпатизируеть, которые онъ уважаетъ; да и въ то время, когда писались приведенные стихи, уже окончательно обозначался въ его творческой фантазіи світлый ликъ Татьяны.—Можно, конечно, туть подозрівать вліяніе Байрона, скептически относившагося иной разъ къ женщинъ, къ ея слезамъ; такъ, въ "Корсаръ" англійскій поэтъ говоритъ:

Какъ много между насъ живетъ и будетъ жить Такихъ, что небеса теряютъ равнодушно, Какъ землю потерялъ Антоній малодушно. Какъ много есть людей, что душу отдаютъ Лукавому во власть, и въ горф въкъ живутъ, Чтобъ осущить слезу кометки безсердечной 1).

Но вѣрнѣй, кажется, будеть признать, что въ выходкахъ Пушкина противъ женскаго легкомыслія заключаются просто намеки на его личныя отношенія, спачала къ кишиневскимъ вѣтреннымъ красавицамъ, а потомъ и къ Аннѣ Петровнѣ Кернъ, которая ему напоминала ихъ, которую онъ называлъ "божественной" и въ которой подозрѣвалъ недостатокъ здраваго смысла.

¹) Соч. Байрона, т. III, стр. 39.

Но карая насмъщливыми и негодующими стихами предметы своихъ ошибочныхъ увлеченій, Пушкинъ, не сознавая того, въ-сущности караль себя, свое заблужденіе. И эта кара была заслуженная.

Странно, но несомивнию, что заблуждение, сказавшееся въ увлечении Пушкина любовью къ Кернъ, стоить въ тесной связи съ самымъ характернымъ признакомъ его поэзіи. -- Способность Пушкина беззавътно увлечься красотою указываеть намъ, что въ его поэтической природъ художественность была отличительной и преобладающей чертою. Эта художественность, въ которой онъ не зналъ себъ равныхъ, не зналъ соперниковъ, давала ему силу и возможность переноситься въчужую жизнь, въчужой въкъ и изображать ихъ съ такимъ-же совершенствомъ, какъ и родную дъйствительность. Но въ этой-же художественности, т. е. въ ея односторонности, лежала и опасность для его великаго генія: чудныя формы несказанной красоты, въ которыя облекались его творческие замыслы, обходились порою безъ огня, безъ отрадной теплоты чувства, и холодомъ вѣяло отъ дивныхъ картинъ, отъ безсмертныхъ скульптурныхъ образовъ иныхъ его созданій. Впервые съ опред'яленною ясностью обнаружилось это въ некоторыхъ вещахъ, написанныхъ имъ въ Михайловскомъ.-Прежде всего въ ряду подобныхъ сочиненій слёдуетъ назвать неоконченную поэму "Египетскія ночи". Въ ней, по върному выраженію Бѣлинскаго, Пушкинъ переносится въ самое сердце издыхающаго древняго міра. Передъ нами древняя красавица-царица, ея роскошные пиры и чертоги, власть ея роковой красоты надъ толпою. Въ чудныхъ стихахъ поэмы все облечено въ образы дивной прелести, все, даже и мрачное сладострастіе, и зв'єрство древняго язычества. Красотою и вм'єст'є чёмъ-то ужаснымъ и безотраднымъ вёсть отъ этого изумительнаго въ художественномъ смыслъ созданія. Впослъдствіи Пушкинъ думалъ обратить "Египетскія ночи" въ начало поэмы съ возвышенной христіанской идеей. Но была-ли эта идея у него во время написанія "Египетскихъ ночей", хоть въ видъ безсознательнаго предчувствія? слышится-ли она въ изображеніи юнаго поклонника царицы? Богъ въсть; нельзя утверждать этого даже про единственные отзывающіеся нікоторой теплотою стихи:

Любезный сердцу и очамъ, Какъ вешній цвётъ едва развитый, Послёдній имени вѣкамъ Не передалъ. Ето ланиты Пухъ первый нѣжно оттѣнялъ; Восторгъ въ очахъ его сіялъ; Страстей неопытная сила Кипѣла въ сердцѣ молодомъ... И съ умиленіемъ на немъ Царица взоръ остановила.

Всепобъдною властью красоты поэма торжествуетъ надъ животнымъ чувствомъ, и стихи ея не могутъ возбудить нечистаго помысла. Но съ другой стороны это еще большой вопросъ—могла-ли она служить возвышенной христіанской идеъ, быть началомъ вполнъ чистаго созданія искусства? Въ ней торжествуетъ надъ душой человъческой облеченное въ красоту кровожадное звърство, смъшавшееся съ сладострастіемъ.

Убъжденный въ своей силъ, помърившійся ею съ великими поэтами Запада. Пушкинъ пробоваль въ Михайловскомъ всевозможные тоны поэзіи-и все ему удавалось; не было сферы жизни, цвета которой не моглабы принять, его муза. Онъ перевель насколько строфъ изъ "Orlando Furioso" Apiocta; перевель съ португальскаго "Gonzago", романсь трубадура; переложилъ нёсколько стиховъ изъ "Иёсни иёсней" царя Соломона; написалъ "Подражанія Корану"; перевель изъ Шенье стихотвореніе "Покровъ, упитанный язвительною кровью" и сочиниль пьесу "Андрей Шенье" въ духв и тонв этого писателя; —и если-бы не объединяла всё эти произведенія строгая и нёжная красота пушкинскаго стиха, ихъ нельзя было-бы признать созданіями одного поэта, до такой степени отзываются они духомъ разныхъ временъ, разныхъ мъстностей и народовъ. Они удивительны по своей красотъ. Но должно признать, что и въ нихъ сказалась, какъ въ "Египетскихъ ночахъ", только въ меньшей степени, роковая черта отвлеченной художественности: до холода доходящая, безучастная къ жизни объективность творчества. Въ нихъ ньть того захватывающаго интереса, той теплоты жизни, которою проникнуты другаго рода сочиненія Пушкина. (Отчасти, впрочемъ, исключеніе составляють "Подражанія Корану": ихъ согрѣваеть религіозная мысль).

Кстати будеть сказать объ Андрев Шеньв: не предразсудовъ-ли утвердившееся въ нашей литературъ мивніе, будто Пушкинъ находился одно время подъ сильнымъ вліяніемъ этого писателя? гдѣ, въ чемъ, въ какихъ сочиненіяхъ нашего поэта слѣды этого вліянія?

Осенью 1825 года, Пушкинъ былъ повидимому счастливъ взаимной любовью: на его чувство красавица Кернъ отвъчала искренно, съ доступною ей силой увлеченія... А между тъмъ, въ это самое время поэтъ серьезно подумывалъ о бътствъ изъ Россіи.—25-го августа онъ писалъ Кернъ:

"Мысль, что я васъ не увижу опять, приводить меня въ трепетъ. Вы скажете: утъщьтесь! Очень хорошо, но чъмъ и какъ? Влюбиться?— невозможно. Прежде всего надо позабыть ваши прелести. Бъжать въ

чужіе края? удавиться? жениться? Все это сопряжено съ большими затрудненіями и все это миѣ отвратительно".

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что предположение поэта о трехъ средствахъ утѣшенія—шутка. На-дѣлѣ это не такъ. Пушкинъ клопоталъ въ это самое время о заграничномъ отпускѣ, поручивъ кодатайствовать за себя матери и Жуковскому. Жуковскому переслалъ онъ и прошеніе на Высочайшее имя, въ которомъ ссылался на свой аневризмъ. Онъ писалъ поэту между прочимъ:

"Мой аневризмъ носиль я 10 лёть и съ Божіею помощью могу проносить еще года три. Слёдственно, дёло не къ спёху, но Михайловское душно для меня. Если-бъ Царь меня до излёченія отпустиль заграницу, то это било-бы благодёяніемъ, за которое я-бы вёчно быль ему и друзьямъ моимъ благодаренъ" 1).

Върилъ-ли Пушкинъ въ свой аневризмъ—Богъ знаетъ; но въ томъ что его отпустятъ заграницу, онъ сильно сомнѣвался. По-крайней-мърѣ, прося объ отпускъ, онъ въ то-же время сговаривался съ А. Н. Вульфомъ—убъдить деритскаго профессора хирургіи Мойера, чтобы тотъ взялъ на себя ходатайствовать передъ правительствомъ о присылкѣ ему опальнаго поэта въ Деритъ, какъ интереснаго и опаснаго больнаго. Изъ Дерита Пушкинъ думалъ бѣжать. Родные и Жуковскій, не подозрѣвая его замысла, выхлопотали ему разрѣшеніе житъ и лечиться въ Псковъ. Жуковскій, будучи родственникомъ Мойера, просилъ профессора прітъхать въ Псковъ, а родители Пушкина послали даже за нимъ въ Деритъ коляску... Поэтъ былъ въ отчаяньи отъ этихъ заботъ о немъ и просилъ Вульфа какъ-нибудь разстроить дѣло. У него явился тогда новый планъ: бѣжать заграницу съ своимъ деритскимъ другомъ подъвидомъ его слуги.

Любовь къ Кернъ не въ-силахъ была удержать Пушкина отъ подобныхъ замысловъ. А, между тѣмъ, годъ тому назадъ, другая любовь остановила его отъ бѣгства изъ Россіи по волнамъ ждавшаго и манившаго его южнаго моря.

> Могучей страстью очаровань, У береговъ остался я,

сказалъ поэтъ. Та страсть была сильнѣе, глубже, истиннѣе... то чувство захватывало всю душу... Въ Михайловскомъ поэту казалось, что оно прошло, онъ написалъ даже стихъ—

Все кончено: межь нами связи нътъ!

Но на самомъ дѣлѣ искра горячей и великой любви таилась въ душѣ, таилась и возможность для нея разгорѣться въ могучее пламя. Можетъ

<sup>4) &</sup>quot;Рус. Стар." 1879 г., окт., 323.

быть, это скрытое пламя сказалось и въ безотрадныхъ мечтахъ о бътствъ, о насильственной смерти, о женитьбъ; можетъ быть, не одна жажда свободы, а и тоска разлуки дълала Михайловское душнымъ для Пушкина. Мысль о минувшемъ счастъъ, о дорогомъ образъ любимаго существа съ безсознательной, но могучею силой жила въ душъ поэта втеченіи всего времени пребыванія его въ Михайловскомъ. Она вызвала однажды изъ творческой фантазіи его невольное признаніе въ безпредъльной любви; это—стихотвореніе 1825 г. "Буря":

Ты видёль дёву на скалё
Вь одеждё бёлой надъ волнами,
Когда, бушуя въ бурной мгль,
Играло море съ берегами,
Когда лучь молній озаряль
Ее всечасно блескомъ алымъ
И вътеръ бился и леталь
Съ ея летучимъ покрываломъ?
Прекрасно море въ бурной мгль,
И небо въ блескахъ, безъ лазури;
Но вёрь мнь: дёва на скаль
Прекраснъй волнъ, небесъ и бури.

Однако, увлеченный впечатльніями окружавшей жизни, Пушкинъ не сознаваль ясно, что скрывалось въ тайной глубинт его души, и жертвовалъ своимъ великимъ и чистымъ чувствомъ чувству другому, искреннему и, пожалуй, поэтическому, но легкому и внёшнему. Онъ даже признаніе свое Кернъ легкомысленно передаль въ листахъ второй главы "Онъгина", главы, въ которой уже нарисовань чистый образъ Татьяны, создавшійся подъ вліяніемъ прежняго, світлаго и могучаго чувства. И не этоть образъ идеальной дъвушки, который сталь потомь любимымь образомъ Пушкина, занималъ въ это время первое мѣсто въ его творчествъ: фантазія его останавливалась преимущественно на картинахъ непосредственной народной жизни-съ одной стороны, на отвлеченно-художественныхъ и холодныхъ очеркахъ чужихъ жизней—съ другой. Подъ могучими впечатленіями окружавшей русской действительности и изученія созданій чужеземныхъ геніевъ (впечатлівніями, конечно, необходимыми и нужными) въ Пушкинъ формировался народный поэтъ и великій художникъ... Но идеальные замыслы, которые онъ пытался съ огнемъ юношеской въры воплотить нъсколько времени тому назадъ въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ", отодвинулись на задній планъ, ушли изъ кругозора яснаго сознанія.

А между тымь въ это время подготовлялся поэту роковой ударъ: подъ "вычно-голубымъ" небомъ юга умирала его чистая любовь. Этотъ ударъ отрезвилъ его и вернулъ къ прежнимъ идеаламъ, пробудилъ въ

душѣ былыя стремленія и чувства. Сначала они проснулись безсознательно: поэтъ не вѣрилъ самъ ихъ возрожденію и даже сожалѣлъ, что ихъ нѣтъ въ его душѣ. Съ чудною поэтическою силой передалъ Пушкинъ въ вдохновенной элегіи впечатлѣніе страшной вѣсти о смерти:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной Она томплась, увядала... Увяла наконець, и верно надо мной Младая тень уже летала; Но недоступная черта межь нами есть,-Напрасно чувство возбуждаль я: Изъ равнодушныхъ усть я слышаль смерти въсть, И равнодушно ей внималь я. Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ, Съ такою нежною, томительной тоской, Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ! Гдв муки, гдв любовь? Увы, въ душв моей Для бедной легковерной тени, Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней Не нахожу ни слезъ, ни пѣни.

Поэтъ винитъ себя, что обманулъ ожиданія "бѣдной, легковѣрной тѣни"; ему кажется, что онъ "равнодушно" принялъ вѣсть о смерти дорогаго существа; онъ винитъ себя за это равнодушіе... Но ему и въ голову не приходитъ, что оно напускное и внѣшнее, кажущееся: стихотвореніе несомнѣнно проникнуто неподдѣльно-искреннимъ—хотя безсознательнымъ—чувствомъ скорби безконечной. Такъ, смертельно раненнымъ кажется, что раны ихъ—легкія раны. Трогательной грустью дышатъ слова элегіи:

## Напрасно чувство возбуждаль я.

Поэтъ не понимаетъ еще, что не-для-чего было возбуждать и безъ того живое чувство; онъ принялъ за холодность и равнодушіе то, что въ душѣ его, увлеченной и очарованной разнообразными впечатлѣніями, не сразу съ сознательною силой проявилась тоска любви... Но этой тоскѣ суждено было быстро рости.—О силѣ чувства въ элегіи "Подъ небомъ голубымъ" свидѣтельствуетъ и соединившаяся съ нимъ живая въра поэта, что надъ его душою летаетъ "младая тѣнь" любимаго и любящаго существа.

Вскорѣ и сознаніе Пушкина прояснилось, —тогда чистое чувство вполнѣ овладѣло душою; о его всепобѣдной власти говорятъ строки недоконченнаго глубокаго стихотворенія:

Все въ жертву памяти твоей: И голосъ лиры вдохновенной,

И слезы дѣвы воспаленной, И трепетъ ревности моей.

Для усопией поэть вырываеть изь души своей и ревнивое чувство любви къ красавиць-Кернъ, и бить можеть зарождавшіяся въ душь мечты о тихомъ счасть съ преданною ему другою женщиной. Душа его рвется опять извлечь изъ "вдохновенной лиры" тв звуки, на которые нъкогда вызывала его отошедшая теперь отъ міра. Успокоившаясябыло на народной поэзіи и на отвлеченно-художественныхъ картинахъ, душа поэта стремится опять къ высшему творчеству, къ безусловночистымъ идеаламъ. Выраженіемъ этого является одно изъ высочайщихъ созданій Пушкина—стихотвореніе "Пророкъ".

Духовной жаждою томимъ, Въ пустынъ мрачной я влачился, И шестикрылый Серафимъ На перепутын мив явплся; Перстами легкими, какъ сонъ, Монхъ звинцъ коснулся онъ: Отверздись вѣщія зѣницы, Какъ у испуганной орлицы. Монхъ ушей коснулся онъ, — И ихъ наполниль шумъ и звонъ: И вняль я неба содроганье, И горній Ангеловь полеть, И гадъ морскихъ подводный ходъ, И дольней лозы прозябанье. И онъ къ устамъ монмъ приникъ, И вырваль грашный мой языкъ, И празднословный, и лукавый, И жало мудрыя змѣн Въ уста замершія мон Вложиль десницею кровавой. И онъ инъ грудь разсъкъ мечемъ, И сердце трепетное вынулъ, И угль, пылающій огнемъ, Во грудь отверстую водвинулъ. Какъ трупъ въ пустынъ я лежалъ, И Бога гласъ ко мив воззвалъ: "Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей, И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей!"

Въ этихъ стихахъ сказалось религіозное одушевленіе, овладѣвшее душой поэта подъ дѣйствіемъ чтенія Священнаго Писанія. Пушкинъ развилъ въ образахъ своего произведенія высокія слова 6-й главы Пророка Исаіи: "Й посланъ высть ко мић єдинъ ѿ Серафімшех, й въ руцѣ своєй ймыше оўгль горышь.... й прикоснуст оўстнамъ моймъ, й рече:

сѐ прикоснуст стѐ оўстнами твойми, й Шймети беззакшніт твот, й грух твот шчйстити. Й слышахи гласи Гда глаголюща:... йдй, й рцы людеми сйми: слухоми оўслышите, й не оўразумите: й видтие оўзрите, й не оўвидите.... ( $\vec{s} - \vec{s}$ ).

Въ чудныхъ стихахъ своего "Пророка" Пушкинъ понялъ величайшее назначеніе поэзіи, понялъ, что она должна быть глаголомъ Бога, проповъдью въчной истины и безконечной любви, что поэтъ долженъ быть не отвлеченнымъ кудожникомъ и спокойнымъ созерцателемъ и изобразителемъ жизни, а пророкомъ, который жжетъ сердца людей своей вдохновенною ръчью. Онъ прозръвалъ это и ранъе, когда писалъ "Бахчисарайскій фонтанъ": но никогда еще эта идея не представлялась ему такъ ясно, какъ теперь. Стихотвореніе "Пророкъ" есть исторія чистой любви Пушкина, его отношеній къ усопшей. Благородная душа поэта всегда, и въ пору грубыхъ его увлеченій чувственной жизнью, стремилась къ высшему, къ идеалу, томилась "духовною жаждой". Но онъ не могъ самъ, одинъ освободиться отъ своихъ мрачныхъ увлеченій; тогда встрітившійся ему на пути жизни чистый "серафимъ" внесъ свътъ въ его душу: далъ прозрънье его духовнымъ очамъ, пламень вдохновенія его сердцу, чистоту его помысламъ. Но (скорбная и роковая черта характера и жизни Пушкина!) эти духовные дары показались ему тяжелыми, непосильными: "какъ трупъ въ пустынъ" онъ "лежалъ". Тогда отлетълъ отъ него "серафимъ" обратно къ Пославшему его, и ударъ разлуки былъ для поэта громовымъ голосомъ Бога, поднявшимъ его на великое дъло жизни, дъло души.

Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей, И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей!

Михайловское имѣло для Пушкина великое значеніе: оно успокоило взволнованныя силы его духа, сблизило его съ народомъ, сдѣлало его народнымъ поэтомъ. Въ деревнѣ окрѣпъ его геній, довершилось его умственное и нравственное развитіе. Здѣсь прошелъ онъ послѣднюю свою школу—школу Шекспира и памятниковъ русской исторіи, и вышелъ изъ нея на просторъ вполнѣ самостоятельной дѣятельности. —Но въ Михайловскомъ онъ былъ близокъ и къ тому, чтобы съузить свой кругозоръ, остановиться на исключительно-народномъ творчествѣ и на отвлеченной художественности. Такая односторонность повела-бы къ пониженію правственнаго уровня его души. Онъ и шелъ уже, безсознательно, къ этому: онъ написалъ въ деревнѣ сказку "Царь Никита"—произведеніе соотвѣтствующее сладострастнымъ поэмамъ перваго періода его дѣятельности.

Великій и страшный ударъ образумиль и отрезвиль поэта. Этоть ударъ совпалъ, по удивительному ходу историческихъ событій, съ окончаніемъ формированія его характера и его творчества. Онъ пришелся какъ разъ на рубежѣ между юностью и зрѣлымъ возрастомъ мужества. Онъ поднялъ духъ Пушкина на новую высоту: настала для него пора гармоническаго сліянія вполнѣ развившихся въ душѣ народныхъ началъ съ тревожными и страстными западно-европейскими началами, развивавшимися въ ней въ прежнія эпохи жизни.

Юность кончилась, и поэть дружески и сознательно-спокойно простился съ нею въ концѣ 6-й главы "Онѣгина", той главы, гдѣ умерь юноша Ленскій.

Такъ, полдень мой насталъ, и нужно Мнѣ въ томъ сознаться, вижу я. Но, такъ и быть, простимся дружно, О юность легкая моя! Благодарю за наслажденья, За грусть, за милыя мученья, За шумъ, за бури, за пиры, За всѣ, за всѣ твои дары; Благодарю тебя. Тобою, Среди тревогъ и въ тишинѣ, насладился.... и вполнѣ. Довольно! съ ясною душою Пускаюсь нынѣ въ новый путь Отъ жизни прошлой отдохнуть.

Какъ всегда бывало съ Пушкинымъ, начало новой жизни совпало для него съ перемѣною мѣста. Со вступленіемъ на престолъ Николая Павловича поэтъ сталъ хлопотать черезъ друзей объ освобожденіи. Дѣло замедлилось до окончанія суда надъ декабристами. Въ іюлѣ 1826 г. Пушкинъ подалъ прошеніе на Высочайшее имя съ приложеніемъ обязательства не принадлежать ни къ какимъ тайнымъ обществамъ и медицинскаго свидѣтельства о болѣзни; а въ августѣ командированъ былъ въ Михайловское фельдъегерь съ повелѣніемъ немедленно привезти поэта въ Москву, для представленія новому императору. Фельдъегерь напугалъ своимъ появленіемъ старушку-няню и безъ проволочекъ и замедленій увезъ Пушкина въ первопрестольную столицу, на новую жизнь.

